

Ф І Л О Л О Г І Я

УДК 82.02

ПРОБЛЕМА СЛОВА В ТРУДАХ Р.БАРТА

Э.М.Свенцицкая

Р.Барт – один из видных представителей французской семиологической школы – вызывает неоднозначное отношение исследователей. Как правило, его концепции рассматриваются в контексте постмодернистского мироощущения: «Барт, Деррида и Кристева являются теоретиками постмодерной чувствительности независимо от терминов, которые они употребляют...» [1, с.256]. Отсюда следует закономерность, отмечаемая И.П.Ильиным в его статье «Постмодернизм и дух времени: 80-е годы в западном литературоведении»: «Вводя в ткань повествования теоретические пассажи, писатели постмодернистской ориентации нередко прямо апеллируют в них к авторитету таких ученых, как Р.Барт, Ж.Деррида, М.Фуко и других теоретиков постструктурализма и постмодернизма...» [2, с.155]. Однако, несмотря на это, обычно при рассмотрении идей Р.Барта исследователи ограничиваются самыми общими констатациями. Например: «Согласно Барту, сущность литературы состоит в коннотации: «литературное» в словесном искусстве – это только вторичная знаковая система, развивающаяся на базе естественного языка и зависящая от него. Коннотированный (дополнительный – «символический», ассоциативный и т.п.) смысл литературы является «натурализованной» конвенцией, а сама литературная наука – частным случаем общей науки о вторичных знаковых системах, семиологии» [3, с.110].

Отсюда следует актуальность более подробного исследования наследия Р. Барта в его цельности и автономности, насколько возможно, вне зависимости от «духа времени».

Наиболее последовательно труды Р.Барта рассматриваются в работе Г.К.Косикова «Постструктуралистская стратегия Ролана Барта : О книге „S/Z”». Здесь делается ряд существенных выводов об особенностях эволюции взглядов Р.Барта, его движения от произведения к тексту, от структурализма к постструктурализму. Исследователь подчеркивает демифологизирующий, разоблачительный пафос Р.Барта, что накладывает отпечаток на его трактовку проблем литературы. Например: «Бартовская оппозиция *произведение/текст* коррелятивна оппозиции *явное сознание/ неявное сознание*. «Произведение» как натурализованная идеологема, не желающая выдавать собственную идеологичность, напоминает лицевую сторону покрывала ... Перевернуть покрывало, вывернуть произведение, выставив напоказ его «текст», как раз и значит демистифицировать и подорвать идеологическую власть, таящуюся в любом дискурсе» [4, с.127].

Цель нашей работы – рассмотреть бартовское понимание специфики художественного слова и показать, как это понимание организует эволюцию взглядов французского исследователя.

В работах Р.Барта слово как таковое не является центральной проблемой, в гораздо большей степени его интересует проблема текста и его структуры – в структуралистский период, и проблема реструктуризации этой структуры – в период постструктуралистский. Однако можно сказать, что понимание слова определенным образом организует эволюцию взглядов французского исследователя.

Р.Барт исходит по раздельности слова и мира. Однако понимание слова, высказанное в работе «Критика и истина», которая для структуралистского периода является

программной, явно несет в себе следы двойственности: «В течение длительного времени классическое буржуазное общество усматривало в слове либо инструмент, либо украшение; ныне же мы видим в нем знак и воплощение самой истины» [5, с.369]. То есть слово одновременно и отсылает к некоему содержанию, и воплощает его в себе. В скобках замечу, что такого рода двойственность присутствует и в работах Ю.М.Лотмана, когда речь идет о соотношении иконических и конвенциональных знаков. Однако у Ю.М.Лотмана эти два начала находятся в равновесии, отчего и понимание слова как отношения и понимание слова как некоторой отдельности также взаимно уравновешивают друг друга.

Р.Барт в структуралистском периоде понимает слово как автономную реальность. В связи с этим в работе «Критика и истина» он концентрируется на проблеме имени, называния: «Литература – это способ освоения имени: всего из нескольких звуков, составляющих слово Германты, Пруст сумел вызвать к жизни целый мир. В глубине души писатель всегда верит, что знаки не произвольны и что имя присуще каждой вещи от природы...» [5, с.371]. Собственно, мир, который на данном этапе у Р.Барта творится в слове, создается именно с помощью этой двойственной природы слова: «Всякий читатель ... знает об этом: разве не чувствует он своей причастности к некоему **запредельному** (выделено автором – Э.С.) по отношению к тексту миру, так, словно первичный язык произведения взращивает в нем иные новые слова и учит говорить на вторичном языке» [5, с.371]. Сходные утверждения есть, опять-таки, и у Ю.М.Лотмана (поэтическое слово – «сообщение, в котором интерес перемещается на его язык», «произведение на неизвестном аудитории языке» [8, с.18]). Однако у Р.Барта вторичный язык соотносится с творением отдельного мира, создание языка синхронизировано с этим процессом.

Поэтому поэтическое слово становится словом о языке и через него – о мире («Ведь писать – уже значит определенным образом организовать мир, уже значит думать о нем (узнать какой-либо язык – значит узнать, как люди думают на этом языке)» [5, с.361]). Собственно, определяющим для литературы моментом у Р.Барта и является рефлексия над словом и языком: «Писателя нельзя определить в социальных ролевых категориях и при помощи понятия престижности, это можно сделать только через то сознание слова, которым он обладает. Писатель – это тот человек, перед которым язык предстает как проблема, тот, кто ощущает всю глубину языка, а вовсе не его инструментальность и красоту» [5, с.368].

«Глубина языка» по Р.Барту, определяется его символической природой, его изначальной многозначностью, которая концентрируется в слове литературного произведения: «...такую многосмысленность можно сформулировать в категориях кода: символический язык, которому принадлежит литературное произведение, по самой своей структуре является языком множественным, т.е. языком, код которого построен таким образом, что любая порождаемая им речь (произведение) обладает множественным смыслом» [5, с.372]. Слово обладает множественным смыслом и в практическом языке, однако в практическом языке смысл высказывания проясняется ситуативным контекстом, в литературном же произведении все иначе: «...сколь бы пространством ни было произведение, ему непременно свойственна какая-то заведомо пророческая лаконичность, ведь оно состоит из слов, соответствующих первичному коду (ведь и Пифия не говорила несуразностей), и в то же время остается открытым навстречу сразу нескольким смыслам, ибо слова эти были произнесены вне контекста какой бы то ни было ситуации, если не считать саму ситуацию многосмысленности: ситуации, в которой пребывает произведение, – это всегда пророческая ситуация» [5, с.372].

Символ здесь – особый тип знака, символизация становится способом кодирования, организации означающего, за которым – некоторая неизвестность. В этой связи очень характерно, что слово у Р.Барта многозначно изначально, в нем даже не предполагается какой-то единый смысл, логика символов – «пустые формы» [5, с.375], в по-

этическом слове не заложено ничего, кроме бесконечного процесса развертывания смыслов: «...Произведение обладает несколькими смыслами... В самом деле, любая эпоха может вообразить, будто владеет каноническим смыслом произведения, однако достаточно раздвинуть границы истории, чтобы этот единственный смысл превратился во множественный, а закрытое произведение – в открытое» [5, с.370]. Таким образом, слово в его символической ипостаси – это просто знак с множеством означаемых без какой-либо доминанты среди них. По мере своего исторического развертывания эта структура наполняется новыми содержаниями, практически не связанными друг с другом: «...произведение «вечно» не потому, что оно навязывает людям некий единый смысл, а потому, что внушает различные смыслы единому человеку, который всегда, в самые разные эпохи говорит на одном и том же символическом языке: произведение предлагает, человек располагает» [5, с.371].

С другой стороны, эта множественность все-таки здесь еще не означает полного дробления, в ней предполагается некоторая возможность единства: «Интеллект начинает приобщаться к новой логике, он вступает в необжитую область «внутреннего опыта», одна и та же истина, объединяющая поэтическое, романтическое и дискурсивное слово, пускается на поиски самой себя, ибо отныне она является истиной слова как такового» [5, с.369]. Собственно, именно эта предполагаемая, не иерархическая и становящаяся в слове истина делает слово действительно символическим, создает основания по крайней мере для ассоциирования множества смыслов, о котором шла речь ранее. В то же время смысловое единство ощущается Р.Бартом настолько нестабильным и неопределенным, что не может быть воплощено в какую-либо рациональную или эмоциональную данность, вообще во что-то конкретное, поэтому оно полностью переходит в слово как сплошную текучесть, как бесконечное развертывание, поскольку только в нем это смысловое единство, по-видимому, может присутствовать не феноменально, а как чистая энергия.

Этим двум сторонам содержательности слова – расчлененной множественности и энергетически единому смыслу – соответствует двуединая формальная выраженность слова – чтение и письмо. Очень характерно, что эти категории – сквозные в работах Р.Барта – подлежат здесь осмыслению не только как формы организации и восприятия слова, они характеризуют прежде всего деятельностный его аспект. Письмо, Р.Барта, реализует в себе множественность смыслов, оно само по себе как деятельность предполагает расчленяющую дистанцированность, взгляд на слово со стороны, чтение же предполагает преодоление дистанции, погружение в текст, с помощью которого только и можно почувствовать пронизывающее его смысловое единство: «Писать – значит в известном смысле расчленять мир (или книгу), а затем составлять заново» [5, 385]; «Однако только чтение испытывает чувство любви к произведению, поддерживает с ним страстные отношения. Читать – значит желать произведение, желать превратиться в него, это значит отказаться от всякой попытки продублировать произведение на любом другом языке помимо языка самого произведения» [5, с.386].

Именно чтение вызывает к жизни восприятие произведения как отдельного языка, не сводимого ни на какой другой. Ведь воспринимаемый в процессе чтения единый смысл, как пишет Р.Барт немного выше, «возникает как бы по ту сторону языкового кода» [5, с.386]. Собственно, здесь возникает проблематизация языка как такового (и национального, и «социолекта»), как системы знаков, в которой соотношение между каждым означаемым и означающим является четко определенным, в двойственности чтения и письма как раз эта определенность подвергается глубинному сомнению (ведь письмо, по сути дела, есть процесс непредсказуемого смыслопорождения, чтение – мерцание глубинного единства, в результате чего сама система языка приводится в состояние разбалансированности). Именно поэтому «произведение... превращается в вопрос, заданный самому языку, чью глубину мы стремимся промерить, а границы про-

щупать. В результате произведение оказывается способом грандиозного, бесконечного лознания о словах» [5, с.373].

В работе «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» слово – знак, элемент кода, структуры. Интерес исследователя концентрируется на проблеме структуры – как на некоем объединяющем и универсальном начале, существующим помимо индивидуального наполнения и исполнения (понятия «произведение» и «текст» в данной работе употребляются как синонимические, так как и то, и другое имеет определенную структуру): «Текст обладает структурой, свойственной и любым другим текстам и поддающейся анализу... Где же следует искать структуру повествовательного текста? В самих текстах, разумеется» [6, с.388-389]. Итак, структура носит имманентный тексту характер, элементами структуры являются знаки и взаимоотношения между ними, которые Р.Барт формулирует следующим образом: «Повествовательная форма обладает возможностью двоякого рода: во-первых, она способна разъединять знаки по ходу сюжета, а во-вторых – заполнять образовавшиеся промежутки непредсказуемыми элементами. На первый взгляд, обе эти возможности кажутся проявлением повествовательной свободы, однако на самом деле суть повествовательного текста состоит как раз в том, что указанные сдвиги предусмотрены самой языковой системой» [6, с.416]. На этом основании слово в повествовательном тексте приравнивается к слову в естественном языке: «Естественный язык можно определить как продукт взаимодействия основополагающих механизмов: с одной стороны, это механизм членения, или сегментации, который приводит к появлению дискретных единиц (форма, по Бенвенисту), с другой – механизм интеграции, включающий эти единицы в состав единиц более высокого уровня (смысл). Такой же двуединый механизм можно обнаружить и в языке повествовательных произведений, здесь тоже происходят процессы членения и интеграции, здесь тоже есть форма и есть смысл» [6, с.416]. В этой логике, специфика художественного повествования коренится в процессе интеграции: если в естественном языке он направлен вертикально (от нижних уровней к высшим), то в повествовании – еще и горизонтально, то есть интеграция происходит между элементами одного уровня, в связи с чем, вслед за Бенвенистом, Р.Барт выделяет два типа отношений между знаками: «дистрибутивные (когда отношения устанавливаются между элементами одного уровня) и интегративные (когда отношения устанавливаются между элементами разных уровней)» [6, с.392].

Как же выглядит структура повествовательного текста? Прежде всего, она включает в себя три уровня описания, между которыми устанавливаются отношения последовательной интеграции: уровень функций, уровень действий и собственно уровень повествования. Функции и действия характеризуют событийную сторону произведения, они представляют собой «сюжетные элементы», отмечающие развертывание событий во времени. Наиболее важным, образующим собственно литературную специфику текста является третий уровень: «Повествовательный уровень образован знаками нарративности, совокупностью операторов, которые позволяют реинтегрировать функции и действия в рамках повествовательной коммуникации, связывающей подателя и получателя текста» [6, с.416]. Создание текста рассматривается здесь как акт коммуникации, и повествовательный уровень реализует ее динамику. Единицы этого уровня – дистрибутивные (корреляты) и атрибутивные (признаки) – носят опосредующий характер, они формируются на пересечении между событиями, о котором рассказывается в произведении, и событийностью большого мира, в результате чего структура повествовательного текста приобретает двойственный характер: «Он (повествовательный уровень) выводит текст во внешний мир – туда, где текст раскрывается (потребляется); однако в то же время этот уровень ... придает тексту замкнутую завершенность» [6, с.416].

Как же работает эта замкнуто-разомкнутая структура? Р.Барт говорит об этом следующим образом: «...всякий рассказ предстает как последовательность элементов, непосредственно или опосредованно связанных друг с другом, и все время взаимно наслаивающихся; механизм дистаксии организует «горизонтальное» чтение, а механизм

интеграции дополняет его «вертикальным» чтением, непрестанно играя различными потенциальными возможностями, структура как бы «прихрамывает» и в зависимости от реализации этих возможностей придает рассказу его специфический «тонус», его энергию, каждая единица предстает как в своем линейном, так в своем глубинном измерении, и рассказ движется следующим образом: благодаря взаимодействию двух указанных механизмов структура ветвится, расширяется, размыкается, а затем вновь замыкается на самой себе; появление любого нового элемента заранее предусмотрено этой структурой» [6, с.420]. Уже в данном отрывке структура – в начале описанная как нечто хотя и подвижное, но системное, со своими уровнями, элементами, отношениями – становится не просто динамичной, но пульсирующей (и при этом еще и напоминающей постмодернистский топос ризомы). В конце же работы оказывается, что повествовательный текст представляет собой «форму, которая одержала победу над принципом повторяемости и утвердила модель становящегося бытия» [6, с.422]. Данная формулировка, в структуралистской логике, представляется взрывоопасной: на одной стороне – «модель», конструкция, на другой – «становящееся бытие», которому любые конструкции тесны, и таким образом, именно структурирование, сам его процесс, как бы изнутри подвел исследователя к постижению состояния бесструктурности. Это состояние возникает тогда, когда структура приходит в движение, начинает работать.

Категориальное разграничение, вызываемое данной ситуацией, проанализировано в работе «От произведения к тексту». Текст и произведение имеют знаковую природу: «Произведение в целом функционирует как знак. Текст ... работает в сфере означающего. Означающее следует представлять себе не как «видимую часть смысла», не как его материальное преддверие, а, наоборот, как его вторичный продукт. Так же и в бесконечности означающего предполагается не невыразимость (означаемое, не поддающееся наименованию), а игра, порождение означающего в поле Текста ... происходит вечно... – причем не органически, путем вызревания, и не герменевтически, путем углубления в смысл, но посредством множественного смещения, взаимоналожения, варьирования элементов» [7, с.416-417]. Итак, произведение – смысловое единство, текст – игра смыслов, разворачивающаяся в бесконечности. Если произведение определяется Р.Бартом как организм, то есть как завершенная в себе цельность, то текст – «сеть», это множественное образование, предполагающее не концентрацию, а «рассеяние смысла», поэтому, как пишет Р.Барт, «его можно дробить» [7, с.419], то есть его структура разомкнута и внутри себя, и вовне: «...прочтение Текста – акт одноразовый... и вместе с тем оно сплошь соткано из цитат, отсылок, отзвуков, все это языки культуры... старые и новые, которые проходят сквозь текст и создают мощную стереофонию» [7, с.418]. С одной стороны, внетекстовая реальность проходит сквозь текст, с другой стороны – «текст должен сквозь что-то двигаться» [7, с.415]. Эта ситуация двусторонней динамики, работы создает своеобразие структуры текста – «система без центра и без цели», в этой плане текст действительно парадоксален, так как структура, по сути, лишается опорных моментов, система оказывается асистемной, превращается в сплошную становящуюся множественность. В этой структуре слово, естественно, также представляет собой множественность, которая носит символический характер. Однако характер этой символичности, по сравнению с тем, как он определен в работе «Критика и истина», изменяется. Если в этой работе множественность смыслов слова соотносится с единством «истины слова», то здесь «нет объединяющего центра» [7, с.417] – множественность ассоциаций и взаимосцеплений существует при изъятии означаемого, она ни к чему не отсылает, кроме самого себя.

Итак, бартовский переход от структурализма к постструктурализму связан со смещением интересов ученого с произведения на текст, при этом анализ структуры сменяется текстовым анализом, в котором текст представляет собой именно множественную становящуюся реальность с проблематизированной структурой, размыкающейся вовне. Продуктивность этого размыкания структуры текста демонстрируется в рабо-

те «Текстовый анализ одной новеллы Э.По», (которая является практическим приложением теории текста, изложенной в предыдущей работе). Прежде всего, отсутствие единого означаемого, свойственного произведению, приводит к пониманию текста как «процесса означивания». Лексии, на которые членится текст, представляют собой «текстовое означающее», и произвольность такого членения Р.Барт объясняет тем, что «мы вынуждены довольствоваться членением означающего, не опираясь на скрытое за ним членение означаемого» [7, с.426]. То есть означаемое, конечно, существует, но оно, как об этом уже говорилось в предыдущих работах, не дано изначально и не едино, оно лишь возникает в процессе чтения-письма, причем в принципиальной множественности и вариативности.

Означаемое создается коннотациями лексий, которые, по сути дела, представляют собой работу текста на границе с жизненной реальностью и с внутренним миром воспринимающего субъекта: «Эти коннотативные смыслы могут иметь форму ассоциаций (например, описание внешности персонажа, занимающее несколько фраз, может иметь всего лишь одно коннотативное означаемое – «нервозность» этого персонажа, хотя само слово «нервозность» и не фигурирует в плане денотации)»; они могут также представать в форме реляций, когда устанавливается определенное отношение между двумя местами текста, иногда очень удаленными друг от друга» [7, с.427]. Обратим внимание, что выделенные в данном фрагменте типы коннотаций соотносятся, во-первых, с процессом дистрибуции (установление отношений между элементами одного уровня в структуре повествовательного текста – «реляции»), а во-вторых, с атрибутивными, фиксирующими «признаки» единицами уровня повествования, о которых шла речь в «Введении в структурный анализ повествовательных текстов». Правда, в данной работе снята иерархия, здесь фигурируют не уровни, а слои. Множественность же элементов структуры (функций, единиц), которые являются внутрислоевыми, заменяется множественностью кодов, таких элементов структуры, которые в прямом и переносном смысле переводят некое внутреннее содержание во внешнюю реальность. В данной работе фигурируют социальный, символический, этнический, нарративный и многие другие коды.

Множественности кодов соответствует множественность ипостасей субъекта: 1) «Я» – повествователь, художник, цель которого – достижение художественного эффекта, этому «Я» соответствует вполне определенное «Ты»: «Ты» – читатель... 2) «Я» очевидец, который может засвидетельствовать результаты научного опыта, этому «Я» соответствует «Ты» – сообщество ученых, общественное мнение, читатель научной литературы; 3) «Я» – участник действия, экспериментатор, который будет гипнотизировать Вальдемара, в этом случае «Ты» – сам Вальдемар» [7, с.437].

Собственно, в данной работе перед нами – проблематизация структуры, когда множество «структураций» – кодов, коннотаций, субъектов – приводит текст в состояние подвижности, фиксирует сам процесс рождения смысла и рассеивания его в жизненной реальности, в мир других текстов.

Обратим внимание, что в данной работе текст, представляя собой сложное образование, в сущности, уже перестает быть стабильной структурой. И, в принципе, это совершенно органично: ведь чем сложнее структура, чем больше в ней элементов, уровней, отношений между ними – тем менее она воспроизводима, четкость, ясность, центрированность – все эти качества структуры с ее усложнением становятся проблематичными. Так структура исчезает в структурировании, как клад уходит под землю. Р.Барт прекрасно видит данную закономерность и сознательно ею пользуется. Усложняя и размыкая структуру текста, он превращает ее в «сеть», которая улавливает текучесть бытия.

Итак, Р.Барт воспринимает художественное слово двойственно – как «знак и воплощение истины». Равновесие между этими двумя трактовками проблематично, поэтому в структуралистский период, говоря о слове как об имени, как о звуковой значи-

мости, Р.Барт постулирует слово как особую реальность, концентрирующую в себе сущность языка и бесконечность становящегося смысла. Далее, по мере смещения интереса с произведения на текст, со структурирования на аструктурность, слово становится знаком со множеством неопределенных и переходящих друг в друга означаемых, элементом процесса означивания.

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена особливостям осмислення художнього слова у працях французького семіолога Р. Барта. Розглядається еволюція поглядів Р. Барта від слова як імені до слова як знака та елемента структури.

SUMMARY

The article is dedicated to the peculiarities of word`s understanding in the works of French semiologue R. Bart. The evolution of views of R. Bart from word as a name to word as a sign and structure`s element is researched.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Suleiman S. Naming and difference: Reflection on "modernism versus postmodernism" in literature // *Approaching postmodernism* .- Amsterdam, 1986. – P. 225-270.
2. Ильин И.П. Постмодернизм и дух времени: 80-е годы в западном литературоведении // *Наука о литературе в XX веке. История, методология, литературный процесс.* – М., 2001. – С.149-165.
3. Цурганова Е.А. Новации зарубежного литературоведения в XX веке // *Наука о литературе в XX веке. История, методология, литературный процесс.* – М., 2001. – С.101-123.
4. Косиков Г.К. Постструктуралистская стратегия Ролана Барта: О книге «S/Z». – *Наука о литературе в XX веке. История, методология, литературный процесс.* – М., 2001. – С.124-148.
5. Барт Р. Критика и истина // *Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков.* – М., 1987. – С.349-386.
6. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // *Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков.* – М., 1987. – С. 387-423.
7. Барт Р. Избранные работы. Семиотика и поэтика. – М., 1989. – 616 с.
8. Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 тт.. – Талин, 1992. – Т. 1, 480 с.

Надійшла до редакції 12.04.2005 р.

УДК 82.09

ГЕРОИ А. П. ЧЕХОВА И ГЕРОИ В. М. ШУКШИНА: ПРОБЛЕМА ТРАДИЦИИ

Е.С.Дыкун

Традиции Чехова в творчестве Шукшина – тема не новая. В перечне русских классиков, чьи традиции развивал Шукшин, наиболее часто упоминается именно имя Чехова. Несомненно, что Чехов оказал большое влияние на все последующее развитие русской литературы. И творческие поиски Шукшина во многом основывались на худо-

жественных достижениях Чехова. В нашей статье мы рассмотрим чеховские традиции в творчестве Шукшина на уровне героев.

Сам Чехов в поисках героя продолжил традиции русских классиков, изображавших так называемых «маленьких людей». Но понятие «маленького человека» в его творчестве претерпело определенную деформацию. Если у Пушкина, Гоголя, Достоевского «маленький» – значит человек низкого социального происхождения и положения, то у Чехова – это человек, полностью погруженный в атмосферу частного бытия. Любая его соотнесенность или связь со всеобщим может быть только комически ничтожной и высмеиваемой (особенно таково положение в ранних рассказах писателя). Для времени, которое изображал Чехов, массовым явлением был расцвет мещанской психологии, погружение личности в мелочи быта, в заботы приобретательства. И Чехов, внимательно изучая этот страшный процесс, показывал в своих произведениях, как бездумная радость повседневного существования может незаметно привести даже человека живого и восприимчивого к полному душевному опустошению.

С мещанством были связаны и опасения Шукшина за духовный, нравственный мир человека. Проблему нравственности Шукшин пытался раскрыть в контексте крестьянской темы и связанной с ней темы «малой родины» и проблемы отрыва крестьянина от земли, а следовательно, утраты им нравственных ориентиров.

У Чехова и Шукшина, если человек по-настоящему страдает от отсутствия справедливости в жизни и гармонии в собственной душе, он большей частью находит в себе силы подняться над мелочами быта, обратиться к более высоким сферам человеческой деятельности. Внутреннее развитие таких героев приобретает характер восхождения. Именно они способны противостоять мещанской психологии окружающего их мира. Задумавшись над своей жизнью, эти герои совершают поступки, противоречащие привычному для них образу жизни, общепринятым нормам. С точки зрения обывательской логики их мысли и действия выглядят необычными, нелепыми, странными. И в этом трагедия общества, в котором люди, проявляющие свою естественную человечность, оказываются чужими.

Но не эти герои становятся объектом осмеяния для Чехова. Им он сочувствует. Смеется он над ограниченными, законопослушными обывателями, которые смешны своими пороками. В ранних рассказах это герои – «маленькие люди», так называемая «мелюзга», униженные не столько обществом, сколько своим отношением к себе и к жизни. Это герои рассказов «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Унтер Пришибеев», «Хамелеон» и т.п.

Именно такие герои Чехова стали во многом предшественниками так называемых «античудиков» Шукшина. Но если в вышеназванных рассказах Чехова высмеивается вся существующая система вещей, которая и плодит таких нравственных уродов, то у Шукшина отрицательной, разрушающей силе всегда противостоит положительная, объединяющая разрозненные части в единое целое, то есть «античудикам» всегда противостоят «чудики».

«Чудики» Шукшина добры и обладают душевным здоровьем, в то время как «античудики» агрессивны и не имеют, если так можно выразиться, нравственных тормозов, и уже ничто не может их изменить. Таковы вахтер из рассказа «Ванька Тепляшин», или «генерал» Малафейкин из одноименного рассказа, или «крепкий мужик» Шурыгин (рассказ «Крепкий мужик»).

Однако в отличие от Чехова у Шукшина смешными оказываются не «античудики», а «чудики». Но отношение к ним автора любовно. Смешны даже не сами персонажи, а ситуации, поступки. И у автора «чудики» вызывают не смех, а добрую улыбку, которая защищает этих героев, оберегает от насмешек тех, кто не понимает их достоинства, выделяет из толпы и возвышает над ней. Шукшин говорил: «Надо выявить их

(«чудиков» – Е. Д.) красоту, да так, чтобы сытый мещанин не возымел охоту зубоскалить над их «странностями» [1, с.182].

Шукшинские «чудики» прекрасны своей естественностью и наивностью. Они воспринимают мир в его первичной простоте, без искусственного налета надуманных общественных норм. Такое отношение к миру обусловлено их тесной связью с «малой родиной», то есть всем тем, что формирует в человеке душу, определяет его нравственное отношение к жизни. Естественная жизнь героев лишена лжи, тем самым она нравственна. В словаре В.И.Даля одно из определений слова «нравственный» – «согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и чистого сердца гражданина» [2, с.558]. И этим подтверждается один из основных принципов творчества Шукшина: «Нравственность есть Правда». Одна из черт чудачества шукшинских «чудиков» – открытость. Они тем и странны окружающим (то есть непонятны, необычны), что открыты для всех: готовы раскрыть свою душу и принять душевную боль других людей, как свою. По мнению Шукшина, именно «чудики», «добрые, доверчивые, готовые отдать все, прожить целую жизнь ради общего дела», способны своими «странностями» заставить равнодушного, ограниченного мещанина «горько почувствовать свою никчемность и хоть на малое время – встревожиться» [1, 182].

Шукшинские «чудики» во многом близки чеховским героям-детям, которые в творчестве Чехова являются самыми активными защитниками справедливости. Они вступаются за обиженных, как мальчик Егорушка из «Степи», и возмущаются дурными поступками взрослых, как восьмилетний Алеша из «Житейской мелочи». Они умеют быть благодарными за доставленную им радость, как все тот же Егорушка, умеют и сами заботиться о тех, кто слаб и нуждается в помощи, как «карапузик» Гриша из рассказа «Кухарка женится». Гибкая и человеческая детская логика приходит в столкновение с застывшими понятиями взрослых. И часто дети выходят победителями. Природная непосредственность и свежесть восприятия обогащают их души, сохраняя при этом в них «зачатки прекрасной чистой жизни».

Шукшинские «чудики» так же непосредственны и восприимчивы ко всему новому, как и чеховские герои-дети. Они дивятся всему новому и непонятному, как герой рассказа «Чудик». Они великодушны и правдолюбивы, как герои рассказов «Обида» и «Дядя Ермолай». Они пытливы и упорны в своем стремлении дойти до сути, как герои рассказов «Забуксовал», «Микроскоп», «Упорный» и др.

И у героев Чехова, и у героев Шукшина отношение к жизни определяется их естественным восприятием вещей. Они видят мир в его истинном свете, без налета лжи и формальности.

Таким по-детски наивным и открытым показан главный герой рассказа Шукшина «Чудик». В строго упорядоченном мире, где стандартизация жизни уничтожает индивидуальное начало в человеке, ведет к отчуждению людей, такой герой, как Чудик, становится чужим и непонятым, но он необходим, как двигатель жизни, как ее соки. Наивность героя сближает его с детьми и вызывает добрую улыбку и читательскую симпатию, а насмешки по отношению к нему со стороны других героев кажутся грубыми и нелепыми.

Наивность шукшинского Чудика сближает его и с героем рассказа Чехова «Злоумышленник». Но отношения авторов к этой черте своих героев различны. Шукшин полагает наивность Чудика признаком его нравственной чистоты. Наивность Дениса Григорьева Чехов определяет как его беду. По сути дела, Денис виновен, как и другие мужики, которые занимались тем же промыслом, который мог стать причиной крушения поезда. Но Денис не понимает своей вины. Наивность делает героя безвинным. Этимологию слова «наивный» М. Фасмер объясняет заимствованием из французского naïf, naïve от латинского *nativus* «природный, естественный». То есть Денис не может быть виновен, потому что он, как *tabula rasa*, ему не известно, что хорошо, а что плохо. То есть у чеховского героя наивность – это проявление нравственной неразвитости. А в

свою очередь эта неразвитость является порождением убогого, темного, нищенского существования. Парадокс же состоит в том, что виновным он объявляется с точки зрения тех, кто виновен в его ограниченности, глупости.

Шукшин и Чехов по-разному понимают природу духовности человека: у Чехова человек духовен, если он приобщается к культуре, и при этом не важна его «природная сущность», у Шукшина человек духовен, если он не рвет связей с тем, что его порождает, но это не значит, что человек не должен приобщаться к культуре, наоборот, он должен к ней всячески стремиться, сохраняя при этом память о прошлом.

У Шукшина есть рассказ «Два письма», в котором писатель показывает, как воспоминания о прошлом пробуждают во внешне благополучном человеке внутренний дискомфорт. Герой рассказа некогда был деревенским жителем. Затем уехал в город, выучился на инженера и со временем достиг карьерных высот, стал директором завода. Но житейская благочинность и довольство достигнутым оказываются недостаточными. Героя мучают сны о родной деревне. Только память о ней тревожит его душу.

Одна из важных для Шукшина проблем – проблема культуры. Шукшин никогда не ставил знака равенства между образованностью человека и его культурой. Для него культурный человек, интеллигентный – это человек, обладающий внутренним тактом, родовой памятью, умением слышать и понимать других, стремлением делать добро. Приобщение к знаниям не делает автоматически человека культурным.

Проблему культурного бескультурья ставит в своем творчестве и зрелый Чехов. Среда, изображенная в ранних произведениях Чехова, малокультурная, ее интересы не выходят за рамки повседневного прозаического существования. Все высокое, духовное может быть подано здесь только как неоправданная претензия или пародия. В ранних рассказах Чехов изображал бескультурье людей необразованных, не доросших до высоких духовных интересов. В зрелом творчестве у него появляются герои, внешне, формально приобщенные к культуре, но не облагороженные ею, потому что истинное приобщение к культуре возможно только через духовный подвиг. Такие герои либо превращаются в философствующих и жирующих обывателей, либо в бездумных исполнителей. И те, и другие близки шукшинским «античудикам». А рассказ Шукшина «Шире шаг, маэстро!» во многом перекликается с рассказом Чехова «Ионыч».

Сюжетная основа рассказа «Ионыч» – приезд молодого специалиста-врача в провинциальный город и постепенное втягивание его в привычный ход тамошней жизни. Главная проблема, которую раскрывает Чехов в своем произведении, – проблема омещанивания, а трагедию героя можно определить одной фразой – «среда заела». Герой Шукшина тоже молодой специалист-медик – врач сельской больницы. И проблема, которую пытается решить Шукшин в своем рассказе, – все та же чеховская проблема омещанивания.

В начале рассказа чеховский Ионыч – это энергичный молодой человек, полный неясных, но светлых надежд. Он влюблен и мечтает о женитьбе. Ему еще доступны простые человеческие чувства: и радость, и страдание. Но постепенно герой превращается в неповоротливого и озлобленного брюзгу, который не только разбогател и забыл годы своего бедного существования, но из его сознания начисто исчезло и то, что в молодые годы он любил, ревновал и мечтал о взаимности. Его благополучие порождает страх перед переменами. Омертвление души ведет к тому, что Ионыч становится одним из обывателей.

Но если душевное очерствение героя в рассказе Чехова происходит постепенно в течение нескольких лет, то у Шукшина в рассказе «Шире шаг, маэстро!» этот процесс ускорен: в течение одного дня. В отличие от Чехова Шукшин окружает героя людьми душевными, способными сочувствовать другим. Среда, в которой живет герой, вовсе не гнетет его. Скорее, он сам угнетает ее. Будучи врачом, Солодовников не вылечил ни одного человека. Герой Шукшина даже душевно ущербнее Ионыча. Тот хоть лечил, мечтал о любви, переживал моменты душевного подъема, а герою Шукшина не нужны ни работа, ни люди. Он сосредоточен на себе и не более. Обывателем, следовательно,

по Шукшину, может быть и молодой, полный сил человек, если его представления о жизни ограничены, а воля парализована равнодушием.

Подобно вышесказанному, шукшинский обыватель Чередниченко из рассказа «Чередниченко и цирк» близок герою рассказа Чехова «Человек в футляре» Беликову. Беликов продолжил традиции раннего Чехова в изображении бездумных героев-исполнителей, добровольных согладатаев и блюстителей морали. Он во многом близок унтеру Пришибееву, но в отличие от вышеназванного страшен своей силой: он, учитель гимназии, образованный человек, становится властителем дум не только всей гимназии, но и всего города. Сам живя в постоянном страхе: «как бы чего не вышло», Беликов запугивает и всех окружающих. Официальные циркуляры, которые прельщают его своей предписанностью: их нужно было выполнять, не думая и не рассуждая, он превращает в настоящие догмы, обязательные для всего общества. Если действия Пришибеева бессознательны: у него срабатывает рефлекс, выработанный слепой службой, то Беликов страшен, так как он сознательно терроризирует людей, сознательно внушает им собственный страх.

Подобно Беликову, герой рассказа Шукшина Чередниченко пытается свою жизнь облечь в определенные благопристойные нормы. Он человек солидного возраста, образованный и даже метит на определенную должность. Но случай выбивает его из привычной жизненной колеи: он влюбляется в циркачку, точнее не влюбляется, а увлекается. В порыве чувств Чередниченко даже готов жениться, но одновременно с увлечением в нем пробуждается страх: как бы чего не вышло. Страх изменить свою жизнь заставляет Чередниченко интуитивно искать пути отступления. И он испытывает не обиду, горечь, получив унижительную записку, а облегчение: проблема сама собой решилась. И если в Беликове любовь открыла остатки его живой души, то в Чередниченко она открыла его подлинную суть: ему не следует заключать свою душу в футляр, ее у него нет.

В отличие от Чехова Шукшин изображает героя как обычного человека, ничем не выделяющегося из толпы, что свидетельствует о том, насколько обиденны пошлость и душевная нищета и насколько они обедняют жизнь человека.

В своем творчестве зрелый Чехов пытается найти силы, способные противостоять равнодушию и бездуховности обывателей. У него появляются герои с совестливым отношением к жизни. В отличие от Ионыча они стараются вырваться из омута, в который их втягивает повседневная жизнь. Это учитель Никитин, который, словно проснувшись после спячки, рвется вон из мертвого мещанского уюта к неуютному, но живому миру человеческих страстей, к активной деятельности («Учитель словесности»). Это капиталист Лаптев, который мог бы умножать свое шестимиллионное богатство до бесконечности и успокоиться на этом, но он тяготится им, потому что чувствует его несправедливость («Три года»). Это дворянин Мисаил Полознев, сын известного архитектора, который мог бы спокойно служить в любом из учреждений, куда берут его по рекомендации отца, но он не уживается нигде, потому что не может смириться с несправедливостью и ложью, и, взяв кисть и ведро с краской, он идет работать маляром («Моя жизнь»). И так ведут себя многие другие герои Чехова. Эти люди не могут быть счастливы даже при вполне благоприятных обстоятельствах их частной жизни, потому что они не могут смириться с общим неблагополучием. Эти ищущие выход герои и становятся постепенно главными героями Чехова. Это и мальчик Егорушка из «Степи», и старик профессор Николай Степанович из «Скучной истории», и только начинающий свою службу следователь Лыжин из рассказа «По делам службы», и юные Надя Шумилина из «Невесты» и Аня из «Вишневого сада», и многие другие. Они – каждый по-своему – оказываются перед проблемой: как сделать свою жизнь более осмысленной.

У Шукшина тоже есть ищущие герои. Это все те же «чудики» с «душой растрепанной». Их растрепанные души болят и сводят все с привычного круга, и здесь начинаются «чудачества», в которые выливается жажда «чуда», стремление познать

мир и наполнить жизнь смыслом, чем-то значительным. Изобретает вечный двигатель Моря Квасов («Упорный»), салютует в честь пересадки сердца в Кейптауне ветеринарный фельдшер Козулин («Даешь сердце!»), пишет трактат о государстве телемастер Князев («Штрихи к портрету»), покупает тайком от жены микроскоп Андрей Ерин («Микроскоп»), бежит среди ночи выяснять, почему птица-тройка несет проходимца Чичикова, Роман Звягин («Забуксовал») и т. п. Но самое главное – герои Шукшина стремятся ответить на вопрос, которым задается шорник Антип из рассказа «Жил человек»: «Для чего жизнь дадена?»

В поисках истины шукшинские герои погружаются в самих себя, пытаются понять смысл своего личного бытия, а через это и смысл бытия вселенского. И главное их отличие от ищущих героев Чехова состоит в том, что они ищут истину, общую для всех, они живут общей жизнью, естественной и этим праведной. Шукшинские «чудики» – натуры цельные, внутренне не противоречивые. Они если ищут истину, то уже будучи готовыми открыть ее или просто принять в себя. Чеховские герои всегда вне связи со всеобщим. Главный вопрос для них – как им жить дальше? И истина, которую находит чеховский герой, истинна только для него, потому что он ищет и находит ее всегда по-своему, на основе собственного жизненного опыта. Но этот индивидуальный поиск истины может привести героя в тупик, что и происходит с доктором Рагиным, героем повести «Палата №6», теоретические идеи, общие знания которого не только не помогают ему ясно видеть окружающих и свои отношения с ними, но даже мешают, затемняя его разум. Его насильственная смерть как бы становится символом того, что в мире, в котором жил герой, невозможно осуществление высших целей. Действительность убивает человека. Подобное происходит и с Верой Кардиной, героиней рассказа «В родном углу». Мир, порождающий человека, в то же время и губит его, потому что этот мир испорчен бездушностью: он только рождает, но не творит человека, одушевляя его.

Однако Чехов не отрицает возможности найти счастье и правду. Но это возможно, только если герой откажется от прошлого, пусть даже это прошлое – его родной дом, родная семья, что и делает Надя Шумилина из рассказа «Невеста». Но, так как чеховские герои всегда ищут истину на основе собственного жизненного опыта, который иногда может завести их в тупик, им необходим наставник, который сможет определить их место в общественной жизни и дать толчок их развитию, как в рассказе «Невеста», где героиня свое прозрение и перерождение хотя и совершает сама, но без наставника, знающего, по какому пути направить ее развитие, она не смогла бы ответить на вопрос «что делать?».

И у Шукшина свободу герои не всегда могут обрести самостоятельно. Иногда им нужен кто-то, кто открыл бы им глаза на мир, растревожил душу. В его рассказе «Залетный» появляется герой, подобный чеховскому наставнику Саше из рассказа «Невеста». Саня Неверов, так зовут героя, являлся для мужиков своеобразным проводником между миром реальным, наполненным застывшим бытом, и миром скрытым, но исполненным живой естественности. Ситуация в рассказе подобна чеховской, только у Чехова желанный для ищущих героев мир – не мир живой естественности, а мир общественной, деятельной жизни. Шукшинские же герои ищут прежде всего первооснову бытия. И Саня Неверов был тем из немногих, кому она известна. Шукшинский Саня, как и чеховский Саша, смертельно болен. Но смерть не страшна им обоим, потому что свою жизнь они продолжают в своих «учениках».

В отличие от героини рассказа «Невеста» многие персонажи Чехова, высказывая определенные общественно-политические взгляды, не поступают согласно с ними. Они либо оплошляют идеи, либо прикрывают ими свою пустоту.

В некотором смысле таким «узурпирующим» героям Чехова подобен шукшинский Глеб Капустин, герой рассказа «Срезал». Начитанный и ехидный, он любил вести «заумные» беседы с приезжавшими в гости к родным в деревню бывшими односельчанами, ко-

торые теперь стали «знатными» городскими жителями. Глеб, используя тактику напора, забрасывал собеседника ничего не значившими книжными фразами и ошеломлял его, срезал. Но таким образом Шукшин в рассказе изображает трагедию современного противостояния деревни и города. Почему Глеб так агрессивен по отношению к городским? Причина неприязни к городу – «ревность: он сманивает из деревни молодежь» [1, 11]. В ответ ущербная деревня присваивает себе городской образ жизни, тем самым пытаясь уравнивать себя с городом. Но все это происходит формально, потребительски, нет духовного диалога культур. И Глеб – одна из жертв этого противостояния. Но, по Шукшину, причины человеческого духовного обнищания не только социальные, но и нравственные. Сам человек виноват в том, что отказывается от прошлого, от тех нравственных норм, которыми живет народ. В любых социальных условиях в человеке должна сохраняться человечность.

Чехов проблему духовной нищеты и пробуждения человечности связывает главным образом с социальными условиями. Именно они определяют человека как личность. В отношениях с обществом раскрывается духовная ценность человека. Чехов наделяет героя той или иной профессией не для того, чтобы выразить свою симпатию или антипатию к нему, не для подчеркивания его достоинств или недостатков. Но для того, чтобы эти достоинства и недостатки проявились в живой и конкретной деятельности человека.

Для Шукшина критерием нравственности героя является его отношение к «малой родине». Тесная связь с ней позволяет жить общей народной жизнью и дает духовную свободу шукшинским «чудикам». Естественная человечность определяет их своеобразие. Оказываясь в любых социальных условиях, они выделяются своей особостью. «Античудики», наоборот, всегда социально детерминированы. Утрата корней лишает их индивидуальности и человечности, они превращаются в социальную функцию, в маску, которой закрывают свою пустоту. Но общество само по себе не влияет на человека. Оно не улучшает и не портит его. Человек сам делает выбор, определяя меру своей духовности. В рассказах Шукшина нравственную позицию героя раскрывает, прежде всего, поступок, который воспринимается окружающими как чудачество.

В обществе, которое изображает Чехов, социальный фактор является ведущим. Он определяет отношения между людьми, как, например, в рассказе «В родном углу»: когда один из персонажей известен героям, хозяевам имения, как прохожий солдат, ему позволяют работать, делать в саду дорожки, но, как только становится известно, что он незаконнорожденный, его изгоняют прочь. Человек сам по себе не имеет значимости. В творчестве Чехова социальная среда, воздействуя на человека, способна уничтожить в нем свойственную с детства склонность к добру, красоте, справедливости, внутренне поработить его, лишить способности самостоятельно мыслить. Но в то же время, попадая в определенные социальные условия, герой способен задуматься над смыслом жизни и начать поиск своего места в ней.

В связи с этим Чехов намечает два противоположных отношения человека к окружающей его действительности. Одно – инертное, когда человек подчиняется слепой власти быта, обстоятельств и теряет волю к сопротивлению, а следовательно, теряет и все истинно человеческое, что было ему свойственно. Он приспосабливается к той жизни, которая изображается Чеховым как жизнь несправедливая, пустая, пошлая. Другое отношение – активное, проявляющееся в конкретных действиях, поступках, приносящих конкретную пользу людям и освобождающих человека от духовного рабства, от душевной лени.

Думающие герои Чехова просты и на первый взгляд заурядны, но они-то, если глубже взглянуть, и оказываются подлинными героями. Их внутренняя жизнь полна духовных исканий, взлетов, падений, раздумий о ценности человека. В этом и заключается их своеобразие, воспринимаемое окружающими как странность.

Шукшин в своем изображении «странных людей», несомненно, продолжил традиции Чехова. «Чудиков» Шукшина с думающими героями Чехова роднит «растревоженность» души, стремление сделать жизнь осмысленнее, значительнее. Но у Чехова это «тонет» в интеллигентской рефлексии, а у Шукшина герои реализуют свое желание в действии, в

поступках. Кроме того, герои Шукшина в отличие от чеховских ощущают свою органичную связь с миром. Однако более ощутима генетическая связь шукшинских «античуди-ков» и «пошлых» людей Чехова: в них – ограниченность, бездуховность, агрессивность, чувство превосходства над людьми, которое дает им пусть и очень маленькая, но власть.

Но «странные» герои у Чехова и Шукшина осуществляются по-разному. Это определяется, как нам кажется, тем, как писатели понимают, что значит жизнь истинная.

Для Чехова истинная жизнь – это жизнь, полная духовных исканий, взлетов, падений, раздумий о ценности человека. Но жить такой жизнью могут только люди, приобщенные к культуре, потому что индивидуальный поиск истины может завести вопрошающего в тупик, привести к трагедии.

Для Шукшина истинная жизнь – это жизнь естественная, но обогащенная народной культурной традицией. Человек, чтобы жить истинной жизнью, должен сохранять тесную духовную связь со своей «малой родиной», которая преломляет в себе всю Россию с ее вековыми вопросами «о жизни, смерти и бессмертии».

РЕЗЮМЕ

В статті автор розглядає традиції А. П. Чехова в творчості В. М. Шукшина на рівні героїв. В той же час визначається своєрідність героїв цих письменників, яка розкривається в порівняльному аналізі.

SUMMARY

In the article the author looks at the Chekhov's traditions in Shukshin's works on the level of heroes. At the same time the specifics of heroes of these writers is defined; the author reveals it in the comparative analysis.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Шукшин В. М. Вопросы самому себе. – М., 1981.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. – М., 1989.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 1-4. – М., 1986-1987.

Надійшла до редакції 02.06.2005 р.

УДК 82. 0

ПРИНЦИП ИКОНИЧНОСТИ В ЛИТЕРАТУРНОМ АНАЛИЗЕ

М.Ю.Шкуропат

В данной работе предлагается один из возможных путей проведения литературного исследования с учетом принципа иконичности [*О значении понятия иконичность см: Шкуропат М.Ю. «К проблеме иконичности в литературоведении» // Литературоведческий сборник. Вып. 21*].

Как было отмечено, принцип иконичности предоставляет в литературном анализе иной угол зрения, отличный от традиционного, и позволяющий раскрыть бытийную сущность изображаемых явлений.

Как на практике осуществить литературный анализ с учетом принципа иконичности? Ответ на этот вопрос представляется максимально простым и сложным одновременно. Для этого в произведении необходимо «увидеть» икону – образ первообраза умопостигаемой действительности, эксплицитно или имплицитно воплощенный в ху-

дожественном мире. Не *икону* – богослужебный образ, а *икону* в метафорическом смысле – воплощенный посредством художественного слова образ Первообраза или первообразов мира невидимого (согласно классификации В.Левахина [1, с.43]), безупречную с точки зрения обозначенной христианской традиции, написанную духовным видением художника слова и образа, а не мастерски исполненную, великолепную по форме и содержанию и многоценную с эстетической точки зрения совокупную *картину* мира земного и творчески преображенного художественным сознанием собственного внутреннего мира автора. Здесь не имеется ввиду экфрасис – литературное описание предмета искусства, столь популярное в византийские времена и появляющееся в литературе последних столетий.

Икона мира и *картина* мира вполне могут и должны сосуществовать в одном произведении, не исключая, а взаимно дополняя друг друга, находиться в «двуединном со-бытии» [1, с.49] и поочередно открываться воспринимающему сознанию в зависимости от исходной установки. Это тот самый случай, когда в искусстве «“небесное” и “земное”, – по выражению В. Непомнящего, – слито до нераздельности» [2, с.193]. Поскольку, согласно христианской онтологии, мир земной и небесный двуедины, существует «нераздельно и неслиянно», аналогичное взаимное сопряжение обоих миров и обоих действительностей подразумевается и в художественном мире в виде *картины* и *иконы*, как подвижное соположение чувственного и сверхчувственного. Благодаря этому в произведении реализуется «динамическое единство “неба” и “земли”» [3, с.22] и «связь текста с внетекстовой реальностью» [4, с.49].

Икона в художественном произведении представляет «первичную реальность» [5, с.145] по отношению к изображаемому. Первообразами на *иконе* выступают события, явления, образы, принадлежащие Священной Истории. Причем, события, совершающиеся в пределах художественного времени, рассматриваются как «иносказания о смысле, пребывающем вне времени» [6, с.94]. *Икона* позволяет преодолеть время, поэтому образы прошлого и будущего абсолютно конкретны, и существенно не важно, события какого века запечатлены – прошлого, как уже свершившиеся, или грядущего, еще не свершившиеся, но предсказанные в Откровении и поэтому известные и ожидаемые, поскольку и те и другие рассматриваются как одновременные относительно вечности, когда «различие между прошедшим, настоящим и будущим, между “уже” и “еще не” в принципе снято» [6, с.94].

Присутствие *картины* в любом произведении обусловлено наличием внешнего подобия образов и явлений художественного мира, созданных в процессе творчества, образам и явлениям мира действительности или мира вымышленной (фантастической) реальности. *Картина* воплощается в произведении посредством изобразительно-выразительных средств данного вида искусства. Чем художественней эти средства, и выше степень подобия созданных образов, тем более яркие *картинные* представления вызываются у реципиента. *Картина* в любом виде искусства – это лишь визуальное изображение, ограниченное его формой. Духовное ядро произведения представляет *икона*, выводящая на иной уровень восприятия. Видение *иконы* формируется от иной реальности, скрытой и лишь угадываемой по отдельным смысловым ориентирам и стилистическим доминантам, глубинным соотношениям с личным и соборным культурно-религиозным опытом. Как писал о. Павел Флоренский: «...икона будит дремлющее глубоко под сознанием восприятие духовного, <...> дает почувствовать или приблизить к сознанию собственный опыт такого рода» [7, с.105]. «Созерцающая икону, – пишет В.В.Бычков, – человек не извне получает знания, но возбуждает в самом себе память о забытых глубинах бытия, о своей духовной родине, и это воспоминание приносит ему радость обретения забытой истины» [8, с.323]. *Икона* в литературном произведении, таким образом, выполняет одну из своих важнейших онтологическо-психологических функций – напоминательную, о которой словами святых отцов говорил Седьмой Все-

ленский Собор, икона служит: «для напоминания себе и запоминания первообразов» [9, с.215]. Если икона-богослужебный образ «есть невербальный текст» и «икону можно читать как текст, восстанавливая при этом не только собственно текст, лежащий в основе данной иконы, но и прочтение этого текста иконописцем, его школой, эпохой...» [10, с.282], то текст литературного произведения читается как *икона*, то есть таким образом, чтобы сквозь видимые, ярко изображенные образы художественного мира проступали невидимые первообразы иного мира, хранимые соборным духовным видением. Динамическое духовное движение при созерцании *иконы* выводит не в прямopersпективный видимый мир, но в мир обратнопerspectiveтивный, приблизиться к которому возможно лишь через «окно» *иконы*.

Картина, если можно так сказать, есть «внешняя форма» произведения, *икона* – его «внутренняя форма». *Картина* нарочито доступна, эстетична, она открыто сообщает о себе всей гаммой изобразительно-выразительных средств, говорит со всеми органами чувств. *Икона* молчаливо присутствует в произведении, не навязывается, не обязывает себя раскрывать, безмолвно говорит с душой. Именно к иконе Е.Трубецкой отнес изречение Шопенгауэра: «...к великим произведениям живописи нужно относиться, как к Высочайшим особам. Было бы дерзостью, если бы мы сами первыми с ними заговорили; вместо этого нужно почтительно стоять перед ними и ждать, пока они удостоят нас с нами заговорить» [11, с.22]. Момент «услышания» голоса *иконы* приходит как момент откровения воспринимающему, когда у него отверзаются духовные очи к видению иного мира в художественном тексте и появляется «острое, пронзающее душу чувство реальности духовного мира, которое, как ожог, внезапно поражает...» [7, с.105]. Павел Флоренский писал, что все иконы таят в себе возможность духовного откровения, хотя и под покровом более или менее проницаемым [7, с.106].

Картина является продуктом авторского воображения, *икона* – духовного видения. Картина воспроизводит «образ образа», *икона* оживляет память о Первообразе, не допуская их смешения. *Картина*, в лучшем случае, формирует эмоционально-оценочное представление об изображенной действительности. *Икона* способствует постепенному, таинственному преображению духа. *Икона* представляет собой некий порог, который можно перейти и установить живой контакт с Первообразом, а можно перед ним остановиться.

Присутствие *иконы* определяется в первую очередь по особым приемам формирования пространственно-временного континуума, когда наряду с эмпирическим пространством и временем изображается пространство и время, выводящее в вечность и от нее не отделимое. Причем, вечность настолько органично вписывается в хронотоп произведения, что становится его ядром и влияет на ход пространственно-временного потока. Вследствие этого, пространство теряет плоскостной характер и приобретает объемность – свойства обратнопerspectiveтивного, духовного пространства (по П.Флоренскому [12, 10-13]), а время исчезает, соединяясь с вечностью и образуются вневременные лакуны. Игнорирование особенностей хронотопа может сказаться на смысловосприятии полноты и ценностной значимости художественного образа, существующего вне привычных временных и пространственных границ.

Проще всего «увидеть» *икону*, если в произведении в той или иной мере использованы библейские, евангельские, житийные, иконографические сюжеты, или сюжеты сказаний об иконах. Примеры можно приводить из творчества Ф.М.Достоевского, Н.С.Лескова, Вяч. Иванова, А.Ахматовой, Б.Зайцева, М.Булгакова, Б.Пастернака, Ч.Айтматова, Б.Акунина и многих других авторов. Определяющую роль, с точки зрения возможности воплощения иконичности, будет играть устойчивая религиозно-мировоззренческая позиция автора. Если эта позиция не ярко выражена, на первый план выступает художественная изобразительность, но иконичность может быть выявлена в ходе исследования.

Очевидную связь с иконографическим каноном иконы «Рождество Христово» В.

Лепяхин замечает в композиционном решении стихотворения Б.Пастернака «Рождественская звезда» из романа «Доктор Живаго» [13, с.665-681]. В сюжете стихотворения отражено круговое движение взгляда поэта по композиционной схеме иконы, чем обеспечивается присутствие в стихотворении всех участников события Рождества: Божественного Младенца, Богородицы, Ангелов, пастухов, волхвов, старца Иосифа, служанки, и, конечно, рождественской звезды. Кроме того, Пастернак использует типично иконичный прием организации пространственно-временных отношений, когда прошлое, настоящее и будущее совпадают, а «даль времен» отражает «даль» пространственную. Но более всего стихотворение и икону роднит не изобразительный план, а именно сущностное соответствие – поэт художественно осмысливает общечеловеческое значение описанного в Евангелии и изображенного на иконе события.

Не столь явную, но ясно читаемую экспликацию иконичного сюжета обнаруживает И.Есаулов в другом стихотворении Б.Пастернака – «Ожившая фреска», где, по убеждению исследователя, происходит словесная проекция иконы «Чудо Георгия о змие» на события Сталинградской битвы. В тексте стихотворения прослеживаются не только все три участника иконографического сюжета: Георгий Победоносец, змий и освобожденная Георгием царевна (образ матери лирического героя и матери-родины), но и само чудо – итоговая победа Георгия, предвещающая победное окончание войны [14, с.167-168].

Интересный пример анализа повести «Запечатленный Ангел» Н. Лескова представлен в работе О.В.Евдокимовой [15, с.189-193]. Основывая свои рассуждения на том, что точка зрения и позиция рассказчика в повести несут в себе элементы обратной перспективы, автор увидела в литературном произведении сходство с житийной иконой с клеймами, где в среднике изображается Ангел, а вокруг него тринадцать глав-клейм. Продолжив исследование в иконичном ключе В. Лепяхин уточнил детали и представил композиционное решение повести в виде иконы с деяниями, где все шестнадцать глав-клейм повести располагаются двумя горизонтальными и двумя вертикальными рядами вокруг средника [13, с.295-314].

Гораздо сложнее прочувствовать скрытую иконичность, открывающуюся не поверхностному зрению, а духовному видению. Глубинная иконичность заключительной сцены «Ревизора» Н.В.Гоголя оказалась настолько не понятной современникам, в восприятии которых доминировали параллели с окружающими реалиями, что автор, выстрадавший эту сцену и придававший ей исключительное значение, вынужден был пуститься в объяснения. На основании этих объяснений В.Воропаев приходит к выводу, что «немая сцена» «есть символическая картина именно Страшного Суда», когда каждый из персонажей осознает себя стоящим перед Судией [16, с.3]. Другими словами, исследователю удалось увидеть *икону* Страшного суда, задуманную автором, первообраз из «грядущего века». Собственное «предстояние перед Судией», по замыслу Гоголя, должен суметь представить каждый зритель и читатель комедии.

Принцип иконичности может быть применен при исследовании европейской литературы, относящейся к христианскому типу культуры, поскольку в ее основе лежит единая идейно-эстетическая традиция, связанная со Священным Писанием. Однако при интерпретации универсальных закономерностей, отражающих единство христианской парадигмы, следует учитывать национальный контекст, в котором создано то или иное произведение и конфессиональные особенности. Очевидна иконичность пьесы классика английской литературы XX в. Т.С. Элиота «Убийство в соборе» («Murder in the Cathedral»), в которой бездуховность современного мира противопоставлена идеалу миропорядка средневековья. Это великолепный пример сознательного стремления автора воплотить идею цельности мира в его единстве с Богом, напомнить о евангельских заповедях и показать средствами поэтической драмы, что такое святой и святость.

Детские сказки «Хроники Нарнии» К.Льюиса, в которых нет ничего, говорящего о Боге, насквозь иконичны, поскольку в них откровенно «явлены» *иконы* евангельских

сюжетов и образов. Ребенок, не знакомый с книгами Старого и Нового Завета, будет очарован волшебством этих сказок, в которых ненавязчиво, через прозрачные намеки проповедуется христианские ценности. Взрослый читатель, опираясь на свой духовный опыт, проникнется подтекстовой иконичностью, проанализирует аллюзии, сопоставит сюжет и таким образом «откроет икону».

Основополагающим условием выявления иконичности, безусловно, является знакомство читателя и исследователя с христианской религиозной символикой, воплощенной, помимо текстов Священного Писания, в богослужебных текстах, агиографической литературе, трудах религиозных мыслителей. Иконичное мировидение, в идеале, возникает при сочетании глубокого культурно-познавательного и личностного духовного опыта. В этом случае появляется возможность выявить онтологические ориентиры, посредством которых актуализируется художественная семантика произведения.

Эмоциональная реакция реципиента обусловлена, соответственно, тем, что он увидел в произведении – *картину* или *икону*. В первом случае возникают вполне объяснимые чувства, связанные с эстетическим восприятием – восхищение, волнение, тревога, любование и так далее, в зависимости от характера материала. Во втором случае появляется сосредоточение мысли, молитвенное желание познать первообраз. В результате возникает необходимость обратиться к текстам Старого и Нового Завета, богослужебным текстам, религиозной символике, чтобы убедиться в справедливости своих догадок и глубже вникнуть в идею, другими словами – совершить мысленный выход из мира эмпирического в сверхэмпирический через «окно», которое приоткрывает *икона*.

Иконичное восприятие вполне может проявиться в отношении нелитературных видов искусства. Показателен в данном случае пример иконичного анализа, представленный в статье диакона А.Кураева «Фильм о «Титанике»: взгляд богослова» [17, с.74-90]. Автор увидел и раскрыл иконичное начало в, казалось бы, абсолютно развлекательном фильме. А. Кураев пишет о жертвенной этике, о хаосе и космосе, о победе над смертью, расшифровывает религиозную символику и заставляет ее осмыслить, проводит сложные параллели с текстами Священного Писания, раскрывает путь преодоления времени и обретения вечности через любовь и верность и, таким образом, подводит читателя к пониманию торжествующей в фильме идеи – возрождению к новой жизни. Автор статьи приходит к важному и для литературоведа выводу, что «любой текст надо рассматривать, исходя из его соответствия тем целям, которые он сам ставил перед собой. Текст не должен отвечать на те вопросы, которые есть у нас; он должен ответить на те вопросы, ради ответа на которые его создал его автор» [17, с.87].

Рассмотрим возможность применения принципа иконичности при литературном анализе на материале эпопеи И.С.Шмелева «Солнце Мертвых». Наше внимание будет сосредоточено на сопоставлении исходных исследовательских установок, при которых акцентируется либо изобразительная, либо иконичная доминанта.

А.П.Черников, автор первой в российском литературоведении монографии о творчестве И.Шмелева, назвал книгу «Солнце Мертвых» «реквиемом по России» [18, с.227]. Автор приводит многочисленные примеры высокой оценки эпопеи эмигрантскими критиками, соглашаясь с ними в том, что «Солнце Мертвых» – это трагическое повествование о красном терроре, «история гибели жизни». Он обращает внимание на сюжетное содержание, систему образов, идейную связь произведения с книгами «Окаянные дни» И.Бунина и «В тупике» В.Вересаева. По его мнению, Шмелев безукоризненно точно воссоздал «картины растоптанной, убитой, погибающей жизни, превращенной в «мертвую тишину погоста»» [18, с.217].

Картину «окружающей человека дикости», воплощенную в эпопее «Солнце мертвых», охарактеризовал С.И.Кормилов в статье «Самая страшная книга» [19, с.21-30]. Исследователь сосредоточил внимание на соотношении изобразительного и вырази-

тельного в эпопее и блестяще проанализировал выбор автором художественных средств, посредством которых пишется *картина* всеобщего вымирания.

Д.Д.Николаев обращает внимание на контрастное наложение сразу нескольких *картин* в эпопее – жуткого настоящего и гармоничного прошлого персонажей, что способствует выявлению общих конфликтов (жизни и смерти, прошлого и настоящего, гармонии и хаоса и т.д.) [20, с.222].

Совершенно естественно стремление исследователей проанализировать *картину* мира, воплощенную в произведении, поскольку «Солнце Мертвых» – это, прежде всего, документ эпохи, благодаря которому открылась правда о преступлениях большевистской власти. В нем живописуется грандиозная трагедия России, переосмысленная автором в историческом масштабе. Но это еще и «страшное свидетельство <...> о нравственном ущемлении и духовном вырождении» нации [21, с.95], в котором явно акцентируется желание автора показать, что происходит в стране, где «Бога забыли, а богом сделали человека» («Солнце Мертвых»).

Нам представляется спорным предложение А.М.Любомудрова, одного из наиболее последовательных современных исследователей творчества И.С.Шмелева, рассматривать в эпопее «ситуацию смерти Бога» [22, с.130]. Исследователь выделяет в «Солнце Мертвых» фразу «Бога у меня нет, синее небо пусто» и опирается в своих размышлениях на известный момент биографии, когда автор эпопеи отошел от церкви (будучи студентом университета), а истинное воцерковление писателя, по мнению А.М.Любомудрова, произошло гораздо позже, уже в эмиграции, тогда же и пришло к нему понимание постигшей Россию катастрофы как Божьего промысла [22, с.131].

Выявленные нами значимые текстовые доминанты позволяют акцентировать бытийное измерение в художественном мире и говорить об имплицитном присутствии иконичности, которая проявится «торжествующим христоцентризмом» [5, с.246] в вершинных произведениях позднего эмигрантского периода. В статье «Авторские самоопределения в эпопее И.Шмелева “Солнце Мертвых”», посвященной поэтике заглавия и подзаголовка, была раскрыта концептуальная соотнесенность эпопеи с иконографическим сюжетом пасхальной иконы «Сошествие во ад» [23, с.141-143].

Смысловая кульминация сосредоточена, по нашему мнению, в цитате из православного Символа Веры «Чаю Воскрешения Мертвых!» [24, с.180], намеренно выделенной автором прописными буквами [Подробнее об этом см.: 23, с.138-141]. Автор рассматривает мир видимый, в котором царят силы зла, как замутненную грехом *икону* мира невидимого: «А ведь *должен* же быть хоть *там* какой-нибудь мир, где есть какой-нибудь смысл?! Ибо *хотим* смысла!» [24, с.147]; «А *там* ... где нет миндальных садов, блистающего моря и этого смеющегося солнца, пирующего на кладбище? *Там* – как?» (Курсив авторский, – М.Ш.) [24, с.109]. Желание восстановить утраченное равновесие в земной жизни чувствуется в каждом страстном авторском призыве: «Хочу Безмерного – дыхание Его чую» [24, с.89]; «Вниди в нас, Господи, в великое горе наше и освети» [24, с. 162]. Автор демонстрирует христианскую уверенность в неотвратимости грядущего прозрения: «Теперь будут начинать сызнова, когда прозреют. А может и некому будет прозревать» [24, с.72]. «Онтологический мост» [1, с.170] между Богом и человеком восстанавливается с каждым молитвенным обращением героя-повествователя и «ситуация смерти Бога», а точнее, временное ощущение богооставленности, проявившееся в первых главах, окончательно преодолевается в очерке «Жива душа» утверждением «Знаю я: с нами Бог!» [24, с.162].

Более того, в «Солнце Мертвых» на фоне кричащей *картины* всеобщего умирания, череды бессмысленных смертей не только человеческих, но «всякой твари», открывается молчаливая *икона* Распятия – икона победы над смертью.

Вспомним, что художественное время эпопеи в соответствии с церковным календарем располагается между праздниками Преображения и Воскресения Господня. Как пове-

ствует Евангелие, после Своего Преображения Господь запретил ученикам рассказывать о виденном, «...доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых» [Мф. 17, 9]. Этими словами Иисус дал понять, что Ему известен предстоящий путь страданий и крестной смерти. В православной традиции утверждается невозможность спасения иначе, чем через муки и крест. Чудо Христова Воскресения – это результат победы над смертью, как писал Е.Трубецкой: «...ведь нет Пасхи без Страстной седмицы и к радости всеобщего воскресения нельзя пройти мимо Животворящего Креста Господня» [11, с.13]. События эпопеи представляют затянувшийся «страстной» период в исторической судьбе России, за которым непременно должно последовать воскресение.

Крест символически устанавливается автором в центр художественного мира в момент обретения его героем-повествователем в виноградной балке: «А где-то вознесшийся черный крест, заросший... Вот он. Не затеряется... <...> Я все повырублю в балке, но Крест оставляю... <...> Крест – само естество живое – в опустевшей Глубокой балке» [24, с.93]. Значимость символа подчеркнута прописной буквой. Знаменательно, что Крест в балке был вырублен в поросли граба, что выступает дополнительным свидетельством воплощения христианского понимания креста как Древа, через которое приходит спасение миру. На этом кресте символично распинается Россия, попавшая во власть безбожников.

Распятие и Крест России для Шмелева не просто метафора или условный символ. В основе такого понимания лежит напряженная работа над собственным религиозным сознанием и сопоставление истории страны со Священной Историей. Свое понимание событий он с патриотическим пафосом изложил сразу после опубликования «Солнца Мертвых» (1923 г.) в ряде публицистических статей 1924-1927 гг. Автор прямо называет историю России «второй священной историей», «историей со своей Голгофой» [25, с.140], говорит о России: «Это – Она, терновым венцом венчанная» [25, с.27] и рассматривает путь страданий и жертв как «путь к правде неистребимой, <...> путь к вечности, пути Божьи, какими человечество движется к величайшему завершению» [25, с.28], к тому времени, когда «победительно воспоют изведенные из земного ада: Пасха нетленная – мира спасение» [25, с.60]

Сопоставление событий Священной Истории с описанными в эпопее дают следующее: в Гефсимании Сын Человеческий был предан в руки грешников [Мар. 14, 41]. Россия попала под власть большевиков, тех, «что убивать ходят» [24, с.52]. На Голгофу Иисус взошел за грехи человеческие [Иоан. 19, 17]. Российская голгофа была наказанием за увлечения интеллигенции идеалами западной демократии (по убеждению Шмелева): «И так везде и на всем, – итоги интеллигенции» [24, с.72]. Крестные страдания Христа [Мар. 24-37] сопоставимы со страданиями и муками народа: «Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях. <...> Убивали и зарывали. А то и совсем просто: заваливали овраги. А то и совсем просто – просто: выкидывали в море. <...> В подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства»; «На Волге десятки миллионов с голодудохнут и трупы пожирают» [24, 74]. Кровь Христа была пролита на голгофском жертвеннике за грехи человеческие [Иоан. 19, 34; Мар. 14, 24]. Гигантским жертвенником стала вся страна: «создали «человечьи бойни» [24, с.44]; «Куда ни взгляни – никуда не уйдешь от крови. Она – повсюду» [24, с.96]. Тем, кто кричал на суде Пилата: «...распни Его!» [Мар. 15, 13], а так же злословцам и насмешникам, окружившим Распятого на Кресте [Мар. 15, 29-32; Мф. 27, 39], в произведении соответствуют страны мировой демократии, с любопытством следящие за ходом «кровавого эксперимента» в России, снабжая его похвальными комментариями: «Славные европейцы, восторженные ценители «дерзаний»! <...> Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы даете почетные интервью, восхищаясь и одобряя, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто...» [24, с.94-95]. Далее, согласно

Евангелиям, следовало разыгрывание одежд стражниками [Мф. 27, 35], в эпосе читаем: «течет и течет туда награбленное добро, посятое с живых и мертвых <> плывет в Европу, на Амстердам, на Лондон, за океаны, на Сан-Франциско» [24, с.91]. Духовная смерть уже наступила в России, по мнению автора, потому что «душу убили великого народа» [24, с.91]. За всем этим должно последовать Воскресение, но поскольку «Воскресения не бывает не только без смерти, но и без твердой веры в реальную возможность этого чуда» [26, с.353], эпосею «Солнце Мертвых» венчает заклинательный авторский призыв: «Я верю в чудо! Великое Воскресение да будет!» [24, с.180].

Предложение учитывать принцип иконичности в литературоведческом анализе ни в коей мере не связано с попыткой приуменьшить значимость принципов традиционной аналитики. Выбор изначальной установки на восприятие *картины* или *иконы* зависит от произвольного волеизъявления исследователя и его внутренней позиции. Отказаться от «открытия *иконы*» – значит сознательно или бессознательно предпочесть отсутствие присутствию.

РЕЗЮМЕ

В статті зроблена спроба показати, у який спосіб можливо проводити літературний аналіз, урахувавши принцип іконічності, завдяки чому з'являється можливість розкрити онтологічну сутність зображених явищ.

SUMMARY

The paper contains an example of literary criticism through the concept of "iconity", which allows to disclose ontological sense of the depicted events.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Лепахин В. Икона и иконичность. – Сегед, 2000.
2. Гаспаров М., Зенкин С., Непомнящий В. и др. Гуманитарная мысль: светская или религиозная // Знамя. №7. – 2000.
3. Кораблев О.О. Російська художня література як джерело філологічного знання. Автореф. дис. ... доктора філолог. наук. – К., 2004.
4. Мных Р. Категория символа и библейская символика в поэзии XX века. – Lublin, 2002.
5. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск, 1995.
6. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977.
7. Флоренский П. Иконостас // Избранные труды по искусству. – М., 1996.
8. Бычков В.В. Философия искусства П. Флоренского // Избранные труды по искусству. – М., 1996.
9. Деяния Вселенских Соборов. Т.7. – Казань, 1891 // Цит. по: Лепахин В. Икона: значение и предназначение. – М., 2002. с.119.
10. Лепахин В. Икона: значение и предназначение. – М., 2002.
11. Трубецкой Е. Умозрение в красках. Два мира в древнерусской иконописи. Россия в ее иконе // Трубецкой Е. Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1991.
12. Флоренский П. Обратная перспектива // Избранные труды по искусству. – М., 1996.
13. Лепахин В. Икона в русской художественной литературе. – М., 2002.
14. Есаулов И.А. Экфрасис в русской литературе нового времени: картина и икона // Сб. трудов Лозаннского симпозиума. – М., 2002.
15. Евдокимова О.В. Живописание в структуре произведения Н. С. Лескова // Русская литература и изобразительное искусство. – Л., 1988.
16. Воропаев В. Над чем смеялся Гоголь: о духовном смысле комедии «Ревизор» // Воскресная школа №40-41, 1998.

17. Кураев А., диакон. Фильм о «Титанике»: взгляд богослова // Школьное богословие. Изд. 2-е, доп. – М., 1999.
18. Черников А.П. Проза И. С. Шмелева: концепция мира и человека. – Калуга, 1995.
19. Кормилов С.И. «Самая страшная книга» (Соотношение изобразительного и выразительного в «эпопее» Ивана Шмелева «Солнце мертвых») // Русская словесность. – 1995. – №1.
20. Николаев Д.Д. Эпопея И.С. Шмелева «Солнце мертвых»: поэтика жанра. // Венок Шмелеву. – М., 2001.
21. Струве Г. Русская литература в изгнании. Изд. 2. – Париж, 1984.
22. Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К. Зайцев и И.С. Шмелев. СПб., 2003.
23. Шкуропат М. Ю. Авторские самоопределения в эпопее И. С. Шмелева «Солнце Мертвых» (заголовок и подзаголовок) // Литературоведческий сборник. Вып. 14. – Донецк, 2003.
24. Шмелев И. Солнце Мертвых. // Иван Шмелев. Въезд в Париж. – М. 2003.
25. Шмелев И. С. Душа России. – СПб., 1998.
26. Есаулов И.А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX вв. Петрозаводск, 1998.

Надійшла до редакції 10.05.2005 р.

УДК 82.0

ГУМАНИТАРНАЯ ПОЭТОСОФИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОГО БЫТИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (А.С.ПУШКИН И ИЕНСКИЕ РОМАНТИКИ)

И.В.Логвинова

Творческое бытие поэтического произведения – одна из «вечных» проблем истории гуманитарных учений. Впервые в теоретической форме эту проблему применительно к художественной литературе поставили и попытались решить иенские романтики. Об этом есть упоминания в монографиях Н.Я.Берковского, В.В.Ванслова, Р.М.Габитовой, П.П.Гайденко, А.В.Гулыги и др., но специально посвященной этому вопросу работы нет.

Поэзия и философия – две стороны познания мира и человека – не случайно ставятся романтиками в один ряд. Содержание и той и другой составляет поэтика гуманного (блага, истины, добра и красоты). Являясь объектом вечности, она входит во вневременную и транскультурную взаимосвязь всеобщих, глобальных идей, составляя поэтический закон вселенной (поэтософию). Основу для такого глобального рассмотрения проблемы творческого бытия поэтического произведения заложили романтики в идее универсальной прогрессивной поэзии, сфера которой – все предметы и все способы выражения.

Поэзия занимает особое место в романтической системе искусств. Она синтезирует в слове и музыку, и живопись, и архитектуру, и кроме того является способом познания мира, высшей формой философского знания (Новалис). Поэтическое познание для Новалиса, как отмечает Р.М.Габитова, – это «творческое познание, при котором происходит одновременно и созидание безусловного в художественном творении (в условном), и его познание» [1, с.169].

По Ф.Шлегелю, философия и поэзия – это «подлинная мировая душа всех наук и искусств и общее средоточие их», это «дерево, корни которого – философия, а прекрас-

ный плод – поэзия» [2, с.40]. «Вся история современной поэзии – это непрерывный комментарий к краткому тексту философии: всякое искусство должно стать наукой, а всякая наука – искусством, поэзия и философия должны соединиться» [3, с.62]. По Шеллингу, философия искусства выступает необходимой целью философа, который созерцает в ней «внутреннюю сущность своей науки как в магическом или символическом зеркале» [4, с.55]. Философия есть «основание всего и объемлет собой все» [4, с.62]. Только она может осмыслить то, что в истинном произведении искусства «отдельных красот нет – прекрасно лишь целое» [4, с.57]. Это целое воздействует на человека не отдельными своими фрагментами, а завладевает им сразу и целиком. Новалис объявляет философию теорией поэзии, каковая есть «все и вся». Поэзия – изображение души поэта, настроенности внутреннего мира, ибо уже сами слова, по Новалису, есть «внешнее раскрытие этого внутреннего мира энергий» [5, с.134]. Поэзия призвана воздействовать, повергать душу в «многообразную игру движений» [5, с.134]. Такое понимание связи философии и поэзии характерно в русской культуре для Любомира и отчасти для Пушкина. Отчасти, потому, что поэт не любил риторики «общих мест» (многословия), и, сближая поэзию с философией, говорил, исходя из запросов времени и уровня развития русской литературы: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат; стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится...)» [6, с.23].

Поэзия элитарна, она, говоря словами А.С.Пушкина, «бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни...» [6, с.65]. Однако поэт писал это в надежде, что когда-нибудь ему удастся разбудить спящие души, приобщить их к тайне искусства, к живому сопереживанию истины в поэтическом слове. Таково же было и стремление иенских романтиков, ради чего они и совершили революцию в искусстве, объявив свободу художника и универсальную прогрессивную поэзию, которая объемлет собою все сферы человеческой деятельности (и науку, и философию, и творчество, и самую жизнь человека).

Так, выражение идеи творческого бытия можно найти в стихотворениях о поэте и поэзии, где речь идет о взаимоотношениях поэта и толпы. Поэт, с одной стороны, призван «глаголом жечь сердца людей», а потому он вправе сказать:

...И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал...

Но это – далекая перспектива, плоды поэтического «воспитания искусством». С другой стороны, реально поэт не находит сочувствия со стороны толпы. Отсюда его утверждение в стихотворении «Поэту»:

...Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный...

Это – совет поэту самому пройти «воспитание искусством», усовершенствовать свои мысли и душу, чтобы они более действенным образом могли подготовить толпу к восприятию настоящего искусства. Эта толпа в понимании Пушкина живет отдельно, погруженная в свои заботы и суету («Поэт и толпа»), но так или иначе влияние поэта на нее ощущается:

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?»

Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

Как раз в вопросе пользы толпа ошибается. Поэт, понимая магическое воздействие поэтического слова, знает, что его слова останутся в сознании толпы как хотя бы общее впечатление, общий ритм и т.п. Реакция «черни» показывает, что слова ею услышаны. Они прозвучали и, независимо от понимания или непонимания, будут еще долго тревожить ум толпы своим непредсказуемым творческим бытием в ее сознании. Сходная ситуация, к слову, описана в пьесе Л.Тика «Кот в сапогах», когда реплики зрителей, выражающие реакцию на увиденное и услышанное, становятся к концу пьесы более осмысленными [7]. Но если поэт Л.Тика оправдывается перед публикой, требующей привычной мещанской драмы и даже не пытающейся разобраться в замысле исполняемой пьесы, то поэт Пушкина прямо заявляет народу:

...Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь...

Интересно, что А.С.Пушкин показывает в основном воздействие поэзии на самого поэта: бытие поэта в лоне поэзии, бытие поэта под воздействием Музы. У иенских романтиков эта мысль не получила четкого выражения. У них в основном показано воздействие вовне, на зрителя. Баадер говорит о том, что поэт может, восприняв идеал Бога в природе, «стремиться к нему чувством, проникать его чувством – и затем на всем существующем вне его, на всяком слове и деле своем ставить печать своего внутреннего идеала, т.е. искаженной, ущербной, нечистой копии того первого, воспринятого им идеала» [8, с.537]. У Пушкина – *кто и как* читает проецируется на то, *как и с каким результатом* встречаются горизонты произведения и читателя, и *как* это преломляется в *сознании* самого автора.

В связи с проблемой творческого бытия поэтического произведения мы уже рассматривали влияние идей иенского романтизма на эстетические взгляды Ф.М.Достоевского [9]. В задачи данной статьи входит исследование развития взглядов иенских романтиков в творчестве А.С.Пушкина. Вопрос о том, как он понимал творческое бытие поэтического произведения, в литературоведении остается неисследованным, отчасти в связи с тем, что, по словам Е.А.Маймина, «с формальной точки зрения философские жанры в пушкинской поэзии (особенно это относится к его лирике) оказываются невыявленными, о философских задачах поэзии Пушкин прямо никогда не говорил. Проблема философской поэзии возникает не столько в контексте собственного творчества Пушкина, сколько в большом историческом и литературном контексте: в сопоставлении с другими поэтическими явлениями, в соотносительности с общими закономерностями поэтической жизни 20-30-х годов XIX в.» [10, с.107-108].

Анализируя чтение в романе с точки зрения поэтофилософии, мы выделяем такие важные для нас характеристики этого процесса: *кто* читает? (его характер, поведение, его горизонт ожидания); *что* он читает? (горизонт ожидания произведения) и что получается *в результате* встречи двух горизонтов ожидания (*как* происходит творческое бытие поэтического произведения, *что* нового оно формирует в читателе в плане педагогики искусством) [11].

С точки зрения поэтофилософии, произведение обретает статус подлинной жизни только в переживании воспринимающего его *другого*. Без этого творческого со-бытия с бытием другого оно ничто. Важно актуально свершаемое нами и в нас творческое со-бытие бытий. Поэзия через глубинное переживание мира в себе и себя в мире открыва-

ет сверхсознательную связь с Универсумом, обнажая драму человеческой жизни. И сущность поэтического произведения раскрывается только в его творческом бытии ресурсами живого переживания *творения*. А.С.Пушкин размышляет над этим в романе «Евгений Онегин» в образах читающих персонажей. Чтение оказывается отправной точкой для формирования суждений о творческом бытии поэзии в мире и человеке применительно к роману «Евгений Онегин». Можно выделить 4 типа чтения: чтение Онегина, Ленского, Татьяны и самого автора.

Во-первых, каждый из них выбирает для чтения книги, наиболее близкие ему по характеру, настроению, хотя довольно трудно провести грань между тем, как воздействуют книги на характер и поведение человека и тем, как этот характер влияет на выбор книг. Обратим внимание, что о том, как чтение действует на Онегина, Татьяну, Ленского он говорит разными словами [12].

Татьяна, перебирая книги Онегина, удивлялась, что он читал Байрона и «два-три романа, в которых отразился век...». Содержание этих книг соответствует духовному облику Евгения:

...И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивый и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.

Это характеристика человека, которому некуда деться; не имея в душе глубокого содержания, воспитанный «шутя» французом, он прикрылся «трагедией века», байронизмом. В то же время написано так повлиявшее на умы передового человечества произведение А.Мюссе «Исповедь сына века», романы Вольтера, так любимого Пушкиным. Но одно дело, как Вольтера читает Пушкин, другое – как читает его Онегин, и читает ли вообще. Это эгоизм, прикрытый рассуждениями о романтизме. Эгоист привык выгораживать себя и жалеть, и в книгах ищет себе оправдания. Такой человек закрыт для восприятия глубинных пластов художественного произведения. Так, Онегин, читая Адама Смита, пытается провести в деревне экономические реформы, но в то же время «Отрядом книг уставил полку», что можно понять как неразборчивость. Толку от его чтения не было, что видно по читательским впечатлениям (а читал он довольно серьезные и глубокие книги: Гомера, Ювенала, Вергилия, Феокрита, Шиллера, Гете, Байрона; предположительно мог читать «Исповедь» Руссо, «Жак и его хозяин» Дидро, «Исповедь сына века» Мюссе, «Адольфа» Констанана, «Орас» Жорж Санд, «Смерть волка» Виньи):

Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна...

Он ужасается всем тем ужасам, которые видит в произведении и в жизни с видом знатока, выдавшего все виды, но его души произведение не затрагивает, являясь способом развлечь свою «тоскующую лень», а ведь чтение – это труд и творчество (А.С.Пушкин). Мы видим в Онегине вдумчивого читателя, но книги повлияли на его отношение к людям не в лучшую сторону. Такое чтение, когда книги влияют на создание определенного настроения, отношения к миру, но не побуждают к развитию собственного суждения, можно назвать «пассивным». Это поверхностное чтение, которое приносит только вред, не развивая Личности, не развивая ее (и вопрос еще в том, хочет ли она развиваться). Поэтому в таком читателе, как Онегин, нет движения, а значит, нет и жизни (идея романтизма о том, что жизнь – это непрерывное движение, становление).

Как это ни парадоксально на первый взгляд, но жизни нет и в Ленском. Воздействие чтения на Ленского Пушкин описывает в возвышенных выражениях, отчего ирония проступает очень явно. У внимательного читателя портрет Ленского вызовет ироничное сочувствие:

Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем...

Это чтение-подражание. Прочитанное поэт не успел еще пережить (обращает на себя внимание характеристика «под небом Шиллера и Гете» (не под своим собственным!), «душа воспламенилась» огнем романтизма (не своим! Не от *переживания* поэтического огня стихотворений Шиллера и Гете, а самим этим огнем!). С присущей ему житейской мудростью это отмечает Онегин: «Поэта пылкий разговор, И ум, еще в суждениях зыбкой...», и сам автор, рассуждая о стихах Ленского: «Так он писал *темно и вяло* (Что романтизмом мы зовем, Хоть романтизма тут нисколько Не вижу я; да что нам в том?...))».

Увлеченность Ленского – тупик. Что он может дать в своих стихах? Поверхностно творить нельзя. Автор несет ответственность за исковерканные души читателей, которые и так читать не умеют.

Истинный поэт является проводником божественной энергии, которую в его произведениях воспринимают люди, и в каждом человеке она трансформируется по-разному в разные мысли, суждения, поступки. Опыт анализа читающих персонажей в «Евгении Онегине» подтверждает правомерность разговора о поэтофиле, едином поэтическом законе вселенной, который не знает временных и пространственных границ, он един для всего человечества, во все века. Формулу поэтофиле задали романтики, переведя поэзию на уровень «творимой жизни», тем самым поставив ее в один ряд с творчеством Вселенной [13-14].

Проблема чтения и восприятия у Пушкина связана с тем, что идеал – это пережитое чтение, умное и вдумчивое. Образец «живого чтения» – восприятие литературы Татьяной (об авторе – разговор особый). Мы следим за развитием ее мысли, за ее становлением из Тани в Татьяну, светскую, но живую, барышню.

Татьяна по природе своей проницательна и впечатлительна. Она любила страшные рассказы и романы, которые «ей заменяли все; Она влюблялась в обманы и Ричардсона и Руссо». Это пример чтения-переживания. Пушкин даже переживает, не была бы книга опасна для Татьяны:

Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает, и, себе присвоив
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...

Переживая романские образы, Татьяна видит их все вместе слитые в образе Онегина. Но, доверчивая, мятежная и живая Татьяна оказалась способной провести границу между литературным персонажем и живым человеком. Игра Онегина кажется ей неестественной. По-настоящему живой человек не может быть книжным, пародией. Читая заметки на полях его книг, она начинает прозревать: «Уж не пародия ли он?».

Развитию, как мы видим, могут способствовать любые книги. Не важно, что читать, а важно, как читать, тогда и выбор книг сам собой урегулируется правильным вкусом, но этот вкус надо воспитывать, или хотя бы в душе должны быть какие-то задатки для развития этого вкуса, а они есть у каждого, т.к. каждая душа стремится к благу (Аристотель), у всех людей есть способность и к добру и к злу (Платон)).

Идеальным читателем выступает сам Пушкин. Как он читает – мы видим по образу автора в «Евгении Онегине» и по мировоззрению самого Пушкина, по его энциклопедизму и мудрости, о которых говорят многие (например, С.Франк: «При чтении Пушкина мы имеем всегда впечатление какой-то бесконечной широты духовного горизонта. Душа его раскрыта для всего...» [15, с.445]).

Образ читающего автора в романе позволяет судить о нем как человеке умудренном жизнью и не просто начитанном, но переплавившем чужие идеи в процессе формирования своего собственного мировоззрения. И когда он говорит, что «Лорд Байрон прихотью удачной Облек в унылый романтизм И безнадежный эгоизм», ведя речь о критике ложно, поверхностно понятого романтизма, захватившего умы целого поколения читателей и поэтов, то мы видим здесь глубокий ум, способный к серьезным обобщениям. Пушкин против слепого следования чужим мыслям. Прочитанное должно быть пережито читателем. Однако он понимает, что нельзя предугадать, в каком направлении книги преобразуют мир:

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он...

Через чтение, читающих персонажей показана идея идеального читателя, идеального со-творца. Пушкин и есть та романтическая личность, идеал которой был сформулирован романтиками. Личность всесторонне развитая, гениальная (прозревает в современности актуальные и будущие идеи и свершения, и явления, делает открытия). Личность, которая глубоко понимает литературу (идеальный читатель). Гоголь говорит о нем, что это «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет» [16, с.56]. Для своего времени Пушкин был такой личностью, что подтверждается всем его творчеством, и в частности анализом образа читающего автора в «Евгении Онегине». Не мог он, не читая, не наблюдая, не анализируя, написать «Евгения Онегина».

Идеал мудрого, вдумчивого читателя, каким был сам Пушкин, достижим далеко не для каждого. Чаще всего люди читают, как Онегин, без сопереживания. В то же время русскому читателю нечего читать по-русски (намек на то, что Грибоедов и др. ходят в списках и запрещены цензурой), ему волей-неволей приходится воспитываться на модной французской и английской литературе. Как Л.Тик пытается воспитать публику, зная о воздействии, которое оказывает произведение на зрителя, так и Пушкин. Поэт задумывался о том, каково будет творческое бытие его романа в целом. Отсюда и его обращения к читателю и критикам, своеобразная игра с ними (о замысле, об отношении к персонажам, о «собрание пестрых глав» и т.п.).

В связи с этим же вопросом применительно к поэтософии Пушкин считает, что шаг в сторону реализма (и историзма^{*}) помогает четче раскрыть понятие творческого бытия произведения – как в конкретных исторических условиях воздействует на мир и человека то или иное произведение, что мы и наблюдаем в его романе (Татьяна, Онегин, Ленский,

^{*} И.М.Тойбин отмечает, что «в целом в движении русской философско-исторической мысли 1830-х гг. можно условно выделить два течения, из которых одно опиралось преимущественно на идеи немецкой идеалистической философии, на романтические идеи шеллингианства прежде всего, другое – ориентировалось на методы французской исторической школы, на ее социологические доктрины» [17, с.8]. Как и Достоевский, Пушкин сближает романтизм с реализмом, но от этого не перестает быть истинным романтиком. Истоки реализма – в концепции историзма, у истоков которой стоит А.Шлегель. Специальную работу посвятил анализу концепции историзма у Пушкина Тойбин И.М. Пушкин, развивая идеи иенского романтизма, соотносил их с современной ему литературной и социальной действительностью. О пограничности реализма с романтикой говорит Н.Я.Берковский, отмечая, что реализм «заход глубже, чем показано на личной действительностью, а это уже приближает к романтизму» [18, с.151].

сам автор – люди России 2 п. XIX века, погруженные в проблемы своей эпохи, общаются с мировой классикой (Гете, Шиллер), с современными им социальными теориями (Адам Смит), любовными романами (Руссо, Ричардсон), другой печатной продукцией (календарь, академический словарь, журналы и т.д.). Герои, живущие в век перемен (романтическая революция в сознании и жизни общества). Пушкин читал очень внимательно. В «Евгении Онегине» показана истинная сущность романтизма – «педагогика искусством» через чтение (романтики требовали романтизации мира). Читающее поколение в лицах. Понимая, что воспитать настоящего читателя – нелегкая задача, Пушкин все же видит, что среди всего многообразия типов читательского восприятия есть такие, как Татьяна, способные к живому и глубокому переживанию произведений.

Чтение – это интимный процесс чтения-переживания, который не должен совершаться наспех. Оно подвержено поэтическому закону вселенной, ибо связано с опытом чтения людей других эпох. Вне времени, вне рамок определенной культуры законы чтения едины – это законы, по которым поэтическое произведение ресурсами поэтики гуманного (блага, истины, добра и красоты) творит в мире и человеке новые миры, осуществляя свое творческое бытие в восприятии, в соприкосновении с внутренним миром читателя, с сокровенной жизнью его сознания и мышления. Так было всегда, и так будет, пока существует вселенная и сотворенный ею человек, наделенный творческой способностью. Грубо говоря, воздействие человека на природу соотносимо с воздействием поэтического произведения на человека. Что-то творится, что-то преобразуется (в идеале – в направлении к Благу, а реально – никто не предугадает, в каком направлении).

В стихотворении «Ответ Анониму» Пушкин заявляет:

...Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра...

Так же и зрители в пьесе Л.Тика требуют веселить их, не умея сопереживать, и даже элементарно воспринимать искусство. Это проблема неподготовленности публики. Пушкин с сожалением говорит об этом: «Я написал трагедию и ею очень доволен; но страшно в свет выдать – робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма...» [9, с.191]; «...Если публика может довольствоваться тем, что называют у нас критикою, то это доказывает только, что мы еще не имеем нужды ни в Шлегелях, ни даже в Лагарпах...» [9, с.328].

Таким образом, для Пушкина проблема творческого бытия поэтического произведения связана, прежде всего, с чтением. Поэтому большое внимание он уделяет содержанию и форме своих произведений. Развивая идеи иенских романтиков о воздействии поэзии и его средствах, Пушкин продолжает быть оригинальным русским поэтом-гением, каким себе представляли настоящего Поэта Новалис, Шеллинг, братья Шлегели. Универсализм личности Пушкина позволяет провести параллель с идеями иенских романтиков о творческом бытии поэтического произведения.

Рассмотрение вопроса о поэтософии актуально для развития педагогики искусством, опирающейся на законы творческого бытия поэтического произведения.

РЕЗЮМЕ

У статті аналізується вплив читання на персонажів роману «Євгеній Онегін» з метою виявлення впливу йенського романтизму на те, як О.С.Пушкін розумів проблему творчого буття поетичного твору.

За допомогою терміну «поетософія» автор робить спробу пояснити зв'язок поезії та філософії, як її розуміли йенські романтики. Далі автор відмічає, що романтичне розуміння єдності поезії та філософії є характерним й для Пушкіна. Але Пушкін, розвиваючи ідеї йенських романтиків про вплив поезії та його засоби, зостається оригінальним російським поетом-гением, яким собі уявляли справжнього Поета Новалис, Шел-

лінг, брати Шлегелі. Універсализм особистості Пушкіна дозволяє провести паралель з ідеями йенських романтиків про творче буття поетичного твору.

Ідеї статті актуальні для педагогіки мистецтвом, яка, як і романтики, вбачає зв'язок поезії та філософії у єдиному поетичному законі Всесвіту (поетософії).

SUMMARY

With the purpose to reveal influence jenaer romanticism on A.S.Pushkin's understanding of a problem of creative life of poetic product, in article influence of reading on characters of the novel "Eugeny Onegin" is analyzed.

With the help of the term «poetosophie» the author makes attempt to explain connection of poetry and philosophy as it understood jenaer romanticism. Further the author marks, that the romantic understanding of unity of poetry and philosophy is typical and of Pushkin. But, developing ideas jenaer romanticists about influence of poetry and its means, Pushkin continues to be the original Russian poet-genius to whom to itself represented present Poet Novalis, Schelling, brothers Shlegel. Universalism the parallel with ideas jenaer romanticists about creative life of poetic product allows to draw persons Pushkin.

Ideas of article are actual for pedagogics art which, as well as romanticism, sees connection of poetry and philosophy in the uniform poetic law of the universe (poetosophie).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРЫ

1. Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Фр.Шлегель, Новалис. – М., 1978.
2. Шлегель Фр. Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. Т.2. – М., 1983.
3. Шлегель Фр. Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. Т.1. – М., 1983.
4. Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – М., 1966.
5. Литературная теория немецкого романтизма / Под ред. Н.Я.Берковского. – Л., 1934.
6. Пушкин А.С. О литературе. – М., 1962.
7. Логвинова И.В. Романтическая ирония как средство воздействия на мир и человека в эстетике йенского романтизма // Литературоведческий сборник. – Вып.10. – Донецк, 2002. – С.24-34.
8. Эстетика немецких романтиков / Сост. А.В.Михайлов. – М., 1987.
9. Логвинова И.В. Ф.М.Достоевский и йенские романтики (творческое бытие художественного произведения) // Филологические исследования. – Вып.4. – Донецк, 2002. – С.244-251.
10. Маймин Е.А. Русская философская поэзия. – М., 1976.
11. Борисенко В.И., Логвинова И.В. Педагогика искусством: Проблема творческой гуманизации бытия // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б. Гуманитарные науки. – Донецк, 2003, №1. – С.224-231.
12. Егоров И., Небольсин С., Федута А. А.С.Пушкин: судьба – поэтическое мышление – читатель. – Минск, 1993.
13. Логвинова И.В. Человек как субъект творческого бытия (К постановке проблемы творческого бытия поэтического произведения) // Философский век. Вып.23 / Отв. ред. Т.В.Артемьева, М.И.Микешин. СПб., 2002. С.178-182
14. Борисенко В.И., Логвинова И.В. Поэтика гуманного и гуманизм поэзии (к проблематике гуманитарной поэтологии) // Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи... – Донецьк, 2001. С.27-28.
15. Пушкин в русской философской критике. – М., 1990.
16. Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н.В. Собр.соч. в 7 томах. Т.6. – М., 1986.
17. Тойбин И.М. Пушкин и философско-историческая мысль в России на рубеже 1820 и 1830 годов. – Воронеж, 1980. – С.8
18. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. – Л., 1975. – С.151).

Надійшла до редакції 12.05.2005 р.

ЭПИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В РОДО-ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЕ КОМЕДИИ А.С.ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»

И.В.Симонова

Один из самых сложных вопросов в грибоедоведении – соответствие комедии «Горе от ума» непосредственно жанру, определенному автором. Споры по этому поводу ведутся уже давно: начиная с А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя и продолжая исследованиями современников. Сейчас уже абсолютно ясно, что нельзя рассматривать произведение Грибоедова только как комедию или сценическую поэму (термины, которыми оперировал А.С.Грибоедов в своих записях). «Горе от ума» – сложное родо-жанровое образование, включающее в свой состав элементы всех трех родов и жанров трагедии, комедии, драмы, басни, баллады, сатиры и пр. Родо-жанровые отношения в «Горе от ума» – одна из наиболее перспективных тем на данный момент, поскольку она позволяет прояснить те спорные вопросы о своеобразии произведения, которые назревали в течение долгого времени. Многими учеными были проанализированы отдельные жанровые или родовые элементы «Горя от ума»: Синцов Е.В. (в работе «Определение «значащей переменной» (на материале жанро-родовых взаимодействий) говорит о взаимоотношении в комедии (пока будем оперировать данным понятием для удобства высказывания) конфликтов трагедии (идущего от оппозиционных отношений Чацкого и Фамусова), драмы (основанного на любовном треугольнике) и собственно комедии (как отголоска классицистической традиции). Кичикова Б.А. (статья «Дурачеству оставьте дверцу» (Мотивы водевиля в «Горе от ума»)) обнаруживает в произведении элементы водевиля (как типовой разновидности комедии), выражающиеся в нарочито сценических и эпатажных элементах – падение Репетилова с лошади при первом появлении на сцене, слишком явный и громкий поиск женихов семейством Тугоуховских и пр. Такой подход наиболее перспективный, т.к. системное прояснение составляющих комедии позволит более точно проанализировать и целое.

Нам бы хотелось остановиться на прояснении роли эпического элемента в «Горе от ума», тем более, что на него практически еще не обращали внимания. Это вполне объяснимо, т.к. признаки эпоса наименее выражены в произведении, но пренебрегать ими излишне, ведь их наличие во многом объясняет большинство неудач при сценических воплощениях комедии.

Зачастую в литературоведческих работах обходят стороной тот факт, что произведение, созданное для зрителя, долгое время оставалось (да, пожалуй, и остается) принадлежностью читательского внимания. По свидетельству некоторых современников писателя, Грибоедов, осознавая невозможность постановки и публикации «Горя от ума», перед тем, как отдать его переписчикам Жандра, многое в нем изменил. Можно предположить, что изменения касались не только образной и лингвистической стороны комедии, но и ее апеллятивной составляющей. Еще Цветан Тодоров указывал, что в эпическом произведении и автор, и персонажи имеют право голоса, но и в «Горе от ума» сложно расставить традиционные классицистические амплуа именно потому, что каждый герой оценивает другого с точки зрения «своей правды» и имеет в повествовании «свое слово». В комедии традиционному зрительскому субъективному восприятию противопоставляется одновременно и объективная авторская точка зрения на персонажей, и субъективные восприятия героями друг друга. Кроме того, ряд элементов, считающихся спорными или «излишними» до нынешнего момента, легко объясняются, если вспомнить, что «эпос – это повествовательный жанр, в котором рассказывается о

жизненном пути человека, здесь же обрисовываются взаимоотношения людей между собой. <...> Своеобразие же драмы в том, что в ее основе лежит действие. В драме проявляются господствующие черты характера, большая определенность и самостоятельность характера» [1, с.143].

Проясним оба эти тезиса. В комедии «Горе от ума» – две сюжетные линии: «Сюжет «Горя от ума» включает два плана – соответственно развитию двух коллизий: любовной (Чацкий – Софья – Молчалин) и общественно-политической (Чацкий – Фамусовская Москва)» [2, с.184]. Каждый из героев, представляющих перед нами эти коллизии, уверен в своей правоте, имеет определенную жизненную концепцию, позволяющую ему судить окружающих «на свой лад», составлять о них определенную точку зрения. Не случайно столько споров вызвал образ Чацкого, героя, благодаря которому развиваются обе сюжетные линии.

Основная проблема Чацкого в том, что все его суждения о людях изначально статичны: он, приехав в Москву после долгого отсутствия, отказывает окружающим в праве на изменения, внутренний рост или падение. Все его суждения устарели, но видеть новое герой не способен, и только по чистой случайности некоторые его оценки попадают в цель. Странствуя по свету и, естественно, внутренне развиваясь, Чацкий разочаровывается в жизни: он многое перепробовал («имел с министрами связь», «славно пишет, переводит»), но не нашел той ниши, в которой мог бы реализовать свой потенциал. Москва для него становится спасительной пристанью, это образ детства и юности, в нем можно найти успокоение и примирение с самим собой; это образ любимой девушки, призванной спасти героя от неудовлетворенности жизни. Безусловно, этот образ должен быть неизменным, иначе придется признать, что душевное равновесие для Чацкого невозможно. С надеждами он приезжает в город своего детства и первым делом отправляется в дом, который был родным, к девушке, которую снова любит. Но девушка уже другая, ведь три года для Софии это не одно и то же, что для Чацкого. Разница между четырнадцатилетней девчушкой, которой все внове и которая многое не воспринимает серьезно, и семнадцатилетней девушкой на выданье – огромна. Чацкому бы дать Софии опомниться, узнать ее заново, но он не признает за ней права меняться внутренне (только внешне – «Как Софья Павловна у вас похорошела»), иметь свою точку зрения – она для него тот же ребенок, который, правда, показывает свой характер. Чацкий убежден в исключительности Софии, потому что придумал для себя идеальный образ женщины: влюблена в него, имеет острый ум, разделяет все взгляды своего избранника на жизнь и пр., а реальной девушки (довольно интересной и умной) разглядеть не способен. Уверен он и в ничтожности Молчалина, и в этом абсолютно прав, но уверенность его точно также строится на прошлом – если бы Молчалин был другим, Чацкий все равно этого бы не заметил. Сложность его взаимоотношений с окружающими в том, что подсознательно герой начинает догадываться о существовании какой-то тайны, не позволяющей Софии быть с ним прежней, но разумно, взвешено вести себя он уже не в состоянии. Это не его вина, а, скорее, беда. Разочаровываясь в своем идеальном образе, Чацкий не пытается внести в него коррективы, а раздражается на окружающих. Границ и пределов этому раздражению нет, оно неконтролируемо, и поэтому он ссорится со всеми теми, к кому так стремился: с Софией он хитрит, подыгрывает, чтобы понять, кто и чем ей нравится, на Молчалина просто не обращает внимания, как на ничтожество, не заслуживающее долгого разговора. Хуже всего строятся его отношения с Фамусовым. К моменту встречи с бывшим опекуном Чацкий уже порядком раздосадован поведением Софии, и та стабильность в характерах, к которой он первоначально стремился, стала его раздражать. Фамусов за годы отсутствия Чацкого изменился мало, это и оказывает пагубный эффект на молодого человека: перед ним явный контраст: «новая» София (которую он не хочет видеть таковой) и «старый» Фамусов, не изменивший своего представления о мире. Злость, которая, помимо воли

Чацкого изливается на Павла Афанасьевича и его окружение не направлена на искоренение недостатков, а является, скорее, результатом тяжелых поисков Чацким самого себя, через которые проходят все молодые люди на пути становления.

В конфликте с Фамусовым Чацкий постепенно раскрывается; полемизируя с окружающими, он начинает понимать, в чем причина холодности Софии, почему она «обрела черты и свойства фамусовского круга, «московский отпечаток» [3, с.235]. Его страстность нарастает словно по спирали: от спокойных рассуждений в начале пьесы до объявления сумасшедшим в сцене бала и бегства в финале. Чацкий до последнего не желает расставаться с идеальным образом Софии, и только финальное объяснение героини с Молчалиным расставляет все на свои места. Но переоценка собственных взглядов доставляет Чацкому дополнительные страдания и заставляет вновь бежать – из Москвы и от себя.

Своя правда и у Софии. Она, никогда особо никем не контролируемая, самостоятельно сформировала свой характер. Те три года, которые героиня провела без благотворного влияния Чацкого или человека подобного ему, если и не изменили, то развили ее характер в типично «московском ключе». София думает, что влюблена в Молчалина, влюблена еще и потому, что романтичность ее натуры, воспитанной на французских романах, требует общения с «идеальным» героем. Молчалин красив, умеет нравиться, угождать и, тонко чувствуя потребности Софии, приспосабливается к обстоятельствам. София не определилась: любит она Молчалина или нет (достаточно вспомнить фразу «Хочу – люблю, хочу – скажу», по логике вытекает, что «не хочу – не люблю»). Он для нее – удобный кавалер, кокетничая с которым и особо репутацию не потеряешь, и можешь испытать целую гамму чувств тайного, преследуемого романа. Она обижена Чацким, его отъезд после всех признаний и отношений, расценивается Софией как предательство, а неожиданное появление после долгой разлуки – как опасность в осуществлении намеченных планов. Приближая Молчалина к себе, опекая его, она как бы репетирует роль московской замужней дамы, муж которой выполняет функции слуги, пажа, домашней собачки. Не может она серьезно рассматривать кандидатуру Молчалина в качестве супруга, социальный статус последнего не позволяет осуществиться подобному браку, потому и привечается в доме Скалозуб, «денежный мешок, метящий в генералы». София, точно так же, как и Фамусов, оказывает знаки внимания военному, понимая, что подобная пара – удача для девушки на выданье.

Чацкий же для нее опасен, т.к. она хорошо осведомлена о гибкости и язвительности его ума. Еще ничего не произошло: раннее утро, София только закончила музицировать с Молчалиным, ловко объяснилась с папенькой, как приехал Чацкий. Он еще не сделал ничего предосудительного, никого зло не высмеял, а София уже раздражается его присутствием, опасается его, ведь знает о его проницательности, умении подмечать в людях то, чего не замечают другие, и страшится, что ее планы, задумки будут раскрыты, разрушены и, главное, высмеяны языком Чацкого. София боится правды и не хочет ее раскрывать, а потому и терпит героя, а затем, чисто по-женски мстит, распространяя заведомо ложные слухи.

Молчалин же, в свою очередь, убежден в глупости и непонимании жизни Чацким и в не менее глупой наивности Софии. «При всей речевой ограниченности Молчалина кажется, что он все время присутствует на сцене – это почти так, ибо образ Молчалина не выходит из сознания Софии и Чацкого, его имя то и дело произносят другие действующие лица» [3, с.242]. Роль его в комедии гораздо глубже, чем можно предположить на первый взгляд. Молчалин давно понял, что представляют собой его хозяева: Фамусов – ленивый барин, обеспокоенный лишь собой и своими нуждами, София – жаждущая любви романтическая особа. Поэтому, с детства привыкший добиваться «степеней известных» «угождая все людям без изыскания», Молчалин принимает тот облик, который хотят видеть окружающие. Он приобретает значимую роль в доме – может убедить Фамусова в своей незаменимости (ведет все его дела), пользуясь внешней привлека-

тельностью и мнимой скромностью, очаровывает Софию («в угодность дочери такого человека»), на правах «высшего» кокетничает с Лизой. На него нельзя не обратить внимания, ведь даже всемогущие московские старухи находят его незаменимым (кто же на балу составит партию в вист, похвалит любимую собачку, с благоговением выслушает?) Молчалин очень в себе уверен, более того, считает свой образ жизни и мыслей достойным подражания и единственно правильным. Поэтому и позволяет себе вольность – поучать Чацкого. В диалоге Молчалина и Чацкого первый явно чувствует себя мудрее, опытнее, значимее (ведь он во всем «победитель» – у него есть перспективы по службе, девушка, в которую влюблен Чацкий, выбрала его и пр.). С высоты своего превосходства, он подтрунивает над оппонентом, смеется над несостоятельностью Чацкого занять какое-либо стоящее место в обществе. Чацкий же, хоть и понимает, что, несмотря на то, что Молчалин ничтожен, именно за такими, как он, будущее. Он считает Молчалина глупцом, но это не так. Молчалин тоже умен, но ум его имеет весьма определенное наполнение: в сфере карьеры герой неплохо разбирается в том, что делает (ведет все дела в архиве), а в сфере будничной жизни умеет мимикрировать, остро ощущая обстановку и настроения окружающих, просчитывая дальнейшие свои шаги в достижении «степеней известных». В той трагедии, которая разыгрывается в финале произведения, не пострадал только Молчалин: Чацкий, разочарованный в своих мечтах и идеалах, уезжает страдая; София, теряя «идеальную любовь», претерпевает свой «миллион терзаний», и только Молчалин, у которого никогда не было идеалов, ничего не испытывает. На утро он точно также будет выполнять свои обязанности, а то и, «подсуетившись», найдет себе местечко получше в каком-либо другом доме.

Наделяя героев «своим словом», «своей правдой», Грибоедов как бы раздвигает рамки повествования, ему уже не надо давать какую-либо характеристику тому или иному персонажу дополнительно, герои сами высказывают ее, давая зрителю-читателю возможность делать выводы.

Эпичность проявляется и в том единственном внесценическом элементе, который, казалось бы, играет второстепенную роль. Это падение Молчалина с лошади. Действительно, если рассматривать этот элемент в структуре драматического контекста, он будет объяснен лишь как дополнительный двигатель действия. С точки зрения эпоса, его роль шире. Сложно понять, зачем секретарю понадобилось совершить поездку верхом, едва ли это по долгу службы; тем более странно, что, как признает Скалозуб, наездник из Молчалина посредственный. По всей вероятности, эпизод этот важен при характеристике основополагающих черт образа Молчалина, который не воспринимает себя только как чиновника, но и как человека, который стоит даже выше некоторых дворян. Мы уже говорили, что Молчалин уверен в своем карьерном и любовном превосходстве над Чацким, а овладение навыками верховой езды, по-видимому, должно поставить его в один ряд с лучшими представителями дворянской молодежи, побывавшей в армии или даже на войне. Это для Молчалина важно, поскольку осознание собственной значимости ведет его к утверждению этой значимости в обществе и вытеснению прежних идеалов. Попытка не увенчалась успехом – он упал, ушиб руку, чем вызвал насмешки Чацкого и чем подвиг Софию на признание.

Кроме того, обширные биографии героев, выведенные Грибоедовым в пьесе, мало соотносятся с драматическими требованиями, они претендуют на раскрытие более широкой, эпической картины жизни, позволяющей показать не только судьбы отдельных лиц, но и эпохи в целом.

Итак, «Горе от ума» – сложное родо-жанровое образование, в котором родовой доминантой является, безусловно, драма. Но структура произведения такова, что включает в свой состав и лирический, и эпический элементы. Эпический элемент позволяет объяснить отдельные внесценические эпизоды, а также отобразить героев с разных сторон, поскольку каждый из них имеет право, закрепленное автором, судить о другом

с точки зрения «своей правды». Эпичность комедии направлена на то, чтобы более рельефно подчеркнуть драматическую доминанту и углубить апеллятивную сторону произведения. Пренебрежение этим элементом при постановке комедии и приводит к тому, что большинство воплощений «Горя от ума» на сцене было неудачным.

РЕЗЮМЕ

В статті розглядається роль епічного елементу в родо-жанровій структурі комедії О.С.Грибоєдова «Лихо з розуму». Простежується думка про те, що епічний елемент дозволяє пояснити окремі поза сценічні епізоди, а також відобразити героїв з різних боків, оскільки кожен з них має право, закріплене автором, судити про іншого з точки зору «своїєї правди». Епічність комедії спрямована на те, щоб більш рельєфно підкреслити драматичну доміную і поглибити апеллятивний бік твору.

SUMMARY

The role of the epic element in gender-genre structure of A. S. Griboedov's comedy «Woe of wisdom» is considered in this article. The thought that the epic element let explain separate outscenic episodes and also reflect heroes from different sides because each of them has the right fixed by the author to judge another person from the point of vie of «own truth» is appeared. Epos of the comedy is directed to accentuate more reliefly the dramatic dominante and deepen the appellative side of the comedy.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. – М., 1999.
2. Левитан Л. С., Цилевич Л. М. Сюжет в художественной системе литературного произведения, – Рига, 1990.
3. Степанов Л. А. Эстетическое и художественное мышление Грибоедова. – Краснодар, 2001.

Надійшла до редакції 04.04.2005 р.

УДК 82-2 «18»/«19»

МОТИВ СМЕРТИ В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Л.Н. ТОЛСТОГО (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕС «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» И «ЖИВОЙ ТРУП»)

Т.В.Щербина

Мотив смерти в творчестве позднего Толстого прослеживается довольно отчетливо. Его ум постоянно занимала тайна предстоящей ему смерти. Невозможно перечислить все те места его произведений, где он старается приоткрыть завесу над загадкой смерти. Они рассыпаны во всех рассказах, а повесть «Смерть Ивана Ильича» целиком посвящена этой теме. Описание того, как герой умирает и в присутствии смерти переосмысливает свою жизнь и начинает видеть нечто неожиданное впереди, встречается у Толстого повсюду. «Лев Толстой ищет в смерти разумности «в последней инстанции», – пишет А.П. Кузичева [1, с.259]. Один из английских литературоведов сказал даже, что тема смерти – основная тема Толстого. «Лев Николаевич за последний период своей жизни очень часто говорил о смерти, – вспоминали Е.В. Оболенская, – говорил о ней как о благе, как о желательном переходе из этой жизни в другую, как об освобождении» [2, с. 404].

Исследователи творчества Льва Толстого так или иначе касались темы смерти в его произведениях, поскольку она тесно связана с общей идейной направленностью его творчества практически на всех его этапах. Трудно назвать толстоведа, который, говоря о том или ином произведении писателя, не касался бы бытийных вопросов, волновавших Толстого на данный момент. Д.Н.Овсяннико-Куликовский, Е.В.Николаева, Е.Н.Купреянова, К.Н.Ломунов, Е.А.Маймин размышляли о духовных поисках Толстого, о вопросах жизни и смерти в его произведениях. Этому посвящены работы А.А.Нестеренко, С.И.Стояновой, В.В.Основина, В.Я.Лакшина. Однако нам не встречалось работ, посвященных непосредственно теме смерти в пьесах «Власть тьмы» и «Живой труп».

Смерть, в особенности в форме законных убийств, всегда ставила Толстого в тупик. В 1866 году он безуспешно защищал в суде солдата, ударившего командира и обреченного на смертный приговор. Особенно сильно подействовали на Толстого смертная казнь гильотиной, которую он наблюдал в Париже в 1857 году («...хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда деваться» [3, с.92]), а позже – смерть любимого старшего брата Николая в 37-летнем возрасте в 1860 году. В «Исповеди» он пишет: «Когда я увидал, как голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что, если бы все люди в мире по каким бы то ни было теориям с сотворения мира находили, что это нужно, я знаю, что это не нужно, что это дурно» [4, с. 41]. «Быть может, человек, который просит о прекращении жизни, скажет что-нибудь или сделает важное и значительное – как за это ручаться?» – размышлял писатель [5, с. 335]. В статье «Не могу молчать» Толстой говорит о казнях, бедных и обиженных, о которых чуть ли не ежедневно пишут в газетах: «Все это для своих братьев людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так чтобы никто не видал их, придумано то, чтобы ответственность за эти злодеяния так бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать: не он виновник их. Придумано то, чтобы разыскивать самых развращенных и несчастных людей и, заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делающими это дело. Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военный суд), а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские. Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презираемые, которым остается одно: как получше намылить веревки, чтобы они вернее затягивали шеи, и как бы получше напиться продаваемым этими же просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорее и полнее забыть о своей душе, о своем человеческом звании» [6]. Говоря о казни как о преступлении перед своей человеческой сущностью, Толстой обвиняет в этом злодеянии людей «просвещенных», на которых держится общественное устройство, которые учат жизни других и которым призывают подражать.

«...одним из основных приемов, которым Толстой пользуется в своей лепке образа, является испытание нравственной ценности героя у решающей черты жизни и смерти», – отмечает К.А.Федин [7, с.501].

Толстой давно стал задумываться над общим смыслом жизни, соотношением жизни и смерти. После смерти своего семилетнего сына Вани он говорил: «Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!» [8, с.237]. Встав перед необходимостью объяснить личное отношение к смерти, Толстой обнаружил, что его жизнь, его ценности не выдерживают проверки смертью. «Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче завтра, придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать?» [4, с.48] Эти слова Толстого из «Испо-

веди» раскрывают и природу, и непосредственный источник его духовного недуга. Он понял, что только такая жизнь осмысленна, которая способна выдержать проверку вопросом: ради чего вообще жить, если все уйдет, поглощено смертью? Толстой поставил перед собой цель: найти то, что не подвластно смерти.

По мнению Толстого, человек находится в разладе с самим собой. В нем как бы живут два человека – внутренний и внешний, из которых первый недоволен тем, что делает второй, а второй не делает того, чего хочет первый. Эта противоречивость обнаруживается в разных людях в разной степени, но она присуща всем. Раздираемый взаимно отрицающими стремлениями, человек обречен страдать, быть недовольным собой, постоянно стремится преодолеть себя, устранить причину своих страданий, освободиться от них. Он хочет сделать жизнь осмысленной.

Осуществление своих желаний многие люди связывают с изменением внешних форм жизни – с помощью науки, экономического роста, искусств, развития техники, обустройства быта и тому подобного. Такой ход мыслей, свойственный, по преимуществу, привилегированным и образованным слоям общества, был присущ и Толстому в первой половине его сознательной жизни. Однако как раз личный опыт и наблюдение за людьми своего круга убедили его в ложности этого пути. Чем выше поднимается человек в своих мирских занятиях и увлечениях, чем несметней богатства, глубже познания, тем сильнее душевное беспокойство, недовольство и страдания, от которых он в этих своих занятиях хотел освободиться. Иными словами, знания в той или иной области очевидней демонстрируют всю степень несовершенства этой области, обнаруживают его неуничтожимые недостатки. Можно подумать, что если активность и прогресс умножают страдания, то бездеятельность будет способствовать их уменьшению. Неверность этого предположения обнаруживается на примере жизни Федора Протасова, тщетно пытавшегося посредством бездействия уйти от «пакостей жизни». Причиной страданий является не сам по себе прогресс, а ожидания, которые с ним связываются, та совершенно неоправданная надежда, будто повышением урожайности полей, увеличением скорости поездов можно добиться чего-то еще сверх того, что человек будет лучше питаться и быстрее передвигаться. Ошибочна сама установка придать человеческой жизни смысл путем изменения ее внешних форм. Если бы внутренний человек зависел от внешнего, если бы состояние души и сознания человека являлись следствием его положение в мире и среди людей, между ними с самого начала не возникло бы конфликта. «Думать, что какое бы то ни было государственное устройство может сделать людей лучше, это все равно, что переводить стрелку часов и воображать, что этим исправляешь их внутренний механизм», – убеждал Толстой А.М. Новикова [9, с.441].

Материальный и культурный прогресс не затрагивают страданий души. Явное доказательство тому Толстой усматривает в том, что прогресс обесмысливается, если учитывать смертность человека. К чему деньги, власть, к чему вообще стараться и чего-то добиваться, если все неизбежно оканчивается смертью и забвением? «Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман!» [4, с.48] Трагизм человеческого бытия, по мнению Толстого, хорошо передает древнеиндийская басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. «Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветки растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его, но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник

видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Белая и черная мышь, день и ночь, неминуемо ведут человека к смерти – и не вообще человека, а каждого из нас, и не где-то и когда-то, а здесь и теперь, и это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда» [4, с.49]. И ничто от этого не спасет – ни огромные богатства, ни обширные знания, ни изысканный вкус.

С точки зрения Толстого, вывод о бессмысленности жизни, к которому как будто подводит опыт, явно противоречив логически, и с ним нельзя согласиться. Как может разум обосновать бессмысленность жизни, если он сам порожден жизнью? Поэтому в самом утверждении о бессмысленности жизни содержится его собственное опровержение: человек, который пришел к такому выводу, должен, прежде всего, свести счеты с жизнью. Если же он продолжает жить жизнью, которая хуже смерти, то, видимо, она не такая бессмысленная и плохая, как о ней говорится. Если жизнь бессмысленна, то как же жили и живут миллионы людей, все человечество? Если они продолжают радоваться жизни, значит, они находят в ней какой-то важный смысл? Какой?

Не удовлетворенный отрицательным решением вопроса о смысле жизни, Л.Н.Толстой обратился к духовному опыту народа, простых людей, живущих собственным трудом.

Люди из народа в вопросе о смысле жизни не видят никакой загадки. Они знают, что надо жить по закону божьему, то есть жить так, чтобы не погубить свою душу. Материальное ничтожество их не пугает, ибо остается душа, связанная с Богом. И смерть для них – не горе, а освобождение, естественный переход в иной мир: «...они не испытывают ужаса и печаль, в которую погружается стоящий около умирающего, самому ему чужда» [10, с.65]. Малообразованность этих людей, отсутствие у них философских и научных познаний не препятствует пониманию истины жизни, скорее наоборот, помогает. Странным образом оказалось, что невежественные, полные предрассудков крестьяне сознают всю глубину вопроса о смысле жизни, они понимают, что их спрашивают о вечном, не умирающем значении их жизни. Имеет ли конечная жизнь вечное, неуничтожимое значение и если да, в чем оно состоит? Если бы конечная жизнь человека заключала свой смысл в себе, то не было бы самого этого вопроса. Видимо, вопрос о смысле жизни шире охвата логического знания. Приходилось признать, что «у всего живущего человечества есть еще какое-то другое знание, неразумное – вера, дающая возможность жить» [4, с.78]. Для Толстого жизнь, имеющая смысл, и жизнь, основанная на вере (как у простого народа), – одно и то же. «Мысль Толстого была предельно ясна: если все люди не могут в равной мере пользоваться плодами цивилизации, если она развивается за счет одних в пользу других, значит, следует вообще отказаться от движения по этому пути», – пишет И.П.Видуэцкая [11, с.99]. «В стремлении жить в общении с природой, в труде, в неустанной борьбе с ней и в твердом желании подчинить ее себе, сделать ее послушным орудием велений своих, путем накопленного им знания, опыта, энергии, вот в чем видит он главную задачу человека» [12, с.129]. «Отвращение его к цивилизации выражается, главным образом в порицании городов и городской жизни», – соглашается С.А.Берс [13, с.179].

Можно предположить, что обращение к идеалам крестьянской жизни было для Толстого еще одним способом устроить свою жизнь (после попыток обрести себя в общественном служении, семейном счастье и т.д.), сделать ее осмысленной. Это была отчаянная, уникальная, фантастическая по своей смелости попытка совершенно отрицать жизнь своего круга, сделать себя изгоем в среде, в которой родился, ради обретения чего-то намного более значимого, важного, вечного и неизбывного. Но ведь и жизнь крестьян далека от идеала. Да, в них подсознательно живет истинное понимание своего предназначения, ибо они намного ближе земле, природе, первоисточкам, чем давно оторванное от корней аристократическое сословие. Но тяжелый, рабский труд убивает в крестьянах всякую возможность проявления своей человеческой воли, и ко-

гда речь идет о куске хлеба для голодных детей – тут уже не до нравственного совершенствования и духовной свободы. На наш взгляд, обращение Толстого к жизни крестьян тоже не оправдало себя, ибо не сделало писателя счастливым. Он пришел к выводу, что совершенствование самого себя – единственное, что остается человеку, чей дух не хочет погибнуть со смертью физической оболочки. Но, видимо, и стремления к нравственному совершенствованию недостаточно человеку для более менее приемлемого существования на земле. Это последняя возможность жить достойно, за которую он пытался ухватиться, – но этого мало для всей жизни. Возможно, в этой недостаточности для жизни духовного совершенствования Толстой не хотел признаваться даже самому себе, ибо понимал, что в этом случае он сорвется в пропасть, лишенный последней надежды на осмысленное существование. Но не тем ли был вызван его уход, почти равноценный самоубийству, что все его поиски так и не придали смысла всем формам жизни, которые он перепробовал? Не потому ли тема смерти – сквозная для всего творчества Толстого? Не потому ли Федя Протасов кончает с собой, что и его «уход» не разрешил всех проблем для его близких и не принес успокоения ему самому? А ведь он тоже порвал с аристократами и стал жить с цыганами – искренними и естественными «детьми природы»...

В драме «Власть тьмы» Толстой также постоянно подводит зрителя к теме смерти. В зависимости от того, кто из героев сталкивается с ней или с мыслями о ней, эта тема наполняется соответствующим своеобразным содержанием. Мы уже говорили о философском, бытийном значении смерти как «власти тьмы». На житейском же уровне фактически со смертью мы сталкиваемся дважды. Умирает от отравления Петр – честный, добросовестный хозяин, не слишком склонный к проявлению тонких чувств, но добрый, искренний, верующий человек. И смерть его хоть и противоестественная, но по-своему умиротворенная; он жил в согласии со своей совестью и Богом и умер по-христиански, принимая свою судьбу. Отметим, что Бог для Петра, как и для Толстого, – это не тот Христос, Сын Божий, пришедший на землю спасти грешников и ставший для христиан светочем, примером. Это, прежде всего, совесть, живущая в каждом из нас, изначально знающая, что хорошо, что плохо; это Бог внутри нас – единственно верный, по Толстому, авторитет, именно к нему и стоит прислушиваться, а совсем не к проповедям отцов Церкви. Петр жил по совести и умирал с верой и смирением. Потому зритель понимает, что, вопреки ситуации, не Петр здесь – лицо страдающее. Грех лежит на его убийцах, на их шее затягивается петля, их затягивает в трясину, их будущее ужасней того, что сейчас происходит с Петром, уже освободившимся от земных несовершенств и людской злобы.

Иное дело – смерть новорожденного ребенка, которого убивают самые близкие люди. Эту сцену считают самой страшной в пьесе, она обнажает всю мерзость, жестокость, немислимость происходящего. Автор, а вслед за ним и актеры, создал обстановку, которая заставляет зрителей слышать хруст костей ребеночка, видеть галлюцинации его отца-убийцы Никиты, чувствовать его собственное «умирание» и чудовищную порочность людей, торопящихся окрестить малыша перед убийством. И здесь ребенок, не успевший хлебнуть ни горя, ни радости обычной жизни, прекращает страдать, уходя к Богу чистым и невинным. А для его убийц страдания многократно возрастают, и их судьба намного страшнее.

Для Анисьи и Матрены смерть – дело обыденное: все умирают, это неизбежно и горевать особо нечего. Важнее использовать чью-то смерть с выгодой для себя, для этого не страшно и подтолкнуть события. Грех, конечно, да ведь и другие так делают. Казнят вон людей сотнями – и живут потом спокойно, и Бог не наказывает. Мы ж не для себя – для близких стараемся, чтоб сыну любимому подсобить. А обреченному – и священника приведем, и слово ласковое скажем, не звери ж. Все сделаем – «как положено». Для зрителей, с подачи Толстого, такое «непонимание» – хуже смерти. Таким людям кажется, что живут они легко и правильно, и не замечают, что незаметно подби-

рается к ним страшный дракон. А когда обернутся и увидят его раскрывающуюся пасть – не поймут, за что им такая страшная участь. Погибнут, терзаясь болью, обидой на судьбу, сознанием несправедливости к себе, вместо того, чтобы покаяться перед людьми и примириться с Богом.

Для Акима смерти в обывательском смысле просто не существует. Он абсолютно уверен, что для человека, живущего по нравственному закону, смерти нет, ибо душа его не умрет. Он живет по убеждению, что страдания телесной оболочки ничтожны и каким бы уничижительным занятием человек ни занимался, душа его может и должна оставаться чистой и праведной, а вера неуничтожимой. Чтобы жить по таким принципам, нужна немалая сила духа, ибо может оказаться (как и случилось с Акимом), что даже близкие люди не поймут тебя и станут для тебя чужими. Жить в одиночестве – серьезное испытание для твердости человеческого духа. Потому и выбор между общепринятой моралью и «трудной» правдой столь тяжел.

Проблема выбора стоит перед Никитой, которого все больше затягивают сложившиеся преступные правила. Для него смерть – вполне реальная вещь, угрожающая его человеческой сущности. Он боится как смерти, так и жизненных проблем, неудобств, общественного осуждения. Живя поначалу для удовольствия, он сознает неправильность такой жизни. В стремлении скрыть от людских глаз свои проступки (отношения с Мариной, Анисьей, Акулиной и т.д.), он все глубже увязает в грехе, все больше отдаляясь от чистоты и веры своего отца Акима, все больше приближаясь к порочности своей матери Матрены. Однако муки совести оказываются для Никиты столь тяжелы, что чаша весов вновь перевешивается в сторону Акима. Обдумывая самоубийство, Никита вдруг остро чувствует ложность этого выхода, неразрешимость своих проблем таким путем, тяжесть и гибельность для души такого поступка. Он начинает понимать, что главное для него мучение – грехи на душе, а не человеческое осуждение, и избавиться от этих страданий можно лишь посредством покаяния перед людьми, самим собой, Богом – и принятия своей участи со смирением и благодарностью. В характере Никиты прослеживаются те же условия для духовного возрождения, что и позже в характере Дмитрия Нехлюдова: 1) чуткость ко всякой лжи и фальши и 2) душевная незакошенность, подвижность, склонность к переменам.

Особые отношения со смертью у Митрича. Отставной солдат, он много раз встречался с гибелью людей на поле боя. Он настроен более философски, спокойнее, циничнее. Ему трудно жить с людьми, постоянно исподволь идущими на маленькие сделки с совестью, потому что он видел людей в «пограничных ситуациях» – потому и разбирается во многом лучше других, и события оценивает адекватнее. Он знает, что есть зло, с которым лично он не хочет примириться, но и повлиять на него не в силах. Он пытается не конфликтовать с окружающими и сохранять свою независимость, дорожить собственным мнением, никому не навязывая его и не страшась всеобщего осуждения, принимая недостатки жизни и людей как данность. В момент убийства ребенка он догадывается о происходящем, но считает, что бессилён как-то повлиять на ситуацию. Он лишь не слишком успешно пытается защитить Анютку, отвлечь ее от ужаса случившегося, успокоить, заговорить, не дать ей даже в мыслях прикоснуться к этой мерзости. И все же девочка чувствует, что происходит. Для нее смерть – чудовищное, непостижимое зло. Смерть Петра она переживала тяжело, но убийство новорожденного младенца (Петр-то якобы умер своей смертью) сделало для нее смерть чем-то зловещим, грязным, несправедливым и неестественным.

Иннокентий Анненский [14] говорил, что нет другой трагедии, столь чуждой музыке, как «Власть тьмы», считая музыку «самым непосредственным и самым чарующим *уверением* человека в возможности для него счастья». Даже в молодые годы Толстой умел не подчиняться духу музыки. «...Могла ли проявиться власть музыкальной тайны в той поэзии, которая «Смертью Ивана Ильича» и «Холстомером» показала, что

ей не страшна и та загадка, перед которой мы закрываем глаза?.. Поэт, который приподнимает и это покрывало, что может скрывать от него музыкальное?» [14] «Толстой при всей своей страстно могучей жизненности и именно потому, что жизненность его была так могуча, не мог не ценить свою личность, которая давала столько переживаний, и в ужасе думал о смерти», – писал А.В.Луначарский [15, с. 467].

Решимся сказать, что Толстой не боялся смерти. Пугающая большинство людей загадка в конечном счете переставала его страшить перед лицом более важных проблем. «Все страшатся смерти, – говорил писатель Токутоми Рока, – но смерть – избавление, так что бояться нечего...» [16, с.321]. «Христианин не должен и не может бояться смерти», – говорил Толстой И.Ф.Наживину [17, с.384]. Мужественный человек, Толстой не прекращал попыток определить для себя смысл жизни, не поддаваться панике, когда надежды одна за другой покидали его. Каждое его произведение, особенно в последний период творчества, – это попытка обобщить свой опыт, сказать людям то самое важное, что оформилось в его душе к моменту, когда он взялся за перо. Он говорил близким, что, возможно, последние годы его жизни – самые значимые для него, самые осмысленные и плодотворные.

РЕЗЮМЕ

На прикладі двох п'єс Лева Толстого в статті розглядається мотив смерті як один з основних мотивів у пізній творчості письменника. Він випробує своїх героїв у ситуаціях, коли вони повинні зробити вибір між загальноприйнятим та моральним законами. Герої «Влади пітьми» та «Живого трупа» намагаються знайти сенс життя перед обличчям неминучої смерті.

SUMMARY

By the example of two Lion Tolstoy's plays the motive of death is considered in the article like one of the basic motives in the writer's late creativity. He tests the heroes in situations when they should make a choice between standard and moral laws. Heroes of «The Authorities of Darkness» and «The Alive corpse» try to find the sense of the life before the face of inevitable death.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузичева А.П. О философии жизни и смерти//Чехов и Лев Толстой. – М.: Наука, 1980. – С.254-263.
2. Оболенская Е.В. Моя мать и Лев Николаевич. (Отрывок)//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1978. – С.399-408.
3. Толстая А.А. Воспоминания//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1978. – С.91-104.
4. Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? – Л.: Худож. лит., 1990.
5. Ивакин И.М. Из «Воспоминаний о Ясной Поляне. 1880-1885» //Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1978. – С.327-345.
6. Толстой Л.Н. Не могу молчать. – Режим доступа: <http://www.radzinski.ru/lab/nemogumolchat.shtml>. – Название с экрана. – 8.11.2004.
7. Федин К.А. Искусство Льва Толстого // Л.Н.Толстой в русской критике. – М. – 1960. – С. 500-504.
8. Бунин И.А. Из книги «Освобождение Толстого» //Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.2. – М.: Худож. лит., 1978. – С.229-238.
9. Новиков А.М. Зима 1889 – 1890 годов в Ясной Поляне (картины яснополянской жизни в 1890-х годах)//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1978 – С.439-450.

10. Вестник иностранной литературы. Октав Гудайль в Ясной Поляне//Интервью и беседы с Львом Толстым. – М. – 1987. – С.63-66.
11. Видуэцкая И.П. Проблемы народа и культуры// Чехов и Лев Толстой. – М.: Наука, 1980. – С. 96-109.
12. Эрленвейн А.А. Отрывки из воспоминаний с Ясной Поляне. 1861 – 1863//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1978. – С. 127-140.
13. Берс С.А. Воспоминания о графе Л.Н. Толстом//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.1. – М.: Худож. лит., 1978. – С. 174-193.
14. Анненский И.О. Три социальных драмы, «Горькая судьбина». «Власть тьмы». «На дне»//Анненский И.О. Книга отражений. – С.-Петербург. – 1906. – С. 75-146. – Режим доступа: http://az.lib.ru/a/annenskij_i_f/text_0330-1.shtml. – Название с экрана. – 15.09.2004.
15. Луначарский А.В. О творчестве Толстого//Л.Н. Толстой в русской критике. – М. – 1960. – С. 453-475.
16. Рока Токутоми. Пять дней в Ясной Поляне//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.2. – М.: Худож. лит., 1978. – С.320-338.
17. Наживин И.Ф. О Льве Николаевиче//Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2-х тт. – Т.2. – М.: Худож. лит., 1978. – С. 384-396.

Надійшла до редакції 25.05.2005 р.

УДК 82.09

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ В РОМАНЕ А.С.ПУШКИНА “ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”

В.Просцевичус

Научная литература о романе А.П.Пушкина «Евгений Онегин» огромна. Тем не менее, каждый год приносит все новые и новые исследования, предлагающие новые решения либо частных проблем, предлагаемых непредвзятым прочтением пушкинского шедевра, либо новый взгляд на фундаментальные вопросы, поднятые в романе в стихах.

Задача, которую ставим мы в данной статье, связана с уяснением соотношения этического и эстетического в романе. Мы не предполагаем выдвинуть некую новаторскую гипотезу о природе этого соотношения, мы лишь хотим с несколько иной стороны взглянуть на традиционные и в основном совершенно оправданные и верные трактовки одного из главных, если не главного вообще, события романа – отказа Татьяны Онегину в финале произведения.

Для того, чтобы как можно быстрее наметить наш подход к ответу на вопрос о глубинных причинах, подвигнувших Татьяну на такое решение, приведем цитату из работы весьма авторитетного исследования крупнейшего филолога Ю.М.Лотмана:

«...если Онегин создан как герой, всегда стоящий на распутье, то путь Татьяны может показаться завершенным, а образ – однозначно исчерпанным. Это не так. Во-первых, то, что Татьяна отсекала от себя возможность романских «поступков», лишь перенесло динамическую противоречивость ее характера в сферу внутренней жизни, превратив ее образ в глубоко трагический. Во-вторых, добровольный, сознательно принятый, а не продиктованный автоматизмом внешнего давления, отказ от совершения поступка сам есть поступок наивысшей ценности. Он означает не потерю личной свободы, а высшее ее проявление – осознание связи свободы и ответственности. В этом от-

ношении представляется ошибочным часто встречающееся противопоставление якобы суетное сложности характера Онегина мудрой простоте Татьяны (простота и цельность здесь получают оттенок «природности» и незатронутости культурой). Образ Татьяны в такой трактовке теряет внутренний трагизм. Жизнь Татьяны – не растворение в автоматизме ритуализованной череды дней, не потеря личности, запретившей себе свободу выбора, а добровольно принятый подвиг. Психологическая близость к народу так же не дана ей извне, как нечто поглощающее ее личность, а есть именно результат развития личности, ее постоянных усилий по выбору нравственно наиболее трудного пути» [1, с.91].

Мы привели столь обширную цитату с вполне определенной целью, ни в коем случае не сводимой ни к желанию лишь привести собственные подтверждения глубокому обобщению эстонского ученого, ни к самонадеянному намерению опровергнуть, по-видимому, беспспорное по сути литературоведческое высказывание.

Мы попытаемся подвергнуть это научное высказывание анализу с точки зрения соотношения в нем этического и эстетического пафоса. С нашей точки зрения, такой анализ будет бесполезен для ответа на главный вопрос, который мы поставили перед собой в данной статье.

Проблема соотношения этического и эстетического в художественном произведении настолько широка и принципиальна, что ее обсуждение даже в самом приближительном виде потребовало бы слишком много времени и, скорее всего, увело бы нас далеко от нашей конкретной проблемы.

Для того, чтобы ввести наш вопрос в более узкий проблемный контекст, можно переформулировать его так: как отличить (или – чем отличается) в высказывании ученого *этическое*, по существу, восхищение поступком Татьяны от *эстетического* восхищения мастерством автора – Пушкина?

Как пишет Ю.М. Лотман, Татьяна воздерживается от «романных» поступков. Значит, ее поведение постольку вызывает восхищение, поскольку в нем нет литературности, подражания безжизненным, омертвелым схемам. С другой стороны, можно спросить – почему, собственно, потребовался Пушкину его роман, если «романная действительность» вообще им же осуждается, высмеивается как вычурная и надуманная? Почему Татьяна, едва ли не с молоком матери впитавшая романическую культуру, оказывается способной на такой «народный» поступок? Далее, какие поступки Татьяны – до ее последнего свидания с Онегиным да и само свидание – свидетельствуют о «постоянных усилиях по выбору нравственно наиболее трудного пути»? Французское письмо едва появившемуся в деревне питерскому денди? Или инфантильная покорность родительской воле в замужестве с нелюбимым и, к тому же, толстым генералом? Наконец, неспособность поверить в искренность Онегина, подозрение в нем все того же пустого тщеславия?

Нетрудно заметить, что задавая все эти вопросы, мы представляем Татьяну непосредственно жившим существом, человеком, действительно сознательно совершавшим какие-то поступки, иногда – из ряда вон выходящие по своим этическим достоинствам. (Как она выглядит в оценке Ю.М.Лотмана). Или – наоборот – вполне заурядной девицей, неспособной на преодоление социальных стереотипов. (как она выглядит в нашей оценке). Объяснение такой противоречивости достаточно простое – покуда мы рассуждаем о литературном персонаже как о действительно жившем или живущем существе, человеке, мы совершенно свободны в выборе и даже сочинении самых разнообразных мотивов его поступков. Глубины его сознания, самосознания нигде и никем не могут быть зафиксированы самым достоверным и определенным образом: никому они не доступны. Даже его создателю: достаточно вспомнить знаменитое место из письма Пушкина Вяземскому, где он признается, что «Татьяна удрала со мной штуку: выскочила замуж».

Значит ли это, что споры и мнения об этическом достоинстве того или иного поступка персонажа безнадежны и беспочвенны, если невозможно оценивать их на фоне незыблемой иерархии этических ценностей?

Для того, чтобы двинуться дальше в наших рассуждениях, приведем еще одну цитату из работы Ю.М.Лотмана:

«Подвиг Верности, который добровольно принимает на себя героиня Пушкина, конечно, шире проблемы верности семье. Последнее становится знаком самого понятия верности. Это позволило чуткому Кюхельбекеру парадоксально приравнять Татьяну 8-й главы к Пушкину: «Поэт в своей 8 главе похож на Татьяну сам: для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен»» [1, 91].

Суждение лицейского друга Пушкина, действительно, парадоксально. Что может быть общего между провинциальной барышней, волею случая попавшей в высший свет, и с детства, можно сказать, иного света не знавшим блистательно одаренным поэтом, не говоря уже о других существенных различиях? Ближайший подходящий ответ находим в многозначительном определении Ю.М. Лотмана: «...добровольно принятый на себя подвиг». В самом деле, поступок Татьяны продиктован не внешними правилами поведения, она отказывается изменить мужу не потому, что любит его, и не потому, что никто вокруг нее не изменяет мужьям – скорее, судя по всему, совсем наоборот. По-видимому, правильнее было бы сказать, что – вопреки естественному развитию событий, их временной последовательности – Татьяна *первая, добровольно*, не имея для этого никаких образцов или логических оснований, *устанавливает нравственный закон*. Она совершает свой поступок, так сказать, в полном одиночестве, абсолютно самостоятельно.

Только после такого поступка оказывается возможным оценивать все другие поступки как нравственные или безнравственные. Татьяна принимает лично на себя всю ответственность за всю совокупность и внешних, не зависящих от ее воли, и внутренних причин, приведших к сложившемуся положению. Отсюда можно вывести своеобразный этический постулат: человек оказывается свободным только тогда, когда признает личную ответственность за всю массу внешних и внутренних причин, имеющих влияние на его жизнь. Там и тогда, где и когда совершается такой поступок, такой акт, и возникает, собственно говоря, представление об этической норме, этическом законе.

Такой поступок совершенно не зависит от внешних обстоятельств. В любой момент жизни человек имеет возможность согласиться с тем, что только он, лично виноват во всем. (Естественно, имеется в виду не конкретная уголовная ответственность или признание своей причастности к умышленно неблагоприятному поступку). Соответственно, такой поступок не может иметь никаких внешних причин в виде правила или закона. Когда он совершается, нет еще никакого закона, никакого правила. Именно поэтому он, этот поступок, не может быть отнесен к разряду этических в строгом смысле слова, потому что этический поступок совершается, как мы привыкли думать, в соответствии с определенными правилами, нормами и т.п.

Но даже с этими существенными уточнениями мы не смогли, как видно, отрешиться от представления Татьяны как живого, мыслящего и чувствующего человека, а не «плода» воображения поэта. «Добровольно принятый на себя подвиг» Татьяны – это все же этическое утверждение, этическое определение. И если соблюдать последовательность в рассуждении, поступок Татьяны не заслуживает громкого наименования «подвиг». Она ведь просто-напросто соблюла супружескую верность. Легко можно себе представить, что многие и многие женщины всех времен и народов в соответствующих ситуациях вели себя точно таким же образом. В чем же эстетическое содержание именно этого поступка? Или, точнее говоря, в чем «добровольно принятый на себя» подвиг поэта?

Самая простая формулировка, которая может быть нами предложена в данной работе, такова – подвиг поэта заключается в добровольном подчинении *собственным* за-

конам. Известно высказывание Пушкина, согласно которому поэта должно судить по тем законам, которые он сам над собой признает. В этом высказывании, с нашей точки зрения, есть некоторая доля лукавства. Законы, созданные поэтом для себя, никому больше не известны и недоступны в своем содержании. Однако в том-то и состоит подвижничество поэта, что он следует путем, на котором может быть и оправдан, и осужден только своим собственным судом. Подвиг – любой подвиг, подвиг как таковой – как бы растворен в массе других, похожих, даже совершенно таких же человеческих поступков. Любой подвиг становится нормой и обязательным для исполнения этическим руководством, когда его беззаконность, не оправданность никакими нормами (поскольку до подвига таких норм просто не существовало) находит объяснение и оправдание в *новых* этических установках.

Нежелание человека подчиняться внешним обстоятельствам, ища в них оправдания и обоснования своей судьбе свидетельствует о недостаточности всех существующих в мире правил, норм, законов и проч. для проявления и всей полноты человеческих возможностей. С другой стороны, пренебрежение теми же самыми нормами и законами приводит к распаду и хаосу человеческих отношений. Единственный путь, позволяющий сохранить человеческое достоинство – это добровольное следование собственным законам. Осознание извне данного закона как своего собственного, то есть присвоение всей совокупной нормотворческой деятельности человечества как личной инициативы – это акт не этический, а эстетический. (Этический акт – это признание правомочности и соблюдение не мной созданных правил и норм).

Отказ Татьяны от любви к Онегину (мы имеем в виду ее нежелание изменить мужу ради близости с любимым) констатирует, если можно так выразиться, недостаточность – всех и каждой в отдельности – существующих в мире, узаконенных форм человеческих взаимоотношений, способных объяснить («вместить») *любовь*. Соответственно, существование таких представлений, как *верность*, *честь* свидетельствует об актуальности таких человечески важных ориентиров, следование которым не гарантируется соблюдением всех мыслимых законов и правил.

Такие представления имеют *эстетический* характер и оформляются во взаимоотношениях автора и героя. Автор является той инстанцией, которая как бы поддерживает героя в способности следования авторским же законам. Именно восприятие их как авторских, от автора исходящих, а не как человеческих, мирских дает герою силы сохранять *верность себе* – «добровольно принятый на себя подвиг». Добровольный же подвиг автора состоит в такого же рода усилии: раз создав, он сохраняет свои законы неизменными, хотя в его власти, ведь он – полноправный автор! – изменить их, как ему заблагорассудится.

Таким образом, эстетическое является принципиально первичным, основополагающим по отношению к этическому. В романе «Евгений Онегин» это выражается в том, что, несмотря на конкретное «место» поступка Татьяны в последовательности событий, описанных в произведении А.С.Пушкина, именно его содержание и значимость создают ту эстетическую шкалу измерения, точку отсчета, по отношению к которой определяются в своей этической содержательности поступки всех других персонажей романа. Более того, сама Татьяна «возникает» в единстве своей судьбы, вся ее предшествующая жизнь наполняется смыслом только в свете этого поступка, который, значит, не может быть «выведен» из совокупности «постоянных усилий по выбору нравственно наиболее трудного пути».

РЕЗЮМЕ

У статті розглядається проблема співвідношення етичного та естетичного в художньому творі. На зразку роману О.С.Пушкіна «Євген Онегін» обґрунтовується теза,

згідно з якою етична реальність, що вона зображена у твору, являється залежною, іншими словами, похідною відносно реальності естетичної.

SUMMARY

The article examines the problem of the relationship between ethics and aesthetics in a literary work. Interpreting J.M.Lotman's remark on «Eugene Onegin», the author states that in the literary work, the ethical reality depends upon, or, in other words, is derivative from the esthetical reality.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лотман Ю.М. В школе поэтического мастерства. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. – М.: Просвещение, 1988. – 365 с.

Надійшла до редакції 26.05.2005 р.

УДК 82. 09

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР» КАК ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНЦЕПТ

Г.Швец

Понятие «поэтический» («художественный») мир не только не может «похвастаться» глубокой теоретической проработкой (за исключением единичных случаев), но и просто более или менее общепризнанным категориальным содержанием. Что еще более осложняет нашу задачу, так это необычайная популярность слова (не – термина!) «мир» в подавляющем большинстве теоретико-литературных исследований на всем протяжении истории литературоведения. Лишь совсем недавно «мир» в качестве термина появился в академических учебниках «Введение в литературоведение» и «Теория литературы». Беглый взгляд на страницу предметного указателя одного из них [1] может послужить ясным подтверждением вышесказанному. Здесь мы видим и «мир произведения», и «мир писателя», и «мир поэтический», и «мир предметный», и «мир человека». Кроме того, если мы сопоставим определение этого «мира» с определением «произведения», то положение окажется еще более запутанным. Ср.: «...мир произведения является воплощением, носителем художественного содержания (смысла), необходимым средством его донесения до читателя» [там же, с.194].

Содержание понятия «мир» настолько, кажется, самоочевидно, настолько беспроблемно для понимания, что, при всей его несомненной значимости для любого гуманитарного рассуждения, довольно редко подвергается систематическому осмыслению в той или иной категориальной сетке.

«Абсолютная цельность [totalitas, подразумевается – мира], – пишет Кант – хотя и представляется понятием повседневным и легко понимаемым... при более глубоком взвешивании представляет для философа величайшие трудности» [2, с.388].

Кантовский «мир» оказывается в большой, если не в полной мере творением человечески ограниченного разума. (Как известно из истории философии, таким видением проблемы мира Кант в значительной степени обязан поразившей его воображение

философии Юма). Кантианская метафизика и сразу же после появления его главных трудов, и по сей день подвергалась и подвергается (и «слева», и «справа») настойчивой критике за «субъективизм». Центральным понятием преуспевшего в этой критике экзистенциализма стал не «мир», а «бытие». Упорные изыскания Хайдеггера помещают в центр внимания проблему «само собой разумеющегося». При этом собственно мир оказывается, видимо, производным по отношению к некоей мироустроющей основе. Комментируя картезианскую интерпретацию проблемы, Хайдеггер в своем главном труде «Бытие и время» пишет: «Всякое сущее, которое не Бог, есть *ens creatum* [сущность сотворенная]. Между двумя сущими имеет место «бесконечное» различие их бытия, и все же мы рассматриваем сотворенное наравне с творцом *как сущее*. Мы употребляем, соответственно, бытие с такой широтой, что его смысл охватывает «бесконечное» различие. Так мы с известным правом можем и сотворенное сущее называть субстанцией. Это сущее, правда, по отношению к Богу нуждается в изготовлении и поддержании, но внутри области сотворенного сущего, «мира» в смысле *ens creatum*, имеется такое, которое по отношению к тварному изготовлению и поддержанию, например, человеческому, не нуждается в другом сущем» [3, с.142].

Обратим внимание на «нуждаемость» мира в «другом сущем». Из контекста непосредственно ясно, что речь идет о Боге, однако, если «подключить» в этом месте кантовское видение проблемы, можно, вероятно, говорить об открывающейся альтернативе: чтобы быть, мир нуждается либо в Боге, либо – в человеке. Для нас сейчас важно одно: мир принципиально характеризуется (с любой точки зрения) как сотворенное сущее. Это обстоятельство представляется нам чрезвычайно значимым, поскольку вводит в обсуждение проблемы интуитивно убедительную общность между собственно миром и миром художественным. Общность эта – в сотворенности. Кроме того, в этом же пункте намечается перспектива для отчетливого прояснения еще одной проблемы, неотделимой от обсуждаемой. Мы имеем в виду древнейшую метафору, в рамках которой автор художественного произведения сопоставляется с Богом. Необычайная продуктивность этой метафоры имело, однако, то следствие, что из поля зрения исследователей совершенно выпала необходимость удержания в мысли бесконечного различия между уподобляемыми друг другу субъектами.

Итак, мир есть, прежде всего, нечто сотворенное, вне зависимости от того, как мы понимаем эту сотворенность, либо онтологически (или даже – религиозно), как «натуральный» продукт Божественного акта, либо по-кантовски, как учреждаемый в системе разрешений разума. И в том, и в другом случае мы открываем вполне правомерный способ дальнейшей конкретизации главного понятия. Именно: принципиальной характеристикой мира является его *конечность*. Соответственно, атрибут конечности распространяется на всех участников любого рода целокупностей, агрегатов и т.п. его, мир, образующих (или – в него входящих). Значит, как кажется, мы, не рискуя вызвать раздражение профессиональных философов, можем дать вполне достаточное для наших целей и, в то же время, не претендующее на вызывающую новизну определение мира (реального).

Определение это звучит так: ***мир есть сфера конечного существования***. Субъектом конечного существования является, соответственно, человек. С нашей точки зрения, такого определения мира достаточно, чтобы корректно поставить следующий, самый важный для нас вопрос: как следует определить мир художественный?

Было бы неправомерным искажением реального положения дел считать, что проблема художественного мира вовсе не привлекала специального внимания. В русской (советской) науке его история началась со статьи Д.С.Лихачева «Внутренний мир художественного произведения». Академик Лихачев с принципиальной остротой поставил вопрос о необходимости четко выделить внутренний мир произведения в отдельный предмет изучения. При этом он подчеркнул, что общепринятого и легко понятного разграничения между миром наличной действительности и миром литературной условности

явно недостаточно для дальнейшего движения в изучении литературы. Как справедливо подчеркивал Д.С.Лихачев, дело обычно ограничивалось (да и, добавим, ограничивается) поверхностным сопоставлением как бы «намекающих» друг на друга фрагментов произведения и «фрагментов» реальности: «Мы обычно не изучаем внутренний мир художественного произведения как целое, ограничиваясь поисками «прототипов»: прототипов того или иного действующего лица, характера, пейзажа, даже «прототипов» событий и прототипов самих типов. Все в «розницу», все по частям! Мир художественного произведения предстает поэтому в наших исследованиях россыпью, и его отношение к действительности дробится и лишено цельности» [4, с.75].

В качестве иллюстрации к тезису Д.С.Лихачева о рассмотрении «в розницу», приведем выдержку из статьи одного из наиболее авторитетных приверженцев струтро-лингвистического подхода к изучению литературы, М.Л.Гаспарова: «Выражение «художественный мир писателя» (или произведения, или группы произведений) давно уже сделалось расхожим, но до недавнего времени употреблялось оно расплывчато и неопределенно. Лишь в последние десятилетия, как кажется, удалось вложить в него объективно установимое содержание. Художественный мир текста, представляется теперь, есть система всех образов и мотивов, присутствующих в данном тексте.... Частотный тезаурус языка писателя или произведения, или группы произведений) – вот что такое «художественный мир» в переводе на язык филологической науки» [5, с.125].

Интуитивно ощущаемая многими исследователями samozаконность происходящих в произведении событий была не только легитимирована, так сказать, Лихачевым, но и убедительно (если учесть небольшой объем статьи) проанализирована им на примерах русских сказок и произведений Достоевского. Вот показательный отрывок из статьи, в котором Лихачев касается этого вопроса: «Мир Достоевского «работает» на малых сцеплениях, отдельные части его мало связаны друг с другом. Причинно-следственные, прагматические связи слабы. Мир этот постоянно обзревается с разных точек зрения, всегда в движении и всегда как бы дробен, с частым нарушениями бытовых закономерностей» [4, с.83].

Следует отметить, что и в статье Лихачева, и в работах других исследователей, вслед за ним принявших за изучение «поэтических миров» разных писателей, на первом месте среди особенностей, характеристик этих миров оказались именно закономерности. И по той, очевидно, причине, что описывались они, эти закономерности исключительно как аномалии по отношению к закономерностям реальным. Вообще говоря, если выводить дефиницию внутреннего мира произведения из этих рассуждений, то, скорее всего ключевым словосочетанием в такой дефиниции было бы «совокупность закономерностей».

Поэтические законы оказываются в центре внимания самого, наверное, благодарного читателя статьи Д.С.Лихачева, В.В.Федорова. В своей фундаментальной монографии «О природе поэтической реальности» и в целом ряде последовавших за ней статей донецкий ученый последовательно развивает идеи академика, причем с течением времени это развитие все более приобретает характер радикального переосмысления. Эта радикальность отчетливее всего видна, опять-таки, в походе к пониманию поэтических закономерностей.

Полномочность автора что-то творить ставится Федоровым под сомнение в пользу атрибутирования ему гораздо более существенных прерогатив: «Внутренний мир», таким образом, не «место», а субъект бытия. Если известное выражение «внутренний мир человека» несколько перефразировать, то получим искомую формулировку: бытие автора разворачивается *как мир, в качестве мира*» [6, с.22].

Вопрос о закономерностях поэтического мира и полномочиях автора (по Лихачеву) и особой форме его бытия представляется нам решающим для правильной постановки вопроса о природе поэтического мира.

Итак, согласно достаточно устоявшейся точке зрения (вполне созвучной взглядам Д.С.Лихачева), автор не только волен в причинении конкретных событий, он вполне самостоятельно создает само пространство и время (особые), в которых они происходят. По Федорову же, автор сам осуществляется в качестве мира, соответственно, реализуясь, так сказать, в его закономерностях. Поскольку собственно мир определен нами как сфера конечного существования, проанализируем такую печальную с определенной точки зрения закономерность человеческого существования, как смерть.

Когда умирает человек, всегда звучит и всем понятен вопрос: «Отчего он умер?». На него можно ответить по-разному: от ран, от открывшейся болезни, от старости, от горя, наконец. Однако есть еще одна причина, возможно, главная. Человек умирает потому, что он – существо конечное. Возникает вопрос: какая причина «главнее» – болезнь, старость, горе, или – конечность? И правомерно ли конечность называть «причиной» смерти?

Мир, согласно принятому нами определению – сфера *конечного* существования. Только в перспективе от неизбежного, не-обходимого конца существования являются, проявляются все и всяческие закономерности как знаки неединичности, неединственности любого существования. Всякая закономерность предполагает повторение, узнавание чего-то, как минимум, дважды. Только повторяющееся можно вмести в закон. Точнее, увидеть на фоне, так сказать, закона. Того, что *за* концом. Именно конечность учреждает закон, закономерность. Мир как совокупность закономерностей проявляется в виду конца. Мир не требует веры в себя, мир только провоцирует на познание себя. Знать нечто мы можем постольку, поскольку оно о-кончено. Увидеть этот конец невозможно, можно увидеть ограниченность – закономерность. Как с этой точки зрения можно описать, сформулировать закономерность поэтическую?

Итак, собственно мир – это сфера конечного существования. Человек – субъект конечного существования. Человек не ограничивается, а определяется конечностью. Человек не может вообразить себя неконечным, потому что самое способность воображать есть атрибут конечности. Неконечное существо «не знает» воображения. Несомненно, с другой стороны, что человек способен творить, в частности, художественные произведения. Ставим вопрос так: какое предварительное усилие, так сказать, должен сделать над собой человек, чтобы учредить мироподобную сферу существования? Если мир – это сфера конечного существования, то ясно, как будто, что конечное существо, каким является любой реальный автор, не может ни учредить собственным усилием еще одну такую сферу, ни встать на внешнюю позицию по отношению к сфере собственного существования, не перестав при этом быть конечным. (В терминологии М.М.Бахтина такая позиция получает специальное наименование: «позиция вненаходимости»). Наша задача состоит в том, что дать такое определение поэтического мира, которое имело бы дальнейшую объяснительную силу, т.е. не вынуждало бы нас апеллировать к идеализациям, являющимся, как правило, конечным пунктом всякого философствования. (В качестве примера такой идеализации можно указать на знаменитую кантовскую «вещь в себе»; «поэтический мир» В.В.Федорова при всей мощи (по сравнению с безысходно-метафорическими интерпретациями этого понятия) своего содержательного потенциала, в принципе, по объему соответствует кантовскому концепту). В то же время, мы, конечно, не претендуем на психологически прозрачное описание специфического акта, превращающего «ничтожное дитя мира» в Поэта.

Мы не видим возможности отказаться от атрибутирования конечности любому субъекту существования, в том числе, и автору поэтического произведения. Сверхзаконное существование можно помыслить в том, и только в том случае, если это существование единично, единственное.

Иными словами, *художественный мир – это сфера конечного существования, полагающего себя единственным.*

Стало быть, субъект конечного существования становится субъектом поэтического бытия, как только полагает свое существование единственным. Это событие, конечно, не приводит к сколько-нибудь существенным изменениям, заметным извне. (Оно просто получает специальное наименование – вдохновение). Но, удерживаясь в нем, субъект поэтического существования учреждает конфликт нового типа, неизвестный «реальности». Единственность конечного существования автора упраздняет биологическую конечность других существований. Акт такого полагания не учреждает какие-то особые, поэтические закономерности. Этот акт упраздняет всяческие закономерности, так каждый последующий акт *так* определившегося субъекта оказывается (точнее – сказывается) уникальным, неповторимым, что исключает возможность усмотрения и формулировки каких бы то ни было закономерностей.

Субъект *единственного конечного существования* не может ни творить какие-либо законы, ни соотносываться с какими бы то ни было внешними по отношению к себе законами, поскольку его единственность «обеспечивает» уникальность, неповторимость каждого его акта. Именно это обстоятельство продуцирует, так сказать, особенности поэтического мироустройства, легко замечаемые, но абсолютно непроницаемые для объяснения с позиций биологических, социальных и под. Закономерностей, потому что весь комплекс закономерностей появляется, «пристраивается» к ним лишь потом (если здесь уместен временной термин). Признание поэтом закона над самим собой, заключается в том, что он узурпирует атрибут конечности – не-обходимой предпосылки узрения всякой закономерности.

Актом «узурпации» единственности своего конечного существования субъект поэтического бытия учреждает *поэтический мир как сферу единственного конечного существования*. В реальности смерть мыслится как прекращение существования, то есть получает («подбирает» себе) какую-либо причину: болезнь или смертельную рану, что, в принципе, одно и то же по физиологическому, так сказать, статусу. В реальности как сфере конечного существования смерть не может не иметь закономерной причины. В реальности же поэтической смерть, наоборот, не может иметь биологической причины, потому что в сфере единственного конечного существования не может быть двух одинаковых событий, сопоставление которых по какому-либо признаку позволило бы обнаружить закономерность и, стало быть, причинную связь.

РЕЗЮМЕ

У статті пропонується філософське трактування ключового для теорії літератури поняття художнього світу. Визначаючи світ як сферу скінченого існування, авторка вводить уяву про „узурпацію» одиничності свого скінченого існування суб'єктом поетичного буття. Закладення поетичного світу як сфери одиничного існування супроводжується закладенням конфлікту нового типу, невідомого реальності.

SUMMARY

In the article, the concept of the «aesthetic world», fundamental for literary theory, is philosophically examined. Defining the world as a sphere of finite existence, the author suggests that the subject of the poetic existence «usurps» his unique finite existence. The establishment of the poetic world as a sphere of unique finite existence is accompanied by the establishment of a new, unknown to reality, type of conflict.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., Просвещение, 2002. – 398 с.
2. Кант И. О форме и принципах чувственного и умопостигаемого мира// Соч. в 6 тт. – Т.2. – М.: Мысль, 1964. – 583 с.

3. Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: «Республика», 1993. – 486 с.
4. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопр. лит. – 1968. – №8. – С.74-87.
5. Гаспаров М.Л. Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус функциональный: (М.Кузмин, «Сети», ч. 3) // Пробл. структур. лингвистики : Ежегодник. – М.: Наука, 1988. – 1984. – С. 125-137
6. Федоров В.В. Поэтический мир и творческое бытие. – Донецк, Кассиопея, 1998. – 88 с.

Надійшла до редакції 06.06.2005 р.

УДК 81'42 = 161.2

ПРО СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІМПЕРЦЕПТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

В.В.Мозгунов, В.В.Янишевська

Імперцептивність є не єдиною модальною категорією, характерною для природної мови. Можна навести ряд категорій, властивих реченню, наприклад, гіпотетичність, дубітативність, адміративність, імперативність, оптативність, які виражають суб'єктивне ставлення автора до змісту того, що він передає. Так у загальних рисах можна визначити модальну рамку. Окремі із названих модальних категорій у граматиках слов'янських мов відносяться до способу, або називаються *модусом*, наприклад, наказовий спосіб (імператив). При цьому спосіб загально визначається як форма репрезентації, тобто показник відношення мовця до змісту повідомлюваних ним речей. Він передає модальну складову речення (модус), яка виражає чи пресупонує правдивість диктума – основного елемента семантичної структури речення, – або ставить її під сумнів [1]. Граматична традиція розуміє спосіб як набір морфологічних показників вираження модальності, тобто флексивні форми дієслова. Саме тому кількість способів знаходиться у прямій залежності від кількості морфологічних опозицій, наявних в даній мові. Інші категорії нерідко взагалі не беруться до уваги в граматичному описі. Це є результатом ступеня граматикизації конкретної модальної категорії, або це можна розглядати як вплив інших граматик, що були основою для написання конкретної граматики. Визначені вище схеми дають те, що в українській мові, наприклад, говорять про наказовий спосіб, умовний спосіб, в свою чергу замовчується проблема, наприклад, адміративності.

На цю проблему можна подивитися з іншого боку і зауважити, що причиною сучасного стану наших знань про українську мову є сама структура мови, у якій зауважуємо виразні морфологічні показники імперативності чи умовності, натомість морфологічних показників тієї ж адміративності не спостерігаємо. Стан наших знань про конкретну мову дуже часто є наслідком багатьох мовних і позамовних чинників.

Причини такого опису, на нашу думку, можуть полягати в тому, що теоретики-лінгвісти певною мірою суперечать самі собі. З одного боку, говориться про синкретизм форм (йдеться про явище граматичної полісемії), а з іншого – ми залишаємося в полоні початкового етапу розвитку української (чи будь-якої іншої слов'янської) мови, коли гіпотетично можна було домислюватися про співвідношення «одна форма-одне значення». Еволюція людини неминуче вела до еволюції мови. Але яким був цей еволюційний шлях? Мова могла розвиватися екстенсивно, тобто поява необхідності передавати нові значення зумовлювала породження нових форм. Міг бути й інтенсивний шлях розвитку – наявні уже в мові «інструменти» ставали багатофункціональними, іншими словами, лопатою можна було не тільки копати.

Імперцептивність є реченнєвою категорією і в цьому ми погоджуємося з тим, що модальні категорії розглядаються як категорії реченнєві, це узгоджується з мовною дійсністю, оскільки не лише предикативна група речення може виражати модальні значення взагалі і значення імперцептивності зокрема. Хоча засоби, що виражають імперцептивні значення, можуть походити з інших рівнів мови, наприклад, слово чи група слів. Незважаючи на те, що імперцептивність є реченнєвою категорією, контекст визначає значення речення у конкретній ситуації. Речення може самостійно виражати імперцептивне значення. Контекст (записаний текст чи сказаний, який передує або йде після конкретного тексту, у даному випадку – речення) і конситуація (набір різноманітних позамовних чинників, які будь-яким способом зв'язані з висловлюваним текстом, наприклад, часові відношення, причиново-наслідкові, спосіб бачення світу, знання про світ, досвід, актуальний процес; виокремлення контексту є справою суто умовною, ми так само могли б говорити про конситуацію як набір мовних і позамовних чинників) визначають лише актуальне значення речення. Це результат багатозначності більшості мовних форм. У контексті ця багатозначність, як правило, зводиться до одного конкретного значення. Тому доцільним вважаємо подавання семантичних експлікацій у цій роботі, які в багатьох випадках не лише визначають актуальне значення речення, але й виділяють розгалужені описи конситуації і контексту.

Не слід ототожнювати імперцептивність як семантичну категорію речення з морфологічною категорією, оскільки значення імперцептивності може бути виражене не тільки морфологічними засобами (болгарська, македонська, литовська мови), як це подається в традиційних граматиках. Обмеження до морфологічних структур призводило і надалі призводить до помилкових висновків, що деякі мови не можуть виражати певних значень.

Вважаємо за доцільне конкретизувати також окремі положення термінологічні, оскільки досвід показує, що термінологічна неузгодженість, властива для гуманітарних наук взагалі, і лінгвістики зокрема, може призводити до всіляких непорозумінь. Є багато термінів, які різними авторами використовуються для позначення ідентичних або наближених значень. Тому доцільним вважаємо подання найчастіше вживаних у науковій літературі термінів, які можна вважати синонімами терміна *імперцептивність*. У науковій літературі зустрічаємо також поняття *спосіб несвідка*, *стан несвідка* [2]. Ці терміни свідчать про: 1) нерозуміння відмінностей між формою і значенням форми; 2) нерозмежування категорії стану і способу, можливе переплутування категорії стану і способу. Зустрічаємо також поняття *modus relativus*, болгаристи використовують поняття *auditivus*, *спосіб переповідання* [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Крім того зустрічаємо поняття *modus narrativus*, *modus dicendi* [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. У роботах В.Фідлера зустрічаємо поняття *commentativus*, а в працях Р.Якобсона – *testimonialis* [18]. Імперцептив розглядається як морфологічний спосіб, який вживається для позначення подій і фактів, свідком яких мовець не був безпосередньо, а знає про них за відношенням інших осіб. Він є показником семантичного проблематичного способу, оскільки служить для вираження сумніву: мовець, вживаючи його, передає, що не несе відповідальності за правдивість висловленого змісту [18: 247].

Імперцептивність – це:

1. Переказування через конкретного автора почутої чи прочитаної інформації;
2. З поданням конкретного або узагальненого джерела цієї інформації;
3. Без взяття на себе відповідальності за її правдивість;
4. Можливо, із позначенням власної думки автора щодо переказуваного змісту (коментар), можлива градація відношення автора щодо правдоподібності переказуваної ним інформації.

Три перших елементи становлять імперцептивне значення. Четвертий елемент вважаємо факультативним. Тому інформація, яку умовно назовемо імперцептивною, не належить авторові (перший із названих елементів структури). Ця інформація репроду-

кується на підставі попередніх подій і висловлення інших авторів, яких будемо називати первинними авторами. Слід звернути увагу на той факт, що так званий вторинно переказуваний зміст може бути діаметрально протилежний первинному змістові. Нас цікавить лише така ситуація, у якій автор свідомо сигналізує, що переказувана ним інформація не його авторства, а третіх осіб. Сам факт вживання засобів, які умовно називаємо імперцептивними, створює ситуацію, яку слід розглядати як імперцептивно марковану. Автор стає посередником в переказуванні почутої, рідше прочитаної інформації. Важливою проблемою є не відносити кожне посилання на чужі судження або кожне подання джерела інформації до імперцептивних значень. Третій із названих елементів акцентує факт дистансування автора від переказуваного змісту. Тим самим автор передає невербалізовану інформацію, яку можна експлікувати так: «МОЖЛИВИМ Є, ЩО». Ця інформація відноситься до повторно переказуваного через актуального автора змісту. Автор не висловлює власного судження, яким би підтверджував чи заперечував правдивість описуваного факту. Названий 4 факультативний елемент створює паралельний план значень, який накладається на власне імперцептивне значення і приписує різний ступінь правдоподібності тому, що є змістом вторинно переказуваної інформації. Можна сказати, що цей план виявляє погляди автора.

Автор конкретного переказу, застосовуючи імперцептивні засоби, хоче сигналізувати про відсутність власних знань щодо описуваної ним теми. Тому він спирається на чужі судження і виразно про це сигналізує. Проте, покликання на чужі твердження не має на меті їх наведення. Це пов'язано із позамовними зв'язками. Автор з різних причин не хоче або не може вербалізувати власних поглядів. Часом вигідніше перекласти відповідальність за висловлений зміст на третіх осіб.

У певних умовах першопланові і мовно-однозначні засоби вираження імперцептивних значень можуть бути вжиті як перверсії з метою експозиції певного негативного змісту, щоб залишити автора в безпечному стані, оскільки імперцептивні засоби несуть для адресата певний зміст, який дозволяє йому ідентифікувати почутий зміст з третіми особами, відкидаючи, натомість, актуального автора як справжнього автора висловлених суджень. Іншими словами, адресат актуально почутого змісту (висловленого актуальним автором) відносить актуальний стан висловлення до попередніх станів, тим самим – до інших авторів, не обов'язково однозначно виражених. Тим самим певною мірою знімається відповідальність актуального автора за висловлений зміст, який і так залишається позначений елементом можливості.

Далі розглянемо приклади власне імперцептивної модальності, тобто такі речення, які не експонують відношення автора до повторно переказуваної інформації.

Представимо короткий діалог.

Марина: *Ти не бачила Богдана?*

Світлана:

- (1) *Чула, що поїхав додому.*
- (2) *Говорять, що поїхав додому.*
- (3) *Роман сказав, що поїхав додому.*
- (4) *Дзвонив, що поїхав додому.*
- (5) *Виїхав додому, прислав повідомлення.*
- (6) *З усього видно, що поїхав додому.*

На питання Марини, яка, напевне, шукає Богдана, Світлана могла відповісти одним із шести вищеподаних речень. Практично усі відповіді Світлани мають наближений, якщо неідентичний зміст, важливий для Марини. Отже, вона дізнається, що Світлана не знає, де знаходиться Богдан. Проте, Світлана є настільки люб'язною, що інфо-

рмує подругу про те, що Богдан міг виїхати додому. У відповіді (1), (2), (6) Світлана не уточнює джерела інформації. Речення (4) і (5) також не дають нам впевненості твердження, хто є автором первинної інформації, хоча на перший погляд, форми *дзвонив*, *прислав* є більш точними, ніж *чула*, *говорять*. У наведених вище прикладах, крім (3), джерело інформації не визначається. Певного уточнення вимагає приклад (3), у якому автор первинної інформації є однозначно названий. Тому представляємо дві з можливих семантичних експлікацій:

(3)⁽¹⁾ 'Актуальний автор говорить, що згідно з тим, що сказав Роман, можливим є, що Богдан поїхав додому'.

(3)⁽²⁾ 'Це Роман сказав (а не хтось інший), що Богдан поїхав додому'.

Подаючи ці семантичні експлікації, хочемо звернути увагу на відмінності, які впливають з можливої різної інтерпретації речень, аналогічних до (3). У нашій конкретній ситуації перша експлікація відповідає змісту, переказуваному Світланою. Друга семантична експлікація була б обґрунтованою в ситуації, коли авторів важливо було б вказати на фактичне джерело конкретної інформації. Такі випадки не вміщуються в межі категорії імперцептивності.

Отже, можемо сказати, що кожен із шести варіантів відповіді містить облігаторні елементи імперцептивної структури, тобто:

- 1) переказувана інформація не є авторства Світлани;
- 2) джерело інформації було більш-менш уточнене, тобто позначили факт того, що були акти висловлення, які передували актуальному станові висловлення;
- 3) Світлана не брала на себе відповідальності за правдивість переказуваного змісту.

Представимо ще можливі варіанти відповіді Світлани, які не містять імперцептивного значення:

(7) Поїхав додому.

(8) Я знаю, що виїхав додому.

Звертаємо увагу, що Світлана не покликається на інформацію інших осіб, не переносить відповідальності за зміст висловлення на однозначно чи узагальнено визначені джерела, осіб, а сама стає первинним джерелом переказуваного змісту, відповідає за його правдивість, не показує невпевненості щодо правдивості переказуваного змісту. Слід підкреслити факт, що Світлана не мусила бути безпосереднім свідком виїзду Богдана, могла дізнатися про виїзд Богдана від інших, проте, інформація про виїзд була для неї настільки ймовірною, що подає її як авторизовану, власну інформацію.

Обговорюючи відповіді (4) і (5), ми намагалися звернути увагу на те, що існують проблеми у визначенні джерела первинної інформації. Це є результатом недовомленості. Для з'ясування цього явища скористаємося реченням (4). Можливі такі його інтерпретації:

(4)⁽¹⁾ 'Актуальний автор (=Світлана) говорить, що чула, що є можливим, що 1) Богдан дзвонив, 2) Богдан виїхав' (недовомлена імперцептивність висловлення *дзвонив*).

(4)⁽²⁾ 'Актуальний автор (=Світлана) говорить, що чув (Богдан дзвонив до неї), що можливим є, що Богдан виїхав' (недовомлена імперцептивність висловлення *дзвонив*).

(4)⁽³⁾ 'Актуальний автор (=Світлана) говорить, що чув (була свідком телефонної розмови третьої особи з Богданом), що є можливим, що Богдан виїхав' (недовомлена імперцептивність висловлення *дзвонив*).

Другу із представлених семантичних експлікацій можна віднести і до такого речення:

(9) Коли говорила по телефону з Богданом, він сказав мені, що поїхав додому.

Лише з тією відмінністю, що джерело первинної інформації є остаточно визначеним. Проте, можливість такої інтерпретації речення (9) є малоімовірною.

Слід показати інші можливі відповіді Світлани, в яких знайдемо факультативний елемент імперцептивності.

(10) Говорять, що виїхав додому, що є абсолютною дурницею (конситуація: Богдан обіцяв Світлані зустрітися ввечері, завжди дотримує слова).

(11) Говорять, що виїхав додому, це є можливим (конситуація: Богдан говорив Світлані про наміри поїхати додому).

Звернемо увагу, що в обох прикладах на план облігаторних структурних елементів імперцептивності накладається коментар почуття, актуально переказуваної Світланою інформації. У відповіді (10) Світлана не погоджується з переказуванням змістом, у (11), натомість, приймає її за можливу. Проте, у випадку обох речень не хоче брати на себе відповідальності за переказуваний зміст, що видно з використання однозначних імперцептивних засобів.

В українській мові, на відміну від литовської, болгарської чи македонської, немає спеціальних вербальних форм, які були б носіями імперцептивних значень.

Про ці функції окремих вербальних форм у польській мові побіжно говорить А.Вежбіцька [19: 59,65].

Відсутність спеціалізованих вербальних форм, що виражають значення імперцептивної модальності в українській мові, а також тенденції, окреслені в окремих роботах, стало причиною того, що ця проблема в україністиці не досліджувалася. Підсумків повного опису імперцептивної модальності немає і в роботах литовських лінгвістів. Надзвичайно цікаві матеріали представлені у дослідженнях Є.С.Отіна, проведених на матеріалі російської мови, в яких учений торкається цих проблем при аналізі особливостей засобів модальної оцінки чужих висловлювань. На підставі цього аналізу можна говорити, що російська мова мала (і почасти зберегла) формальні показники імперцептивності у вигляді часток (рос. *де*), лексем рос. *слышно, говорят, якобы*. Автор при цьому звертає увагу на аудитивне вживання цих лексем [20, 21].

Розглядаючи проблеми імперцептивної модальності в українській мові, можна стверджувати, що мова йде про три типи показників імперцептивних значень, а саме: 1) інтонаційний (інтонація не може самостійно виражати імперцептивні значення, тому вона розглядається як додатковий засіб, що з'являється в реченнях, у яких виступають інші, тобто неінтонаційні показники імперцептивності. Накладення інтонаційних засобів на лексичні дає певну модифікацію імперцептивних значень); 2) лексичні; 3) морфологічні (це твердження є досить провокативним, бо йдеться, власне, про квазіморфологічні засоби вираження імперцептивних значень).

Лексичні засоби можемо поділити на дві групи. До першої віднесемо ті показники, які іманентно виражають імперцептивне значення, наприклад, *начеб то, з усього видно*. До другої групи відносимо ті лексичні засоби, які тільки okazіонально, у відповідному контексті і конситуації можуть стати показниками імперцептивності, наприклад, *говорити, повідомляти, подавати*. Імперцептивні значення слів цієї групи, як правило, не фіксуються словником. Так, у *Словнику української мови* в 11-ти томах з п'яти запропонованих значень дієслова *говорити* жодне не передає значення імперцептивності, пор.:

Говорити

1. Мати здатність висловлювати думки, почуття; володіти мовою.
2. Усно висловлювати думки, погляди; розповідати про що-небудь.
3. Вести бесіду; розмовляти.
4. Бути доказом чого-небудь, свідчити про щось, указувати на що-небудь.
5. Проявлятися в чийх-небудь думках, словах, діях [22 (II): 100].

Дієслово *подавати* має за тим же *Словником* чотирнадцять значень, але жодне з них не вказує на можливість передавання імперцептивної семантики [22 (VI): 729-730].

Отже, спробуємо розглянути окремі лексичні показники імперцептивності, які мають дещо okazіональний характер вираження імперцептивних значень. Такий набір показників може бути необмеженим, оскільки багато дієслів мовлення, інформації може вживатися у такому значенні, пор.:

У результаті аварії четвертого енергоблоку вилетіла радіоактивна речовина, яка, як ствердили, не потрапила назовні.

Говориться, що це неправда, що можна було довести до такого драматичного стану.

Представники влади стоять на своєму, що захищають інтереси людини.

Як нас поінформували, ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи в центрі столиці.

Говорять, що планується відставка уряду.

Ходять чутки, що на концерті може бути цікаво.

Обмежуємося невеликою групою прикладів. Лексеми ГОВОРЯТЬ, ІНФОРМУЮТЬ, РОЗПОВІДАЮТЬ та ін. відносно до показників слабких імперцептивних значень. Іntenції автора, контекст, конситуація, дуже часто інтонаційний контур речення стають причиною того, що подібні лексеми виконують функцію показників імперцептивності. Крім того, не в кожній ситуації і не кожний адресат зможе зрозуміти імперцептивний зміст останніх наведених прикладів. Ситуація докорінно змінюється, коли в реченні з'являються інші показники імперцептивності, пор.:

Говорять, начеб-то ректор мав їхати в Америку.

Прес-аташе заперечив, начеб-то міністр мав зустрітися з представниками опозиції.

Говорять, ніби Іванові стало погано під час обіду.

Старі люди говорять, що цей рік має бути рекордним на урожай.

Говорять, що Михайло мав залишитися до проведення виборів.

Ройтер інформує, що на зустрічі з делегацією Президент мав сказати про хід розслідування справи щодо зникнення журналіста.

Мовна практика показує, що досить часто мовець з метою уникнути відповідальності за правдивість/неправдивість висловленої інформації використовує конструкції типу: *говорять, що...* Спробуємо проаналізувати значення таких конструкцій на підставі текстів, узятих з роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко.

Ми взяли п'ять речень, в яких наявні лексичні показники імперцептивної модальності.

Кажуть, десь далеко за лиманом

Море є – одним лицем вода.

Спробуємо представити семантичну експлікацію цього речення:

‘Актуальний мовець говорить, що говорять (хтось говорить), що є можливим, що далеко за лиманом є море...’

Тут важко встановлювати якісь додаткові, факультативні значення імперцептива поза контекстом.

Кажуть, море – синє і зелене,

Більше за Дніпро і за Дунай...

(1) ‘Актуальний мовець говорить, що говорять, що є можливим, що море є синє і зелене, що воно є більшим за Дніпро і за Дунай’.

Це речення може мати й іншу експлікацію, зумовлену інтонацією:

(2) (інт.1) ‘Актуальний мовець говорить, що говорять, що є можливим, що море є синє і зелене, що воно є більшим за Дніпро і за Дунай, але актуальний мовець має підстави (внутрішнє переконання) сумніватися у правдивості цієї інформації’.

Інша інтонація може дозволити інтерпретувати це висловлення по-іншому:

(3) (інт.2) 'Актуальний мовець говорить, що говорять, що є можливим, що море є синє і зелене, що воно є більшим за Дніпро і за Дунай, і ця інформація викликає бажання в актуального мовця переконатися у цьому особисто'.

*Було, ідуть, – Ромашко зарегоче,
Капканчик шапку зіб'є набакир.
Мовляв, чого там, діло, парубоче,
Усі дівчата на один копил...*

(1) 'Актуальний мовець говорить, що зі слів інших мовців є можливим, що не треба перейматися такою ситуацією, оскільки нічого іншого від дівчат чекати і не можна'.

Це речення може мати й іншу експлікацію, зумовлену контекстом висловлення:

(2) (конт.) 'Актуальний мовець говорить, що зі слів інших мовців є можливим, що не треба перейматися такою ситуацією, оскільки нічого іншого від дівчат чекати і не можна, **але** конситуація й ставлення (легковажне) цих інших мовців до того, що вони сказали, дає підстави актуальному мовцеві сумніватися у правдивості цієї інформації'.

*А, може, й правду кажуть, що ти відьма,
приворожила – і пропав навік...*

(1) 'Актуальний мовець говорить, що говорять, що є можливим, що ти є відьмою, і цій інформації можна довіряти'.

(2) (інт.1) 'Актуальний мовець говорить, що говорять, що є можливим, що ти є відьмою, **але** актуальний мовець має досвід не довіряти інформації тих осіб, від яких він це почув'.

(3) (інт.2) 'Актуальний мовець говорить, що говорять, що є можливим, що ти є відьмою, актуальний мовець готовий в це повірити, тому що сам відчуває твою магічну силу, і йому це відчуття приносить задоволення'.

(4) (конт.) 'Актуальний мовець говорить, що говорять, що є можливим, що ти є відьмою, актуальний мовець готовий в це повірити, тому що сам відчуває твою магічну силу, і йому це відчуття не подобається (він боїться цього)'.

*Казали добрі люди,
Це ж місяць грудень, літо ще коли.
Тут пройде військо, хтозна, як там буде.
В Полтаві ви б цей час перебули...*

Із цього прикладу представимо експлікації першого речення. Друге ж будемо використовувати як контекст.

(1) 'Актуальний мовець говорить, що добрі люди говорять, що зараз є місяць грудень, літо є ще далеко, поспішати нікуди'.

(2) 'Актуальний мовець говорить, що добрі люди говорять, що зараз є місяць грудень, літо є ще далеко, поспішати нікуди, ця інформація може бути правдивою, і до неї слід прислухатися'.

(3) 'Актуальний мовець говорить, що є люди, які говорять, що зараз є місяць грудень, літо є ще далеко, поспішати нікуди, **але** актуальний мовець має певні підстави (внутрішнє переконання) сумніватися у щирості намірів цих людей, тому з недовірою ставиться до правдивості їх інформації'.

Підстави не довіряти можуть бути викликані й негативними конотаціями, які можливі у народній уяві щодо словосполучення «добрі люди».

(4) (інт.) 'Актуальний мовець говорить, що є люди, які говорять, що зараз є місяць грудень, літо є ще далеко, поспішати нікуди, але актуальний мовець має певні підстави (внутрішнє переконання) сумніватися у щирості намірів цих інших людей, тому вважає, що слід зробити навпаки'.

Представлений мовний матеріал дає можливість говорити про наявні в українській мові формальні показники імперцептивності. Відсутність у словникових статтях певних значень може підтверджувати те, що ці лексеми втрачають у такому контексті суто лексичні особливості значення, а, вірніше, набувають ще додаткових морфологічних функцій. Причому, ці останні переважають. Пряме завдання таких лексем – передати не лексичне, а граматичне значення. Отже, можливо подальший аналіз матеріалу дасть підстави говорити, що в українській мові уже сформувався особливий тип морфем.

РЕЗЮМЕ

В статье подается анализ сформированных в теоретическом языкознании взглядов на проблемы выражения имперцептивной модальности (или залога несвидетеля) в славянских языках. Традиционно считают, что морфологические показатели этих значений свойственны только болгарскому и македонскому языкам, а в других славянских языках их нет. Авторы пробуют представить несколько иной взгляд на проблему и демонстрируют это на материале романа в стихах Лины Костенко «Маруся Чурай».

SUMMARY

The article is devoted to the analysis of the views towards the problem of the imperceptive modality (the voice of the non-witness) in the Slavonic languages formed in the theoretical linguistics.

The morphological indices of these meanings are traditionally considered to be related only to the Bulgarian and Macedonian languages, there are no them in other Slavonic languages. The authors try to offer a little different vision of this problem and demonstrate this through the model of Lina Kostenko's novel «Marusya Churai»

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1999.
2. Endzelins J. Latviešu valodas gramatika. – Rīga, 1951.
3. Andrejczyn L. Kategorie znaczeniowe koniugacji bułgarskiej. – Kraków, 1938.
4. Андрейчин Л. Основна българска граматика. – София, 1944.
5. Андрейчин Л. Глаголните времена в българското страдателно спрежение // Сборник в чест на акад. Александр Теодоров-Балан по случай деветдесет и петата му годишнина. – София, 1955.
6. Андрейчин Л. Към характеристиката на перфекта (минало неопределено време) в българския език // Езиковедски изследвания в чест на академик Ст. Младенов. – София, 1957.
7. Андрейчин Л. Още по въпроса за преизказното наклонение // Български език. Кн.2. – София, 1962.
8. Андрейчин Л. Разказвателните наклонения в произведенията на Софроний Врачански // Славистичен сборник. – София, 1968.
9. Андрейчин Л. Начин на изказване // Помагало по българска морфология. Глагол. – София, 1976.
10. Герджиков Г. За спорните въпроси на българската темпорална система // Известия на Института за български език. Кн. XXII. – София, 1973.

11. Герджиков Г. Отново за спорните въпроси на българската темпорална система // Език и литература. Кн. 4. – София, 1975.
12. Герджиков Г. Българските глаголни времена като система // Помагало по българска морфология. Глагол. – София, 1976.
13. Герджиков Г. Една специфична глаголна категория в съвременния български книжовен език // Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. Т.I. – Кн. 2. – София, 1977.
14. Герджиков Г. За системно обусловените значения на граматическите категории // Славистични изследвания. – Т.IV. – София, 1978.
15. Герджиков Г. Хронологията на преизказването на глаголното действие в български език // Първия международен конгрес по българистика. – София, 1981.
16. Герджиков Г. Тъйнареченото преизказване: въпросът за модалните категории, които глаголят може да притежава // Съпоставително езикознание. – Кн. 4. – София, 1982.
17. Герджиков Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. – София, 1984.
18. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 1999.
19. Wierzbicka A. Dociekania semantyczne. – Wrocław, 1969.
20. Отин Е.С. Из истории средств модальной оценки чужих высказываний // Отин Е.С. Труды по языкознанию. – Донецк, 2005.
21. Отин Е.С. О субъективных формах передачи чужой речи // Отин Е.С. Труды по языкознанию. – Донецк, 2005.
22. Словник української мови. – В 11-ти томах. – Т.II. – Т.VI.

Надійшла до редакції 03.06.2005 р.

УДК 82.09

МЕСТО И РОЛЬ ИГРЫ В РОМАНЕ БИТОВА «ПУШКИНСКИЙ ДОМ»

Я.О.Ноткина

Усилиями философов, тяготеющих к исследованию внутреннего мира человека, игра из «развлечения» постепенно становится в глазах исследователей разного профиля объективной формой духовного существования человека, не превращаясь вместе с тем в «занятие». Многие типы человеческой деятельности, не сближавшиеся ранее с игрой ввиду ее репутации чего-то несерьезного, стали рассматриваться как разновидности игры. Не избежало этой участи и поэтическое творчество. Автор стал восприниматься как субъект, играющий в творение мира, а творение мира, в свою очередь, как «высокую игру».

Фундаментальными работами, в которых исследованию игры уделяется преимущественное внимание, являются труды И.Хейзинги «Homo Ludens» и М.Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса».

Голландский культуролог рассматривает игру в ее исторической изменчивости как со стороны содержания, так и формы. Для него игра – важнейший род человеческой деятельности, существенный фактор культуры. Несколько иной аспект игры исследует русский филолог. Игра для него – необходимый компонент карнавала, а карнавал – важнейшая форма проявления народной культуры. В карнавальной игре происходит отказ от общепринятых норм и условностей, возникает особое настроение праздничности, веселости, легкости. Тем самым подчеркивается полное слияние игры и жизни: «...в карнавале сама жизнь играет, а игра становится самой жизнью» [1, с.13].

В современном литературоведении все большее внимание сосредотачивается на «игровом» аспекте художественного произведения. В 90-х годах опубликованы исследования, в которых обосновываются обращения к понятию игры (работы Т.Денисовой, Н.Ефимовой, М.Липовецкого, О.Сачик). Украинские и российские ученые рассматривают игру как практический способ отхода от давления традиционных форм существования, общепринятых ценностей, установленных правил как жизненного, так и творческого «поведения».

Во второй половине XX века появились работы (К.Исупов, С.Столович, М.Эпштейн и др.), в которых большое внимание уделялось художественной игре. Были выявлены ее типичные черты: двойственность, единство условного и реального, стихийного и преднамеренно организованного. Последнее предусматривает наличие правил. Эти правила, однако, не предписываются серьезной реальной действительностью: они возникают вследствие склонности самой игры к формализации. Это позволяет их изменять, координировать, систематизировать. Игра, не участвуя в жизненных событиях, позволяет «моделировать» («проигрывать») важнейшие жизненные ситуации и таким образом приобретать опыт, имеющий жизненное значение. В связи с этим любопытную мысль высказывает М.Эпштейн. Он различает два вида игры, имеющих, по его мнению, принципиальное различие, которые он определяет как «play» и «game». «Play» – это свободная игра, не связанная с условленными заранее правилами. «Game» – напротив, организованная по жестким правилам игра [2, с.281].

О.Сачик обращает внимание на точки соприкосновения игры и художественного творчества. Согласно мнению этого автора, литературу следует «рассматривать как игру фантазии или воображения художника, прозаика, поэта» [3, с.4-5].

Своего рода образчиком литературного произведения, в основе которого лежит игровой принцип, является «Пушкинский Дом» А.Битова.

Игра в нем, во-первых, является предметом изображения. Она овладевает главным героем романа – Левой Одоевцевым, постепенно становясь его сущностью. Игра, являясь, по мнению Хейзинги, крупнейшего в этой области авторитета, «сопровождением, приложением, частью жизни» [4, с.17], превратилась для Левы в абсолютную реальность. Лева Одоевцев – ученый-литературовед, занимающийся русской литературой, в частности, А.С.Пушкиным и его окружением. Еще в самом начале ученой карьеры героем овладевает мысль стать великим ученым, и ему «казалось тогда, что на голове у него черная академическая камилавка». «Как отец, но покрупнее, чем отец» [5, с.21]. Но это был только начальный, «детский» период «большой игры». Лева переживает разные ее этапы вплоть до самого рокового – игры в «кто кого», по правилам которой необходимо во что бы то ни стало избежать поражения, а для этого идти на все, в том числе и на предательство.

Во-вторых, игрой становится творческий процесс. Текст произведения возникает как результат «игровых» отношений между читателем и автором с одной стороны, автором и героями – с другой.

Обратимся к оппозиции «автор – читатель», в которой удельный вес игры представляется весьма значительным. Заметим, что анализ игровых отношений «по аспектам» (автор – читатель, автор – герой) является, конечно, несколько искусственным, поскольку возникает как особенный в результате научной абстракции, в тексте же эти аспекты соприсутствуют и взаимно друг друга осуществляют.

Выходя за рамки изображаемого события, автор обсуждает свои творческие проблемы с читателем, вызывая его на ответные («про себя») реплики. Он рефлектирует на свои писательские проблемы «в присутствии читателя»: «рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, мы многое, по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все эти вещи взаимноизвестные из опыта автора и читателя» [5, с.16]. В одном из интервью писатель сказал: «...восприятие литературы всегда стоило определенных усилий, вплоть до физических. Это духовный труд,

на определенном этапе равный писательскому. Писатель переживает его однажды и не может пережить повторно. Произведение рождается в читателе в той же мере, как и музыка в исполнителе. Читатель – исполнитель и слушатель одновременно» [6, с.6]. Используя эффект присутствия, автор вмешивается в событие рассказывания: он вмешивается в ход повествования, когда полагает, что нужно помочь читателю разобраться в событиях, хотя чаще всего, наоборот, запутывает. Он предлагает читателю возможность по-разному «прочитать» основные ситуации романа, называя эти прочтения «версиями и вариантами». И становится непонятным, какая версия является истинной, но для автора это и не важно. «Какой из вариантов точнее? Нам кажется, что второй, ибо он реальнее. Зато первый вариант истиннее. Но если мы употребим слова «реальный» и «истинный» в такой относительной форме, то – о чем еще говорить?» [5, с.117]. Ему интересно не только то, что происходит, сколько то, как это происходит и какие последствия для дальнейшего развития судьбы героя может иметь происходящее. И хотя автор предлагает несколько версий с различными деталями, результат все равно будет то же, потому что основные обстоятельства всегда направляют события к сходным финалам: «...возможно, что другая совсем семья у нашего героя. И автору очень хочется изложить сейчас второй вариант семьи Левы Одоевцева, такой вариант, в результате которого, как кажется автору, получится ровно такой же герой» [5, с.51]. Согласно закону читательского восприятия, подлинной является первая версия, но ряд последующих разрушает все то, к чему он успел привыкнуть. И вот в этой ситуации «партнер» автора, т.е. читатель, осуществляет свой собственный выбор: войти в игру, принять в ней участие или остаться вне. Однако, сам того не осознавая, читатель уже вступил в игру, принял ее жесткие законы и подчинился им. «Игра, которую затеял Битов, требует именно неравноценности вариантов, наращивания сложности, каждый следующий номер должен быть смелее, неожиданнее, головокружительнее предыдущего» [7, с.449]. В этом проявляется творческая свобода игрока-субъекта: авторская игра вне правил человеческого бытия, она выше их, подчинена законам, царящим в ином – высшем мире. С точки зрения читателя, эта игра – хаос, «игра вслепую», в которой автор-игрок не несет ответственности ни за что и ни перед кем.

Герои романа вовлекаются в игру, идущую или вовсе без правил или же эти правила постоянно меняются. Читатель иногда даже не может понять, кто есть кто в романе. Автор жалуется на смешение действующих лиц: «Они и сами перестают знать о себе, кто они на самом деле, да и автор не различает их, чем дальше, тем больше, а видит их уже как сгустки, различной концентрации и стадии, все той же категории, которая и есть герой» [5, с.218].

Перед нами магический театр, где автор – маг, манипулирующий своими куклами и их судьбами, обладающий всевластностью и всеведением. Автор играет героем как марионеткой, лишает его нравственной основы и будущего, и перед читателем предстает получеловек – полукукла, ждущий, когда приведут в действие его механизм. Режиссер игры все же испытывает некоторую неловкость от своей незаслуженной вседозволенности: «Нам скажут, что герой нематериален, фантом, плод сознания и воображения, и потому автор не несет перед ним той же ответственности, как перед живым, из плоти и крови, человеком. Как раз наоборот!» [5, с.342]. И тогда автор меняет свое отношение к герою, сочувствует, жалеет, разделяет его мучения: «...муки его лишь отчасти их собственные муки, а в значительно большей степени это муки другого человека, жестокого и несправедливого» [5, с.343]. Но автор не довольствуется игрой со стороны, он решает приблизить бытие героя к своему, совмещая время героя и свое собственное, тем самым разрушая пространственные и временные рамки игры, ее условность. Субъект игры встречается с объектом в повествовании, и тут происходит невероятное: они меняются местами, ролями в этой игре. Становится непонятным: то ли автор играет с героями, то ли они с ним. «Когда я, нарушив правила литературного тона, сам оказался в повествовании в качестве героя, то впервые как бы поколебалась со-

циальная структура Левы, он оказался социально нарушен, а взглянул на меня взглядом Митишатьева, каким тот смотрел на Леву» [5, с.347].

В результате автор из играющего субъекта становится тем, с кем играют (объектом), а игра оказывается ситуацией, вышедшей из под контроля. А.Битов, таким образом, с одной стороны, предельно рационалистичен: он «распоряжается» своими героями, рассчитывает варианты и т.д. Играя, он сам пребывает «вне игры». С другой – сам постепенно вовлекается в игру, подчиняясь невольно тем правилам, т.е. условностям, которые сам же и установил. Они распространяются теперь на него самого, овладевают им. Автор как бы утрачивает инициативу, позицию венаходимости, перестает контролировать игру. Писательская деятельность становится событием с непредсказуемым финалом, т.е. весьма рискованным «предприятием». Усилия автора направляются на то, чтобы снова овладеть игрой, овладеть теми законами, которые, будучи инициированными творческой волей автора, подчинили себе его самого. Тем самым А.Битов открывает – прежде всего для самого себя – своеобразие писательской ответственности.

В письме к А.Бестужеву А.Пушкин пишет: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным» [8, с.290]. Поскольку речь шла о «Горе от ума», то А.Пушкин прибег к выражению «драматический писатель», что, разумеется, не означает, что эпический или лирический писатели должны быть судимы по законам, признанными не ими, а самим судьей. Это утверждение Пушкина понимают обычно в значении их фактического признания и последующего «неосуждения»: «Следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова» [8, с.290]. Мысль А.Пушкина более глубокая: речь идет о том, что писатель подпадает под действие признанных им законов, что его деятельность «подзаконна», и между автором и законами, от исполнения которых он не может уклониться, возникают конфликты. Эта деятельность может становиться подотчетной сознанию деятеля, он может рефлексировать на нее, вследствие чего событие творения становится «ситуативным»: оно может быть чревато конфликтами. Автор может попытаться отвести от себя ответственность, признав творчество как разновидность игры. С таким случаем мы имеем дело: А.Битов как автор «Пушкинского Дома» – это разновидность «Homo Ludens».

РЕЗЮМЕ

Статтю присвячено проблематиці гри в сучасному постмодерністському дискурсі. У статті розкривається зміст концепту гри у романі А.Бітова «Пушкінський дім». Увага привертається, зокрема, реалізації у наративної структурі роману «моделі» театру як одного з розповсюджених архетипів творчого процесу.

SUMMARY

The article deals with problem of play in the post-modern narrative discourse. The article studies the content of the play-concept in the novel «Pushkin's house» by A.Bitoff. In part, model of theatre as one of archetypes of creative process is analyzed.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с.
2. Эпштейн М. Игра в жизни и в искусстве // Эпштейн М. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX-XX в. – М.: Советский писатель, 1988. – С.276-303.
3. Сачик О. Категорія гри в творчості Джона Фаулза: Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.04 / Київський Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997.
4. Хейзинга Й. Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры. – М.: Прогресс-Академия, 1992. – 464 с.

5. Битов А. Пушкинский Дом. – Издательство Ивана Лимбаха Санкт-Петербург, 1999.
6. Разные дни человека // Лит. газ. 1987. 22 июля (№ 30). С.6
7. Савицкий С. Как построили «Пушкинский Дом» (Досье) // Битов А. Пушкинский Дом. – Издательство Ивана Лимбаха Санкт-Петербург, 1999.
8. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 т. т. – Т. 10. – М.: Наука, 1964.

Надійшла до редакції 01.06.2005 р.

УДК 81'367. 332=161.1

ОТРИЦАНИЕ КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ БЕЗЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРОБЛЕМА ИНВАРИАНТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ)

Н.П.Курмаева

Негация в составе безличных предложений (далее – БП) системно стала осмысливаться начиная с «Синтаксиса в научном освещении» А.М.Пешковского, где впервые отрицательные предложения представлены как самостоятельный подтип в связи со спецификой отрицания: принимать в определенных конструкциях вместо подлежащего в именительном падеже управляемое существительное в родительном падеже [12: 365-367]. Самостоятельную, неоднородную, дробную по составу негационную группу в пределах БП выводит академическая грамматика 1954 г. [Т.2, §1046-1050], объясняя необходимость вычленения такого разряда тем, что «существует особый тип безличных предложений, в которых обязательным элементом их структуры является конструкция, выражающая отрицание». К ним были отнесены предложения со словом *нет*, с глаголами *быть* и *стать* и некоторыми другими в безличном значении, а также две разновидности именных конструкций с отрицательной частицей *ни* в их составе [5: 40-42]. Данная классификация неоднократно пересматривалась с целью расширения, сужения или уточнения подгрупп [1; 9; 14; 15; 17 и др.], либо с целью осмысления «возможности лексического наполнения отрицательных структурных схем простого предложения в современном русском языке» [4: 80], либо с целью обоснования их иного конструктивно-синтаксического статуса [6] или иных, чем в традиции, системных связей [16: 261-265]. Но то, что отрицание в ряде случаев является «визитной карточкой» безличности, вряд ли может оспариваться в настоящее время (здесь уместно вспомнить идею о взаимосвязи между семантикой безличности и ее достаточно частыми маркерами – частицей *не* и постфиксом *-ся*, обоснованную Н.А.Луценко в [10]). Более того, негация в сфере БП имеет свое специфическое проявление, реализуясь в исходном образце и его модификациях.

В данной работе, ориентированной прежде всего на разграничение предикатных словоформ по степени их синтаксической специализации и на выявление закономерностей их функционирования, делается попытка системного рассмотрения БП с обязательным пег-элементом в составе предикативной основы, выраженной специализированной для позиции главного члена БП словоформой или ее функциональным эквивалентом, т.е. в структурных схемах $V_{f3s\ neg}$ и $\approx V_{f3s\ neg}$. Поскольку специализированной словоформой для названной позиции мы исходно определяем безличную форму глагола, то целесообразно анализ отрицательных БП начать с глагольного подвида, который считаем базовым, ядерным в поле безличности. В лингвистической литературе отрицательным БП с глагольным главным членом уделено достаточно внимания. Анализ фактического материала свидетельствует, что центром отрицательно-безличных предложе-

ний русского языка следует признать конструкции типа *Отца нет дома; Несчастья не случилось; Желающих не находилось; Весной отца не стало* (М.Зощенко). Для этого у нас есть, по крайней мере, четыре основания.

Основание первое. Предложения указанного типа не имеют безличный неопределенный коррелят (в отличие, например, от возможных оппозиций *Уже светает – Еще не светает; Мне сладко спится – Мне не спится; Воды прибавилось – Воды не прибавилось* и др., где отрицательное предложение является результатом обычного «применения оператора отрицания к исходному утвердительному» [11 : 104]), что свидетельствует о наличии в их структуре «конструктивного отрицания» [14 : 7], т.е. налицо синтаксически обусловленная негация.

Основание второе. При трансформации большинства из них в отрицательные личные предложения обнаруживается отчетливое различие в значениях. Сравним: 1) *Отца не было дома* (= 'отсутствовал в это время') – *Отец не был дома* (= 'не приходил, не появлялся'); 2) *Несчастья не случилось* (= 'никакого, которое могло бы случиться') – *Несчастье не случилось* (= 'то, которое ожидалось'); 3) *Желающих не находится* (= 'никаких') – *Желающие не находятся* (= 'из тех, что известны'). И хотя, как отмечается в литературе, «система языка допускает синонимию предложений: *Препятствий не существует – Препятствия не существуют; Туристских маршрутов не значится – Туристские маршруты не значатся*» [2 : 36], та же система языка стремится дифференцировать, развести их в специфике значений. Потому вряд ли возможно во всех случаях однозначно квалифицировать подобные оппозиции как абсолютные синтаксические синонимы. Например, в парах предложений: *Несогласные в зале не присутствовали* и *Несогласных в зале не присутствовало* смысловые различия могут лежать в сфере денотации прежде всего, а затем – в сфере синтаксиса. В личном двусоставном отрицается факт самого присутствия в зале имеющих место несогласных (они могли находиться за пределами зала, например, стоять в пикете под зданием). В безличном предложении актуализируется другой смысл: 'среди присутствующих имеет место полное единство взглядов по всем вопросам'. Или, например, этикетные правила коммуникации диктуют предпочтение безлично-отрицательной конструкции перед личной в случаях необходимости засвидетельствовать неприсутствие субъекта: вместо *Я не буду на собрании* говорят *Меня не будет на собрании* (дополнительный смысл: 'это от меня не зависит'). Тонкие различия между экзистенциальными личными и безличными коррелятами (в сравнении их в финском и русском языках) выявляет М.Лейнонен в [8], сопоставляя пары: *Я (нарочно) не буду на вашем концерте – Меня не будет на вашем концерте* (фактор «контроль»); *Мороз не чувствовался – Мороза не чувствовалось* (фактор «пресуппозиция существования»); *Иванов не был на лекции – Иванова не было на лекции* (фактор «позиция субъекта / наблюдателя») и др., т.е. имеет смысл говорить о значительном разнообразии различительных признаков между соответствующими парами и о необходимости дифференцированного подхода к ним.

Основание третье. Ряд контекстов имеет единственно возможный отрицательно-безличный вариант и не поддается трансформации в отрицательно-личный, через ступень коррелируя только с утвердительными личными образованиями как синтаксические антонимы и как члены одной межсхемной деривационной парадигмы: *Времени уже не осталось – Время еще осталось; У него нет образования – У него есть образование*. По этой причине совершенно справедливо исследователи усматривают в конструкциях с *нет* ядро «среди предложений с конструктивным отрицанием» [14 : 9]. Ранее мы уже доказали, что *нет* – полноправный член парадигмы глагола *быть*, единственно возможная его форма в настоящем времени индикатива [7].

Основание четвертое. У ряда безлично-отрицательных предложений иных синтаксических соответствий не образуется. Они представляют собой единственно возможную конструкцию, как, например: *Весной отца не стало; Этого нам только не-*

доставало, полученную, по всей вероятности, методом свободного заполнения сформировавшейся модели $V_{f3s\ neg}$. Приведем примеры из художественной литературы: *Легковой машины не оказалось* (В.Инбер); *Денег не станет, нужен сбор* (Н.Гоголь); *В начале летних каникул очень недоставало тети и старика с цветами* (В.Набоков); *Пищи для Николая Леопольдовича ... при жизни князя не предстояло* (Н.Гейнце).

Таким образом, выкристаллизовывается инвариант модели отрицательно-безличных предложений $V_{f3s\ neg} N_2$, обязательным признаком которого являются 1) непереходность и экзистенциальность (в широком смысле) семантики предикатного слова; 2) наличие позиции генитива с субъектным или объектным значением («понижение синтаксического статуса субъектной словоформы» – по В.Плунгяну[13]). Ядро модели составляют негационные дериваты глаголов *быть*, *стать*, *оказаться* и их производные *недоставать*, *предстоять* и др. (перечень не считаем полным). Гипотезу об их возникновении из праславянской связки *есть*, *быть*, *будет*, употреблявшуюся при «наречиях количественных» и родительном разделительном» выдвигал А.А.Шахматов[18 : 469]. В этом процессе ученый увидел факт возникновения и укрепления безличных конструкций с генитивом и отрицанием как особого разряда БП. В дальнейшем список глаголов, втянутых в функционирование в отрицательно-безличных конструкциях с генитивом, неоднократно уточнялся. Так, А.С.Попов фиксирует около 150 единиц [14 : 14], у Е.В.Падучевой списочный состав так называемых «генитивных глаголов» – более 300, и его она не считает исчерпанным в силу широкой продуктивности «вынужденных употреблений» [11 : 107], т.е. не предусмотренных семантическими правилами, возникающих, как нам представляется, в силу действия принципа свободного заполнения модели: схема $V_{f3s\ neg} N_2$ сформировалась на базе экзистенциальных высказываний, а затем ее активно стали использовать в узусе, вовлекая в нее предикаты иных семантических классов, например, с перцептивным компонентом (*Хозяина в доме не чувствуется*). Все остальные семантические разновидности Е.В.Падучева относит к разряду «вынужденных употреблений» и связывает это с «семантическим выветриванием глагола под действием локатива» [там же]. На наш взгляд, в таких случаях на лексическую семантику глагола накладывается семантика синтаксической позиции, обусловленная дистрибуцией, в том числе и локативной, под влиянием чего значение действия частично нейтрализуется (трансформируется в позиции в значение бытия, существования, наличия). Сравним: *Ожидаемой помощи не приходило* (А.Пушкин) = «не было», «не появлялось»; *Не проходило дня без перестрелки* (А.Пушкин) = «не существовало»; *На лице не промелькнуло и тени досады* (В.Шишков) = «не обозначилось», «не проявилось»; *Не продавалось торфу жителям* (А.Солженицын) = «не существовало такого явления»; *Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне* (А.Солженицын) = «не оказалось», «не обнаружилось» и др.

Выявленная исходная структурная схема отрицательно-безличных конструкций $V_{f3s\ neg} N_2$ в узусе динамично и стабильно развивается и имеет ряд модификаций, обусловленных некоторыми закономерностями ее заполнения.

I закономерность: все возрастающая экспансия в структуру модели конституирующих элементов, усиливающих уже имеющееся отрицание и способствующих безличному употреблению не только глагольных форм. Это так называемые *ни-элементы* (термин К.В.Габучан): 1) частица *ни* при генитиве: *Ни минуты в обмене мнениями не пропало впустую* (ТВ, 2003); 2) местоименные слова типа *никого*: *И никого не было на деревянной открытой пристани* (Ю.Казаков); ... *не слышалось никакого звука* (И.Тургенев); 3) сочетания типа *ни одного* при генитиве: ... *глаза его смотрели задумчиво, бесстрастно. Ни одного луча не светило в них* (И.Гончаров).

Данная синтаксическая операция способствует значительному пополнению корпуса глагольных предикатов различных семантических разрядов, способных функционировать в конструкциях с отрицательным генитивом, например: *ни одной тарелки не*

разбилось; ни одного делегата не прибыло; ни лучика не пробивается сквозь толщу облаков; ни единой машины не мчится по дороге; ни единого существа не показывалось; ни одного человека не вышло и мн.др., при невозможности отрицательно-генитивных конструкций без усилительного элемента.

Таким образом, в ряде случаев следует говорить о *ни*-элементе в составе отрицательно-безличных предложений с генитивом как обязательном структурообразующем компоненте, а о самом предложении как модификационной разновидности схемы $V_{f3s\ neg} N_2 \rightarrow V_{f3s\ neg} \text{ни} N_2$.

II закономерность: сформировавшаяся модель способна заполняться не только специализированными для данной позиции словоформами – безличной формой глагола V_{f3s} , но и ее функциональными эквивалентами $\approx V_{f3s}$ – краткими формами страдательных причастий среднего рода и краткими формами адъективов, т.е. словоформами неполной синтаксической специализации. Список кратких адъективов, способных функционировать в модели с генитивом и отрицанием замкнут («лексически ограничен» в терминологии – К.Габучан): *видно, заметно, нужно (надо), слышно, известно*. Список кратких страдательных причастий, могущих выдвигаться в предикатную позицию в БП исследуемого типа, представлен с достаточной полнотой в указанной работе Е.В.Падучевой и насчитывает 62 причастных словоформы. В свое время В.И.Трубинский экспериментально доказал, что модель «страдательно-безличного оборота с причастием-сказуемым», которая «включает в себя в качестве своего структурного компонента слово *один* при отрицательно-усилительной частице *ни*, характеризуется свободным образованием безлично-предикативного причастия от всякого переходного глагола совершенного вида» [17 : 191]. Нам этот процесс представляется, как выдвижение полифункциональной словоформы (краткой формы причастия) в сформировавшуюся позицию главного члена БП в качестве функционального эквивалента безличной формы глагола, усиленной соответствующим «катализатором безличности». Такая трактовка позволяет нам утверждать, что предложения с краткими страдательными причастиями в составе отрицательных БП, а также с краткими адъективами – это не иная модель, а модификат исходной структурной схемы $V_{f3s\ neg}$, в которой позицию безличной формы глагола занимает ее функциональный эквивалент, т.е. $\approx V_{f3s}$ с тем же конструктивным отрицанием, что присуще исходному образцу.

Словоформы неполной синтаксической специализации, как показывает многочисленная выборка, не образуют такой модели, которая не была бы характерна для конструкций с глагольным предикатом. Сближаясь с глаголом и функционально, и семантически, исследуемые словоформы, выдвинутые для выполнения указанной функции, могут, как и глагольные словоформы, выступать в двух ипостасях: 1) принимать *нег*-элемент как простое негационное осложнение модели (без генитива), например: *На даче было не топлено и оттого неуютно* (М.Серов); 2) встраиваться в сформированную модель $V_{f3s\ neg} N_2$, где «негация выступает как фактор, обуславливающий безличность» [17 : 189]: *Волнений пока не замечено* (А.Солженицын); *Не было слышно смеха и песен* (В.Гроссман). Как и исходная, базовая, модель $\approx V_{f3s\ neg} N_2$ активно принимает конституирующие элементы, усиливающие уже имеющееся отрицание, т.е. *ни*-элементы: *Не примято ни травиночки; Не видно ни зги* (погов.); *Разрушено уже почти все, но взамен не создано ничего* (А.Чехов).

Таким образом, модификат-структура наделена теми же полномочиями в отношении *ни*-элемента, что и исходная.

III закономерность: наблюдается регулярный эллипсис отрицательного экзистенциального безличного предиката в модификат-структурах, т.е. узуальное развитие модифицированной модели $V_{f3s\ neg} N_2$ с усилением отрицания (с *ни*-элементом) в модели эллиптического типа, где эллипсис предикатного компонента природно предопределен (ср. понятие «эллипсиса» у П.А.Леканта: «это сокращение глагольного словосочетания в предложе-

нии, устранение глагольного компонента (без возмещения его в контексте)» [9 : 143]): опущение экзистенциальной глагольной словоформы не только не меняет значения предложения, но и не создает смысловой неполноты, в связи с чем активно используется в не-отрицательных конструкциях, например: *Отец за работой; Спектакль о красивой любви; У меня к вам дело; На лице есаула – глухое отчаяние* (М.Шолохов).

На наш взгляд, вполне закономерно видеть подобную структурно-синтаксическую операцию по опущению отрицательно-экзистенциального предиката на стадии формирования явно не исходной, деривационной модели, часто представляемой как **НИ** N_2 : *Ни звездочки на небе; Вокруг – ни звука; За душой ни копейки; Ни луны, ни звезд... Ни контуров, ни силуэтов, ни одной мало-мальски светлой точки...* (Чехов). Предлагаем именовать такие предложения отрицательно-генитивными безличными. Эллиптический вариант можно усмотреть и в структурах типа *Глядь, Марфутки уж ни в сенах, ни на крыльце* (П.Бажов); *Покоя – ни днем ни ночью* (ТВ, 2004); *Прогресса – ни в чем; Помощи ниоткуда*. Их, в отличие от предыдущих, уместнее называть безличными генитивно-отрицательными.

Образование тех и других узуальных конструкций трудно не связать с имеющими наиболее широкое употребление отрицательными безличными предложениями (нередко с количественным приращением) двух разновидностей: 1) предложения с *ни*-элементом при генитивной словоформе или ее присловном распространителе; 2) предложения с генитивом и *ни*-элементом при другом (обстоятельственном или объектном) компоненте структуры отрицательно-безличных конструкций. Тем более, что конструкции первой группы иногда сталкиваются в одном контексте с эллиптическими, демонстрируя структурный параллелизм: *Никого, похоже, нету. Никого кругом* (А.Платонов); *У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток* (А.Чехов); *Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа* (Н.Гоголь). Вторую группу предложений соотносим с отрицательными БП, в которых *ни*-элемент маркирует не генитив, а другой член предложения: *Когда мы вернулись, Саши уже не было ни в доме, ни во дворе* (ТВ 2004); *Отпуска не получилось ни летом, ни зимой* (К.Симонов); *Различий не обнаружено ни в чем* (В.Токарева). Сравним: *Саши – ни в доме, ни во дворе; Отпуска – ни летом, ни зимой; Различий ни в чем*.

В лингвистической науке к названным безглагольным узуальным образованиям отношение разное: вторая группа еще не попала в поле зрения ученых и не нашла своего места в синтаксической системе языка, о первой группе, наоборот, высказано много достаточно противоречивых мнений. Предложения типа *Ни звука* продолжают квалифицировать по-разному. В современной вузовской учебной литературе вслед за грамматикой 1954 г. их обычно относят к особому виду безличных предложений – безлично-генитивных [3 : 177]. Как самостоятельную разновидность односоставных именных предложений – генитивные отрицательные предложения характеризует их П.А.Лекант. В классификации структурных схем В.А.Белошапковой они не представлены, поскольку признаны непервичными, производными. Наоборот, обоснование целесообразности рассматривать конструкции схемы *Ни* N_2 в качестве исходной структурной схемы дает Русская грамматика [15 : 342] (а также см. [4 : 87], где утверждается, что «сочетания НИ с родительным падежом имени не могут рассматриваться как неполные реализации какой-либо из отрицательных схем»). Ю.С.Степанов категорически отвергает какую-либо связь между названными моделями и усматривает в ряду *Ни души, Не было ни души, Не будет ни души* «всего лишь межсхемные, т.е. с точки зрения структуры предиката – второстепенные, а подчас и случайные отношения (случайные оппозиции)» [16 : 262].

На наш взгляд, не видеть никакой связи между предложениями *Нет ни души* и *Ни души* нелогично уже хотя бы потому, что и синтаксически, и семантически они близки и явно родственны. Задача – выявить характер этой связи. А логика подсказывает реляционную связь. Коль в основе и структурной, и семантической организации образова-

ний по схеме *ни* + *генитив* лежит отрицание, которое эксплицитно представлено в генитивной словоформе с *ни*-элементом, то имплицитно оно [отрицание] заложено в позицию главного члена данных односоставных предложений. Структурно-семантическая релевантность отрицательной формы генитива обусловлена обязательностью наличия во внутренней синтагматике предложения предикативного отрицания. А.А.Шевцова видит в предложении *Ни души* формально неполный эллиптический вариант предложения *Нет ни души*, так как, по ее мнению, «родительный падеж с частицей *ни* с неизбежностью относится к глаголу с отрицательной частицей *не*, ибо в русском языке частица *ни*, а также отрицательные местоимения, этимологически включающие ее, употребляются только в отрицательных предложениях» [19 : 96-97]. Это приводит ученого к выводу о том, что «наличие в предложении родительного падежа с частицей *ни* сигнализирует и о наличии в нем позиции глагола с отрицанием *не*» [там же].

Как мы показали выше, в русском языке довольно активно функционируют обе разновидности отрицательных безличных предложений: и модель *Нет* N_2 , и ее модификат *Нет ни* N_2 (в концепции нашей работы это модификат-схемы базовой структурной схемы русского безличного предложения V_{fs} : $V_{fs} \text{ neg } N_2$ и $V_{fs} \text{ neg } \text{ни } N_2$). И только вторая модификационная модель обнаруживает способность к эллипсису предикатного компонента как избыточного, поскольку семантическая идея отрицания инкорпорируется в частицу *ни*, и в языке-функции в силу действия закона экономии средств эллипсированная модель закрепляется как самодостаточная. Но в отличие от А.А.Шевцовой мы видим в этом процессе не просто эллипсис глагольной словоформы, а и вызванный им синтаксико-семантический сдвиг. Регулярный эллипсис полнозначного глагола обусловил переходность на уровне членов предложения: бывший второстепенный член предложения (*ни* + *генитив*) стянул на себя функцию предикатного компонента и выдвинулся в присвязочную позицию главного члена БП, где произошла грамматикализация его нового качества. Это обнаруживается в трех характерных признаках: 1) произошла делексикализация полнозначного глагола и замена его связочным (в форме индикатива настоящего времени – нулевым) 2) бывший второстепенный член стал сочетаться с глагольной связкой *быть*; 2) объектная функция сменилась признаковой; генитивная словоформа с отрицанием стала обозначать состояние: *ни души* = *пусто*; *ни гроша* = *безденежно*; *ни соринки* = *чисто* и т.п. Семантическая схема <таково>. Это позволяет нам квалифицировать предложения типа *Ни души* как полные, эллиптические по происхождению, безличные отрицательно-генитивные, они несут значение состояния окружающей среды или человека, обусловленное отсутствием того, что названо генитивной словоформой, т.е. состояние полного отсутствия некоторой субстанции. Безусловно, они имеют свою модально-временную парадигму. Но, как нам представляется, узואльно происходит омонимическое смешение двух сходных парадигм – парадигмы предложений с НЕТ: *Нет/ не было/ не будет ни души / не было бы / не будь ни души* и без НЕТ: *Ни души / не было ни души / не будет ни души / если бы ни души / пусть ни души*, в которых внешне не различаются формы прошедшего и будущего времени, хотя в первой из парадигм это знаменательный глагол, а во второй связочный, выступающие как омоформы.

Таким образом, исследуемую модификацию можно подвести под схему $\approx V_{fs}$, где присвязочную позицию главного аналитического члена БП занимает комплекс <*ни* + *генитив*>.

Иную модель развития эллиптических построений наблюдаем в генитивно-отрицательных безличных предложениях типа *Отца – ни дома, ни на работе*. Эллипсис полнозначного отрицательного бытийного глагола не ведет к структурно-семантическому сдвигу, а создает явно ощущаемую конструктивную неполноту: отсутствует глагольная словоформа, которая управляет косвенным падежом, с одной стороны, и к которой по принципу падежного примыкания должны присоединяться другие

обязательные распространители с локальным (или иным) значением, с другой стороны. По сути, подобные модификации являются неполными безличными предложениями эллиптического типа с незамещенной позицией главного члена, от которого зависят генитив и второй распространитель с обязательным *ни*-элементом: *Покоя ни днем ни ночью* (РГ); *Справедливости ни там ни здесь* (Ю.Казаков); *Порядка нигде и ни в чем* (ТВ 2004); *Помощи ниоткуда; Дельных предложений ни у кого* (ТВ 2004); *Решений ни на прошлой сессии, ни сегодня, а инвестор не ждет* (ТВ 2003). Их структурная схема отличается от структурного образца предыдущих построений и может быть представлена как речевая модификация схемы $V_{fs\ neg} N_2$, а именно: $N_2 (V_{fs\ neg}) \text{ ни } Adv / \text{ ни } N_{2-6}$.

Таким образом, в современной синтаксистике может быть положительно рассмотрен вопрос не только о наличии в ряде разновидностей БП негации как структурообразующего компонента, но и об их системных связях и взаимоотношениях на внутрисхемном уровне, т.е. на уровне структурного инварианта и его модификаций, позиция главного члена которых замещается словоформами различной степени специализации.

РЕЗЮМЕ

Досліджуються негацийно-безособові речення, у яких негация виявляється як структуроутворюючий компонент. Визначаються закономірності заповнення позиції головного члена в них. Виявляються інваріант і його різноманітні модифікації. Обґрунтовуються їхні внутрішньосхемні взаємовідношення.

SUMMARY

In this article the problem of negotiative-nonperson sentences are investigated. In this variant the negotiation described as a building component. The rules of the fuelling of the position of the sentences' base are defined in it. Also the invariant in its different modification is pointed. The author of the article is trying to complain the point of view on the problem of the invariants' connection and correlation in the sentences.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Арват Н.Н. Безличные отрицательные экзистенциальные предложения в современном русском языке. – Черновцы, 1968. – 43 с.
2. Белошапкова В.А., Шмелева Т.В. Глагольные безличные предложения в синтаксической системе русского языка // Исследования по семантике: Семантические аспекты синтаксиса: Межвуз. науч. сб. – Уфа, 1985. – С. 34-47.
3. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 1991. – 432 с.
4. Габучан К.В. Отвлеченный грамматический образец и возможности его лексического заполнения (на материале отрицательных схем) // НДВШ ФН.-1972. – №1. – С.79-89.
5. Грамматика русского языка. Т.2. Синтаксис. Ч.II. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. – С.5-88.
6. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. – 327 с.
7. Курмаева Н.П. Слово НЕТ в грамматической системе современного русского языка // Лінгвістичні студії: Зб. наук. прац. Вип. 7. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С.36-41.
8. Лейнонен М. Экзистенциальные предложения в финском и русском языках // Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. – М., 2002. – С.164-172.
9. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. – М.: Высшая школа, 1974. – 160 с.
10. Луценко Н.А. О безличности // Восточноукраинский лингвистический сборник. Вып. 7. – Донецк: Донеччина, 2001. – С. 341-353.

11. Падучева Е.В.
12. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – Изд. 8-е. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 432 с.
13. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 384 с.
14. Попов А.С. Русские отрицательные безличные предложения с родительным падежом существительного и проблемы подлежащего // Русский синтаксис. Известия Воронеж. гос. пед. ин-та. Т. 191. – Воронеж, 1977. – С. 5-24.
15. Русская грамматика. Т. II. – М.: Наука, 1980. – 710 с.
16. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. 2-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 312 с.
17. Трубинский В.И. Об одном катализаторе безличности в современном русском языке (На материале страдательно-безличных конструкций с отрицанием) // Исследования по грамматике русского языка. Уч. записки Ленинградского ун-та. Серия филолог. наук, вып. 77. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973, с. 188-196.
18. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. 3-е изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 624 с.
19. Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. – Донецк: Изд-во Донецкого ун-та, 1978. – 124 с.

Надійшла до редакції 26.05.2005 р.

УДК 81'42

ДИСКУРС, РЕЧЕВОЕ СОБЫТИЕ, ЖАНР РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ)

А.Р.Габидуллина

В современной лингвистической литературе мы постоянно встречаемся с концептами «дискурс», «речевое» «событие» и «жанр речи», которые зачастую отождествляются. Как всякое широко употребляемое понятие, они допускают множество научных интерпретаций и поэтому требуют уточнений. Цель нашей статьи – показать сходство и различия в трактовке данных концептов в работах разных авторов; интерпретировать их с позиций дидактической коммуникации.

Дискурс сопоставляется с текстом и речью. Он трактуется как «текст плюс ситуация» [Widdowson, Östman, Virtanen, Лингвистический энциклопедический словарь, Каримова, Красных], причем древние тексты сюда не включаются. Разграничение идет также по оппозиции письменный текст / устный дискурс, что неоправданно сужает объем данных терминов, сводя их к двум формам языковой действительности – использующей и не использующей письмо (Гальперин, Гиндин, Москальская, Дридзе, Тураева, Филиппов, Реферовская и др.). Г.Я. Солганик считает текст единицей речи: «Текст есть не что иное, как речь, если понимать под ней процесс, деятельность, а ее результат, т.е. речевое произведение <...> термин «текст» <...> может использоваться как синоним понятий «речевое произведение», «единица речи» [1]. Для А.К. Михальской дискурс – это самая крупная единица речевого поведения, процесс, который состоит из более мелких единиц – речевых циклов, шагов и речевых актов. Текст – это репрезентация дискурса, т.е. представление его вербальными средствами [2]. В.В. Богданов рассматривает речь и текст как две неравнозначные стороны, два аспекта дискурса. При этом дискурс трактуется широко – как все, что говорится и пишется (речевая деятельность). Текст – это «языковой материал, фиксированный на том или ином материаль-

ном носителе с помощью начертательного письма (обычно фонографического или идеографического). Таким образом, термины «речь» и «текст» будут видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину «дискурс» [3]. М.Л.Макаров считает, что «здесь подчеркивается обобщающий характер понятия «дискурс», снимается ограниченность признаками монологический / диалогический, устный / письменный. Широкое употребление дискурса как родовой категории к понятиям речь, текст, диалог сегодня все чаще встречается в лингвистической литературе, в то время как в философской, социологической или психологической терминологии оно уже стало нормой» [4]. Этой точки зрения придерживаемся и мы. Для нас дискурс – это процесс, протекающий в рамках определенного коммуникативного события и имеющий устную и письменную, диалогическую и монологическую форму реализации.

По мнению В.И.Карасика [5], дискурс допускает множество измерений. С позиций прагмалингвистики он представляет собой интерактивную деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, переплетение моментально меняющихся коммуникативных стратегий и их вербальных и невербальных воплощений в практике общения, определение коммуникативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицитного содержания. С позиций психолингвистики дискурс интересен как развертывание переключений от внутреннего кода к внешней вербализации в процессах порождения речи и ее интерпретации с учетом социально-психологических типов языковых личностей, ролевых установок и предписаний. Психолингвистов интересуют также типы речевых ошибок и нарушений коммуникативной компетенции. Лингвистический анализ дискурса сориентирован на выделение регистров общения, разграничение устной и письменной речи в их жанровых разновидностях, определение функциональных параметров общения на основе его единиц (характеристика функциональных стилей). Структурно-лингвистическое описание дискурса предполагает его сегментацию и направлено на освещение собственно текстовых особенностей общения – содержательная и формальная связность дискурса, способы переключения темы, модальные ограничители (*hedges*), большие и малые текстовые блоки, дискурсивная полифония как общение одновременно на нескольких уровнях глубины текста. Социолингвистический подход к исследованию дискурса предполагает анализ участников общения как представителей той или иной социальной группы и анализ обстоятельств общения в широком социокультурном контексте. Эти подходы не являются взаимоисключающими.

Разные области социально значимого взаимодействия людей обслуживаются разными типами дискурсов, многообразие которых можно свести к дискурсам персональным (лично-ориентированным) и институциональным (статусно-ориентированным) [6]. Лично-ориентированный дискурс представлен в двух основных разновидностях – разговорное и художественное общение; статусно-ориентированный дискурс – во множестве разновидностей, выделяемых в том или ином обществе в соответствии с принятыми в нем сферами общения и сложившимися общественными институтами (политический, деловой, научный, педагогический, медицинский, военный, спортивный, религиозный, юридический и другие виды институционального дискурса). Каждый тип дискурса располагает своим набором жанровых форм. Тип дискурса шире сферы общения, он включает цели, ценности и стратегии соответствующего типа коммуникации, его подвиды и жанры, а также прецедентные (культурогенные) тексты и различные дискурсивные формулы.

Поскольку понятие «дискурс» допускает в научной литературе различные трактовки, то и учебно-педагогический (дидактический) дискурс рассматривается учеными по-разному:

- как учебный, научно-учебный текст (Кожина, Караулов, Гвенцадзе, Полубиченко, Салимовский и др. изучают его лексико-грамматические, структурные, стилистические, когнитивные и прагматические особенности);

- как дидактический текст (Ученова, Шомова), который включает в себя а) тексты сакрального и эзотерического характера, которые в традиционных культурах служат не только для хранения знаний и опыта, но и для духовного воспроизводства личности учителя – как, например, древнеиндийская Бхагавадгита; б) тексты, относящиеся к различным ответвлениям религиозно-нравственной дидактики (поучения), играющие существенную роль во всех культурах; в) фольклорную дидактику (поговорки и пословицы); г) специальные тексты нехудожественного характера, трактующие различные сведения из разнообразных отраслей знания; д) морально-этические трактаты, обладающие поучающим свойством; е) тексты, выступающие в качестве дополнений к разнообразной литературе (от античного комментария к классическому произведению до современных «дополнительно-разъяснительных» жанров задачника или пособия по изучению Библии); ж) различные типы учебников и учебных пособий. Некоторые исследователи в еще большей степени расширяют понятие «дидактический текст», относят к нему любой инструктирующий жанр речи: рецепт врача, кулинарный рецепт и т.п.;

- как учебный дискурс, который понимается как двухкомпонентная структура – учительский / лекторский дискурс и ученический / студенческий дискурс; учебный дискурс здесь трактуется как подчеркнуто интерактивный способ речевого взаимодействия, в противовес тексту, обычно принадлежащему одному автору, что сближает данное противопоставление с традиционной оппозицией *диалог / монолог* [7]);

- педагогический дискурс (Михальская, Ксензова, Мурашов, Мещеряков, Антонова, Филлипова и др.), который описывается как процесс речевого поведения педагога в рамках определенного коммуникативного события. Цель педагогического дискурса – это социализация нового члена общества (т.е. объяснение устройства мира, его норм и правил поведения, организация деятельности нового члена общества в плане его приобщения к ценностям и видам поведения, ожидаемым от ученика, проверка понимания и усвоения информации, оценка результатов). Ценности педагогического дискурса объясняются его системообразующей целью и могут быть выражены аксиологическими протокольными предложениями, т.е. высказываниями, содержащими операторы долженствования (следует, нужно, должно) и положительные ценности. Стратегии педагогического дискурса состоят из коммуникативных интенций, конкретизирующих основную цель социализации человека – превратить человека в члена общества, разделяющего систему ценностей, знаний и мнений, норм и правил поведения этого общества. В.И. Карасик выделяет следующие коммуникативные стратегии: объясняющую, оценивающую, контролирующую, организующую и содействующую [8];

- разновидностью педагогического дискурса Н.Д. Десяева считает учебно-научную речь учителя (русского языка), основной целью которой является организация процесса познания языка, что обуславливает отражение в речи как познавательной деятельности, так и способов ее организации. Основные средства языка, с помощью которых реализуется коммуникативное намерение учителя, – специфическая терминосистема, определенное структурно-смысловое членение текста, система общенаучной лексики, организуемая в соответствии с методическими критериями. К периферийным следует отнести риторические средства привлечения и удержания внимания, популяризации, метатекст, а также некоторые явления устно-речевого синтаксиса [9].

Мы понимаем под дидактическим дискурсом процесс трансляции культурного и духовного опыта, который реализуется в рамках учебной ситуации в форме устной речи учителя или дидактического текста.

Как правило, институциональный дискурс характеризуется функционально-структурной целостностью и входит в определенные устойчивые комплексы, воспринимаемые как ситуации / события. Коммуникативная ситуация (контекст, по Д. Хаймсу) – это коммуникативная рамка речевого произведения, динамический комплекс факторов, регулирующих общение. Так, речевая ситуация «сдача экзамена» определяется взаимообусловленными действиями и состояниями ряда обязательных для нее (студент, экзаменатор) и факультативных (декан) субъектов, включает в себя мотивы, цели, правила, объекты и т.д. Отдельные компоненты этой ситуации последовательно сменяют друг друга, реализуются раньше или позже (назвать номер билета, прочитать формулировку задания, раскрыть содержание билета, ответить на вопросы экзаменатора и пр.), но все они имеют место в момент сдачи экзамена – во время, воспринимаемое как нечто целостное (разговор по мобильному телефону: *-Чем занимаешься? – Экзамен сдаю*). Если мы говорим о ситуации, то всегда находимся как бы внутри нее, в настоящем времени. Параметры коммуникативной ситуации (коммуникативного контекста – по Д. Хаймсу) – 1) адресант (носитель социального, полового, возрастного и т.д. статуса, представитель определенной социально-исторической общности, исполнитель некой конвенциональной роли, субъект некоторого действия, преследующего определенную цель, обладатель определенной картины мира, носитель личностных свойств и субъект сиюминутного психического состояния;), 2) адресат, рассматриваемый в тех же ипостасях; 3) наблюдатель; 4) референтная ситуация; 5) канал связи; 6) общий контекст взаимодействия коммуникантов (речевое событие); 7) место и время, окружающая обстановка; 8) форма коммуникации, в том числе речевой жанр; 9) оценка эффективности речевого события. Важными компонентами ситуации Т.В.Анисимова считает повод, который определяет предпочтительность употребления одного из вариантов жанра речи, настроенность аудитории на общение, наличие или отсутствие запроса на информацию [10].

Ситуация – это внутренняя форма события, т.е. подвергающееся изменению «положение вещей». В событии важно, что оно началось в определенный момент и закончилось, мы можем сказать, что оно *состоялось, случилось, произошло*. Событие ограничено временными рамками. Например, *лекция* начинается в определенное время и продолжается полтора часа. После этого она уже совершившееся событие. События бывают неречевые и речевые. Так, в *лекции* речевой фактор играет решающую роль, а вот на *военном параде* он находится на периферии [11]. Т. ван Дейк [12], В.Е.Гольдин [13], О.Н.Дубровская различают простые и сложные речевые события (СРС). СРС – это события общественного, коллективного характера, планируемые, назначаемые, до определенной степени контролируемые, типичные, повторяющиеся. Сложные события складываются из взаимосвязанных частных событий, а частное событие – из первичных событийных элементов, прежде всего действий и сопутствующих им компонентов деятельности. Так, на уроке (СРС) можно выделить несколько этапов: приветствие, «оргмомент», включающий проверку присутствующих и их готовность к занятию, актуализация опорных знаний, объяснение нового материала, закрепление, подведение итогов урока, задание на дом. Многие из этих простых речевых событий распадаются на отдельные речевые действия. Так, объяснение нового материала может состоять из называния, характеристики, дефинирования, обобщения, конкретизации, вопросов и ответов, интерпретации, формулирования и переформулирования правил.

В когнитивной лингвистике ситуацию и событие можно описать с позиций фреймов, сцен и сценариев (скриптов). Определяя понятие «фрейм», М.Минский указывает, что отправным моментом для его теории «служит тот факт, что человек, пытаясь познать новую для себя ситуацию или по-новому взглянуть на уже привычные вещи, выбирает из своей памяти некоторую структуру данных (образ), называемую нами фреймом, с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней отдельных деталей сделать ее пригодной для понима-

ния более широкого класса явлений или процессов. Фрейм является структурой данных для представления стереотипной ситуации» [14]. Он представлен в виде сети, состоящей из узлов и связей между ними. Если верхние (суперординатные) узлы сети всегда четко определены, поскольку сформированы такими понятиями, которые справедливы относительно предполагаемой ситуации, то на субординатных уровнях имеется множество вершин-терминалов (слотов), которые должны быть заполнены частными данными на основе известной ситуации. Например, к суперординатным узлам во фрейме «экзамен» относятся «экзаменатор», «экзаменуемый», «оценка», «билет», «ведомость», а к субординатным – «шпаргалка», «подсказка», «ассистент» и др.

В работах Р.Шенка используется понятие «сцена» – «структура памяти, объединяющая действия, протекающие в одно и то же время с некоторой единой целью. Сцена дает последовательность обобщенных действий» [15]. Сценарии выступают в качестве обобщенных иллюстраций (примеров) сцен. Сцена состоит из абстрактно-определенной последовательности действий, тогда как сценарий представляет собой частную реализацию сценных обобщений. По мнению В.Я. Шабеса, сцена очень напоминает фрейм М.Минского с той существенной разницей, что «узлы» сцены линейно упорядочены и снабжены целью [16].

Концепт «событие» соотносится со сценариями Р.Шенка и Р.Абельсона и ситуационными моделями Т. ван Дейка. Событие можно описать как сценарий (скрипт) – список простых событий, задающих стереотипный эпизод; это такая репрезентация структуры данных, которая управляет процессом осмысления и позволяет связывать в единое целое смысловые блоки, воспринимаемые из объективной реальности. Сценарий фиксирует знания человека о динамических изменениях, происходящих в мире во времени. Он представляет собой дискретный блок, состоящий из фиксированного набора дискретных действий (упорядоченной суммы «моментальных кадров»), имеющих строгий линейный порядок; имеет он и жесткие дискретные границы (действие-начало и действие-конец).

Речевые жанры (РЖ) или последовательности речевых жанров являются неотъемлемой частью большинства сценариев (ситуационных моделей), описывающих социальное взаимодействие. Из этого однозначно вытекает функция РЖ, которую К.А.Долинин назвал когнитивно-конструктивной. «Знание жанровых канонов («контекстной модели»), – пишет он, – обеспечивает идентификацию жанра получателем (для чего часто бывает достаточно небольшого отрезка дискурса), т.е. ориентировку в речевом событии, в котором он участвует, активизацию соответствующего сценария, хранящегося в долговременной памяти, и, следовательно, настройку на нужную волну, включение соответствующей установки, перцептивной и деятельностной, и, как следствие, возможность прогнозировать дальнейшие речевые действия партнера, дальнейшее развертывание дискурса и адекватно реагировать на него. Для отправителя же речевой жанр – руководство к действию, образец построения речи, соответствующего ожиданиям партнера, т.е. такого построения, которое существенно повышает адекватное восприятие дискурса получателем» [17]. Итак, по К.А.Долинину и В.Е.Гольдину, речевой жанр – это форма речевого события. Сложному речевому событию соответствует гипержанр (гипержанровая форма): урок, конференция, педсовет, заседание методического семинара [правда, В.Е.Гольдин считает, что говорить о «жанре конференции», «жанре митинга», «жанре экзамена» можно, но не принято, потому что такое употребление термина затушевывало бы важное отличие сущности ситуаций простых событий от сложных – А.Г.]; простому речевому событию – речевой жанр (микрообряд, который представляет собой вербальное оформление взаимодействия партнеров коммуникации, т.е. это достаточно длительное общение, порождающее диалогическое единство или монологическое высказывание, которое содержит несколько микротекстовых единиц) – например, объяснение нового материала учителем, ответ студента на экзамене, инструкция по применению алгоритма; субжанр – минимальная единица ти-

пологии жанров речи, соответствующая одному речевому действию, речевому акту (в конкретном внутривидовом взаимодействии он выступает в виде тактики, основное предназначение которой – менять сюжетные повороты в развитии интеракции: вопрос, похвала, просьба, совет, команда, приглашение к доске и пр). [18]. Имена речевых событий и речевых жанров нередко совпадают (например, *беседа* как простое речевое событие и жанр речи), что приводит к некоторым затруднениям в идентификации высказываний как РЖ.

В речевом общении РЖ выполняют следующие функции (К.А. Долинин):

- когнитивно-конструктивную (описана выше);
- интенциональную (служит для опознания коммуникативного намерения собеседника);
- социально-психологическую: строя свое сообщение в согласии с канонами данного жанра, адресант сигнализирует, что воспринимает данную коммуникативную ситуацию как такую, которой соответствует данный жанр, и, следовательно, подает себя как носителя соответствующего статуса и исполнителя соответствующей речевой роли, дает понять адресату, что хочет быть воспринят как ученый, администратор, хозяин дома, принимающий гостей, бизнесмен и т.п. и тем самым предлагает ему роль, соотношенную со своей, т.е. задает «правила игры»;
- социокультурную. Общность стереотипов поведения – важный конститутивный признак социума. С этой точки зрения любое социальное поведение приобретает символическую значимость: если некто ведет себя в общем как любой другой в аналогичных обстоятельствах, если его поведение не выбивается за рамки привычного (хотя и не обязательно общественно одобренного), значит – «свой», «наш».

Итак, жанры речи являются средством формализации социального взаимодействия. Речевой жанр представляет собой стереотип речевого поведения членов данного социума в стандартных коммуникативных ситуациях, «относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказывания» (М.М.Бахтин). Одни РЖ стандартизированы (так, в РЖ *приветствие* или *формулировка правила* говорящий очень мало что может привнести от себя), а другие являются более «свободными», например *замечание*.

Многие ученые рассматривают жанры речи с позиций лингвистики текста [Гвенцадзе, Кожина, Соловьян, Брандес, Разинкина и др.] и функциональной стилистики (Салимовский). Для них РЖ – это устойчивый тип текста (текстотип), образец, модель однородной группы текстов, имеющих характерные для этой группы экстра- и интралингвистические признаки, обусловленные определенным родом речемыслительной деятельности, сферой коммуникации и речевой ситуацией; это «своеобразный алгоритм словесного мышления» (Н.Л.Васильев). Так, модель речевого жанра Т.В.Шмелевой включает в себя семь параметров, первое место среди которых отводится коммуникативной цели, дифференцирующей четыре типа РЖ, далее называются две пары симметричных признаков, соотносимых с автором и адресатом, предшествующим и последующим эпизодами общения. которые дифференцируют РЖ с одного типа коммуникативной целью; параметр диктумного содержания вносит ограничения в отбор информации о мире и вносит дифференциации более частного характера, вплоть до различения конкретных РЖ. Все эти шесть параметров относятся к реальностям действительности и общения, тогда как параметр языкового воплощения прямо выводит РЖ в пространство языка с его сложнейшей дифференциацией языковых средств по требованиям речи [19].

Жанры речи делятся на 1) первичные и вторичные (сложные); 2) чистые и гибридные (наблюдается взаимодействие стилей); 3) моно- и полиадресатные; 4) коллективные и индивидуальные; 5) диалогичные и монологичные (по способу коммуникации); 6) неаргументативные и аргументативные; 7) воздействующие на адресата и информа-

тивного характера; 8) предсказуемые и непредсказуемые; 9) регламентируемые и не-регламентируемые; 10) эмоциональные / неэмоциональные и пр.

Впрочем, более или менее четкая классификация жанров речи пока отсутствует, нет и всеми признаваемых принципов их выделения.

Классификация речевых жанров дидактического дискурса должна, на наш взгляд, строиться в соответствии со стратегиями обучения: стратегиями управления познавательной деятельностью школьников (в них доминирует информативный блок и направлены они на изменение модели мира, систему ценностей и поведение адресата) и дискурсивными стратегиями. Можно выделить следующие типы обучающих стратегий: 1) стратегии преподнесения материала; 2) стратегии активизации учебного процесса; 3) стратегии регулирования и стимулирования дидактического коммуникативного процесса. Коммуникативная стратегия как проективное концептуальное видение субъектом своего дискурсивного поведения, основанное на осознании путей оптимального достижения цели в условиях социальной интеракции и способов их выражения в конкретных языковых средствах, соотносится с методами обучения, причем стратегия и метод сосуществуют как цель и способ ее достижения. Словесный метод и речевой жанр – это способ и средство достижения цели обучения. Так, стратегии преподнесения материала реализуются в речевых жанрах *формулировка* учебной проблемы, *объяснение* особенностей языковых фактов, *дефинирование* и пр. Стратегия активизации учебного процесса имеет жанровую форму *формулировки учебных задач*, различных видов *заданий, учебных вопросов*. Стратегия регулирования и стимулирования учебного процесса может реализовываться с помощью разнообразных эпидейктических высказываний, например *оценки* развернутого ответа ученика (парциальной оценки). Это могут быть и одноактные высказывания (субжанры, по К.Ф. Седову) – *замечание, похвала, одобрение, одобрение, упрек* и пр.

Назначение дискурсивных (прагматических, диалоговых, риторических) стратегий – влиять на разные параметры коммуникативной (учебной) ситуации. Прагматическую стратегию реализуют этикетные жанры речи, использование которых основано на соблюдении принципов вежливости и конвенциональных ролей коммуникантов (*приветствие, прощание, обращение, поздравление* и др.). В соответствии с задачами контроля за организацией диалога применяются диалоговые (конверсационные) стратегии, которые используются для мониторинга темы, инициативы, степени понимания в процессе общения. Особый тип стратегий представляют риторические стратегии, в рамках которых используются различные приемы ораторского искусства и риторические техники воздействия на адресата.

Сделаем некоторые выводы.

1. Дискурс – это процесс, речевая деятельность индивида в рамках определенной коммуникативной ситуации. Он может быть институциональным (статусно-ориентированным) и персональным (личностно-ориентированным). Дидактический дискурс – это институциональный тип дискурса, характерный для образовательной сферы; это процесс трансляции культурного и духовного опыта, который реализуется в рамках учебной ситуации в форме устной речи учителя или дидактического текста.

2. Дискурс протекает в рамках конкретного речевого события (основной единицы коммуникации), имеющего определенную структуру и элементы. Совокупность однородных событий (сценариев) репрезентируется в памяти индивида в виде фрейма, отвечающего за идентификацию в сознании человека той или иной (коммуникативной) ситуации. Так, ситуация «актуализация опорных знаний» включает такие элементы, как адресант-учитель, адресат-группа школьников, событие – урок, референтная ситуация связана с темой предыдущего урока(ов), форма – речевой жанр «беседа», цель – подготовка учащихся к усвоению нового материала.

3. Дискурс как самая крупная единица речевого поведения индивида складывается из более мелких единиц: речевых циклов, шагов (ходов) и речевых актов. Все эти термины используются для обозначения конкретного речевого действия или высказывания как процесса. Речевой жанр как средство формализации социального взаимодействия людей представляет собой «инвариант вербальной коммуникации, характеризующийся общностью тематического содержания, композиционно-структурных, интенционально-прагматических, стилистических и других черт» [19]; это тип текста (высказывания) как продукта. Речевые циклы оформляются как гипержанры, речевые шаги – как жанры речи, субжанры реализуются в конкретных речевых актах.

4. Типология жанров дидактического дискурса строится в зависимости от обучающих и дискурсивных стратегий и тактик.

Исследование жанров учебно-педагогической речи представляется нам весьма перспективным. Требуют дальнейшего изучения типы коммуникативных ситуаций и соответствующих им событий в сфере образования, устные и письменные жанры речи, соответствующие данным типам. Необходимо построить модель жанра речи, включающую столько признаков, сколько необходимо для всесторонней характеристики изучаемого феномена.

РЕЗЮМЕ

У статті дається характеристика основних понять сучасної лінгвістики: «дискурс», «мовленнєва подія», «мовленнєвий жанр» стосовно до педагогічної комунікації. Співвідносяться поняття «мовленнєва подія», «мовленнєва ситуація», «сценарій», «сцена», «фрейм». Показано роль мовленнєвих жанрів як засобу формалізації соціальної взаємодії в межах навчальної ситуації.

SUMMARY

In the article there was given the characteristics of the main notions in modern linguistics: discourse, speech event, speech genre of pedagogical communication. There were correlated the notions «speech event», «speech situation», «scenario», «scene», «frame». There was shown the role of speech genres as means of formalization of social interaction in the situation of studying.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Солганик Г.Я. К проблеме модальности текста // Русский язык. Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. Виноградовские чтения XII-XIII. – М., 1984. – С.175.
2. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория: Учеб. пос. – М., 1998.
3. Богданов В.В. Текст и текстовое общение. – СПб, 1993.
4. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М, 2003. – С. 99.
5. Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. тр. – Волгоград, 2000. – С. 5.
6. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М., 2002.
7. Калинина В.Д. Учебный дискурс в речевой процессуальности учебной коммуникации (психолингвистическая модель): Автореф. дисс. ... канд. фил. наук. – Ульяновск. 2002.
8. Карасик В.И. Характеристики педагогического дискурса // Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики: Сб. науч. тр. – Волгоград, 1999.
9. Десяева Н.Д. Учебно-научная речь учителя и пути ее формирования в педагогическом вузе: Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. – М., 1997. – С. 11.

10. Анисимова Т.В. Типология жанров деловой речи: Автореф. дисс. ... докт. фил. наук. – Краснодар, 2000. – С.12.
11. Дубровская О.Н. Сложные речевые события и речевые жанры // Жанры речи. Вып.2. – Саратов, 1999. – С.97.
12. Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.
13. Гольдин В.Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи // Жанры речи. – Саратов, 1997.
14. Минский М. Фреймы для представления знаний: Пер. с англ.. – М., 1979. – С.7.
15. Schank R.C. Dynamic Memory. – Cambridge, 1982. – P.95.
16. Шабес В.Я. Речь и знание. – СПб., 1992. – С.55.
17. Долинин К.А. Речевые жанры как средство организации социального взаимодействия // Жанры речи. Вып.2. – Саратов, 1999. – С.10.
18. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. – М., 2001. – С.162.
19. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра // Жанры речи. – Саратов, 1997.
20. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К., 2002. – С.330.

Надійшла до редакції 24.04.2005 р.

УДК 81'373.2

ОНИМЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Н.И.Иванова

Новый, функционально-стилистический подход к изучению языка публицистики открыли работы Г.О. Винокура. Но если он трактует язык газеты как средство с преимущественной установкой на передачу информации, то исследователи, шедшие за ним и развившие его идеи, обратили внимание и на другие аспекты. Достойное место в разработке системы исследования языковых средств, создающих особенность публицистического стиля и его жанров, занимают работы В.Г.Костомарова, Г.Я.Солганика, Т.М.Дридзе, А.Н.Васильевой, В.В.Ученовой, В.Г.Усова.

Совершенно неоспоримо, что специфика употребления различных лексических и грамматических категорий в публицистике определяется единством информационной и воздействующей функций этого жанра. Поэтому привлечение в публицистические тексты языковых элементов, выходящих за рамки нейтрального семантического поля, – вполне понятное и естественное положение. На этой особенности языка публицистики акцентировал внимание В.Г.Костомаров: «В условиях газетной коммуникации одна рационализация и тяготение к стандарту не могут обеспечить процесса коммуникации и неизбежно уравновешиваются в органичном единстве стремления к экспрессии» [3, с.30].

Некоторые трудности изучения языка современной публицистики создает то обстоятельство, что публицистический стиль, традиционно считавшийся одной из замкнутых систем, на современном этапе не является столь замкнутым. Можно объяснить это активно развивающейся тенденцией жанровых трансформаций в данной микроструктуре, в которой варьируется соотношение рационально-логических и эмоционально-риторических речевых приемов. Во многих газетных материалах заметно соединение элементов репортажа, комментария, интервью, информации. Такое взаимопроникновение жанров не может не отражаться на общем стиле публикаций. Причиной таких изменений является стремление удержать внимание читателя, что возможно лишь с привлечением языковых элементов, обладающих определенной воздействующей

шей силой; стилистически нейтральная безличная форма повествования не справится с этой задачей. Безусловно, в каждом типе газеты (журнала) проявляются общие языковые принципы публицистического стиля, но дозы и пропорции экспрессии и стандарта, мера интенсивности и качество оценки будут разными. Исследованию языковых элементов-доминант, которые (конечно, вместе с другими средствами) формируют специфику и уникальность современной публицистики, и посвящена предлагаемая статья. Такой значимой единицей являются собственные имена и их образования.

Результаты исследования считаем необходимым предварить несколькими замечаниями. Материалом анализа служили публикации не с хроникальной информацией, в которых уместно использование онимов лишь в одной функции – фактуальной номинации, что не позволяет им показать свой семантический потенциал, а лишь предоставляет условия действовать как одному из регламентированных, стандартизованных элементов языковой структуры. Выбор публикаций был обусловлен и доступностью материала, который должен отражать ориентацию на нейтральную читательскую аудиторию и некоторые языковые особенности своего типа издания. Целью данных заметок не является исследование проблем связанности онимов с типоформирующими факторами издания, степени эффективности онимов, их воздействия на социальные нормы и установки общения и т.п., – все это вопросы, требующие обстоятельного и длительного изучения. Поставлены же более конкретные, но не менее актуальные, следующие задачи: проследить поведение онимов и их образований в рамках текста, ограниченного и вербально, и временем своего бытия, функционирования, отметить их особенности в этих условиях и возможные перспективы изучения сигнификации онимов.

Объектом исследования стали так называемые прецедентные имена. Ю.Н.Караулов их обозначает как «(1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие (3), обращение с которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [9, с.216]. Поэтому отбирались собственные имена, во-первых, знакомые любому среднему члену лингво-культурного сообщества, инвариант восприятия которых входит в когнитивную базу, а во-вторых, обладающие коннотативным значением. При множестве известных в современной лингвистике определений коннотации наиболее емким и прозрачным, не требующим дополнительных комментариев представляется его обозначение как устойчивых признаков выражаемого лексемой понятия, «которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности» [2, с. 159].

Прецедентные онимы в публицистическом пространстве проявляют себя как компоненты в некотором роде спонтанные, не обеспеченные предварительным текстом и не подготовленные к своему появлению другими языковыми элементами (например: «Когда Ю. Рыбчинский начал варганить *зибровщину*, он тут же потерял свое лицо» (Бульвар. – 2002. – №33. – С.10); Зибров – эстрадный исполнитель). Интенсификация ими коннотативных сем во многом обусловлена экспликацией культурных установок, выражающих определенную актуализированную аксиологию. Базу, возможности для этого представляет само публицистическое поле с его специфичными свойствами концентрировать содержание и некую идею, замысел в речевой **мини**структуре.

Эта особенность, проявляющаяся в текстах, неизбежно коротких по причине требований жанра, из языковых ресурсов привлекает такие средства, которые помогли бы автору осуществить сразу несколько задач: 1) передать максимум информации; 2) информация это должна быть представлена в предельно доходчивой форме; 3) актуализировать некую часть сообщения; 4) так как актуализация часто стимулирует оценочность, – возникает задача точного и тонкого выбора маркированных (эмоциональных, экспрессивных и т.д.) конструкций; 5) за счет повышения семантической емкости этих конструкций решается

задача (часто являющаяся основной в некоторых публицистических заметках) типизации; б) она, в свою очередь, может служить основой, базой для реализации семантики самого высокого уровня (если иметь в виду парадигму значений некоторой лингвистической единицы в аспекте проявления ею дополнительных, знаковых смыслов) – символизации. При этом, какой бы ни была тема и жанр публицистического текста, он всегда конкретен и фактуален. Недосказанность, недоговоренность, загадочная неопределенность, – все то, что является сутью и, может быть, наиболее привлекаемым в лирике (к тому же и легко находящим средства выражения в языке как лексическими возможностями, так и грамматическими), принципиально недопустимо в публицистике. Очерк, статья, заметка всегда посвящены конкретному событию или персонажу, и потому домыслы и предположения нежелательны, а открытое выражение субъективного авторского мнения возможно лишь в исключительных случаях.

Столь строгие рамки для публицистического текста, казалось бы, создают все условия для невозможности выполнения еще одной задачи публицистики, едва ли не основной (особенно в современных условиях функционирования средств массовой информации), требующей формирования определенного общественного мнения и психологического влияния на читателя.

Однако в системе языка всегда найдутся конструкции, способные быть реализаторами и конкретного смысла (формальная лексическая номинация), и особой смысловой мотивированности (номинация, уже осложненная свойствами номинируемых объектов). Одними из таких языковых элементов являются онимные слова. Обозначение «онимные слова» позволяет расширить круг лексики, традиционно считающейся онимной. В него могут входить не только собственно *потеп ргоргіа*, но и онимные образования, до сих пор не приобретшие самостоятельного статуса в лексической системе. Такие, как *шварценеггеро-видный человек* (В.Аксенов. Негатив положительного героя), или известное *разгончаровался* из письма П.Вяземского жене: «Я боюсь, чтобы в Петербурге Пушкин не *разгончаровался*: не то, что влюбится в другую, а зашалится, заматается»¹; «Коротич: Я в отличие от других писателей веду целомудренный образ жизни и всегда выбираю узкие подоконники. Евтушенко: чтобы не было искушения? Коротич: чтобы не было *евтушения*» (Бульвар. – 2003. – №24. – С.3.); в заголовке серии публикаций Юрия Роста: «Свободное пространство» (Новая газета. – 2004. – №49. – С.20.).

Онимные образования значимы в любом тексте, но в публицистике их функции становятся более емкими, четкими, а семантика – жестче, потому что они вынуждены реализовывать себя в особых условиях компрессии публицистического текста. При этом, собственные имена участвуют в семантической организации текста, относя сам текст к затекстовому континууму (или реальности), которая и детерминирует его смысловую определенность. В изложении и понимании текста собственное имя является тем кодовым наименованием, которое, опираясь на интерсубъективное восприятие информации, создает соответствие между замыслом автора и представлениями читателя. Глубинный смысл собственного имени, который лежит в основе любого онимного образования, раскрывается в лексической единице адгерентно, но само слово становится уже некоторым самостоятельным материальным знаком. «Если под материальностью мира понимать его принадлежность к объективной реальности, то материальным должен считаться не только физический, но и семиотический мир. ...Специфика семиотического мира заключается в том, что он генетически является продуктом человеческого сознания, а онтологически он независим от человеческого сознания» [5, с. 130]. Семантизация собственного имени происходит иногда столь активно и имя вследствие этого становится настолько самодостаточной языковой единицей, что оно допускает макси-

¹ Цитируется по: Жизнь А.С. Пушкина, рассказанная им самим и его друзьями. – В 2-х тт. – М., 1987.-Т. 2. – С. 263.

мальную вариативность в плане выражения. Вот почему онимные слова, графически обозначенные как апеллятивы, несут на себе вечный отпечаток онима; это, по сути, онимы и есть, лишь в своих вариативных представлениях. Но что является еще более существенным, так это то, что такие новообразования усиливают проявления некоторых конносем в несколько раз. При этом, существенное значение имеет и то, что в публицистических материалах является нормой использование речевых приемов, привлекающих внимание читателя занимательностью не только содержания, но и формы. Подтверждением этого являются многие публикации, в качестве примера можно привести следующие отрывки: *«Мне всю жизнь хотелось сыграть Шарлотту в "Вишневом саде". Так и не довелось. Я смотрю на себя в те первые мои годы в Москве как будто со стороны – Шарлотта из Майкопа. Я думаю, что Шарлотта – это в молодости, это по бездомности. Мне удалось не стать приживалкой и пройти шарлоттство, все-таки сохранив себя, свой характер и независимость. Я очень трудно приживалась в Москве. Я настолько зашарлоттилась, что чувствовала себя бедной родственницей – у Москвы, у театра юного зрителя, у своих друзей, у своих ролей...»* (Л. Ахеджакова // АРТ-мозаика. – 2002. – № 19. – С. 6); *«Теперь есть что почитать и нам – недавно вышел "Шендерович в трех томах". А там полным-полно "шендеризмов"»* (Бульвар. – 2003ю – № 49. – С. 6); *«Лолита всех спрашивала, не видели ли они Александра Цекало. Те ответили, что она своим равнодушием к своему бывшему мужу всех "зацекалила"»* (Комс. правда. – 2001. – № 93. – С. 23); *«Сегодня в Москве царит настоящая сердючкомания»* (Бульвар. – 2003. – № 44. – С. 3); *«Как-то Клара Новикова предложила единицу измерения юмора – один жван. В жванах она специалист – много лет работает в московском театре миниатюр, которым руководит Михаил Жванецкий. Так вот, концерт был в жванов 5 по 12-балльной шкале»* (Бульвар. – 2003. – №47. – С. 2); *«В отсутствие общества мы становимся теленацией. Как я могу быть сопричастен к тому, что делает Путин? Могу только пойти и включить телевизор. Значит, я наблюдаю только телепрезидента. У меня никакого другого президента нет. У меня есть только Телепутин. И этот Телепутин интересен – он нам нравится, он дает ощущение покоя»* (С.Доренко. – Московские новости. – 2004. – №25. – С. 6.).

Признаковость подобных онимных образований обусловлена неразрывной генетической связью имени денотата с особыми качествами денотата. Но более важным представляется другое. Особенностью этих лексических единиц является то, что они заключают в себе и отражение их восприятия носителями языка. Причем, отражение мгновенное, почти совпадающее с моментом речи, не успевшее еще, в силу кратковременности употребления, обрести новыми смыслами и закрепиться в языке. Безусловно, этому способствует и некоторая окказиональность таких ономообразований, но, пожалуй, основная причина их появления – в специфике самого публицистического текста: быстрое реагирование и реакция на события, некоторые ситуации, проблемы и т.д. Острота и меткость публицистических материалов создается такими же острыми, меткими, с большой степенью концентрации идеи языковыми средствами. Если в художественном тексте каждая деталь работает на конструирование «всего потенциала художественного произведения» [4, с. 226], а создание автором картины мира предполагает включение в этот механизм мыслительной деятельности читателя и призвано произвести и з м е н е н и я в системе его личностных смыслов, то публицистический текст выполняет задачу совсем иную: представить читателю то, что он в некоторой степени уже знает и, при этом, таким образом, чтобы «совпасть» с ним на одной волне, чтобы читателю казалось, что именно так он знал и чувствовал, а автор лишь вербализовал его мысли.

Художественный текст – это всегда некоторая граница между читателем и автором, где читатель знает свое место, а автор не может вступить в непосредственный контакт с адресатом. Публицистика – почти общение двух индивидуумов, причем, открытое, незакодированное. Содержание художественного текста «обусловлено определен-

ной интенцией и предполагает поиск автором нужных слов и определенное их взаимное расположение. Текст в связи с этим выступает как сложная система оправдания реальным автором выбора словесного материала. Обусловленность значения слов контекстом делает необходимым учитывать ее все семантические связи целостного текста» [7, с.80]. Публицистический же текст допускает некоторую вольность (в смысле – авторства, возведенного в абсолют, но не «неправильность» и «нелитературность») в использовании и образовании языковых конструкций. (Не случайно именно публицистика первой реагирует и на изменения в синтаксическом строе языка, допуская и разрыв синтаксических связей, и усечение предложений и т.д.) У публицистического текста нет надобности соблюдать требование семантического единства всех элементов, которые бы совместно работали на воплощение замысла. Поэтому использование многих публицистических ономообразований вряд ли возможно в художественном тексте: «*Но ведь «акунизация» всей страны, которую Борис Акунин с самого начала обещал, случилась-таки: всякий порядочный человек теперь должен написать легкий романчик, который и сам он, и соседи его прочтут с удовольствием*» (Бульвар. – 2001. – № 37. – С.9); «*Добровольцы (русские в Югославии на войне 1999 г.) уверены, что все эти мирные инициативы человека, **Который Хотел Как Лучшее**, – есть сигнал к большой кровавой в войне*» (Комс. Правда. – 1999. – № 103. – С. 4); «*Материально сына я, конечно, опекаю, а вот морально стараюсь не давить, чтобы не "загазманил"*» (О. Газманов // Бульвар. – 2003. – № 31. – С.8).

«В художественном произведении автор описывает события в соответствии со своей концепцией мира, изменяя существенные характеристики времени и пространства» [3, с.60] (разрядка наша – И.Н.). В образной интеграции художественного произведения как единого целого важную роль играют различные сдвиги и изменения времени и пространства, – они часто служат актуализаторами смысловых элементов художественного текста. В публицистическом тексте такой хронотипной многомерности, объемности нет, потому что он не рассчитан на перспективу. Публицистический текст фиксирует внимание на том, что уже *de facto* отражено в сознании читателя, который причастен бытию, собственное имя при этом является знаком, детерминирующим некое скрытое, подразумеваемое (а иногда и эксплицитно выраженное) значение во вполне реальном времени и во вполне конкретном геополитическом, культурном, этническом и т.д. пространстве. Оценка или характеристика денотату не дается ни прямая, ни косвенная именно потому, что автор публикации уверен в совпадении фоновых знаний своих и читателя и в совпадении предполагаемого минимизированного представления о собственном имени, – т.е. апелляция к ним должна быть понятна без комментария и расшифровки. Но оценочность есть в самом языковом знаке. Г.Я. Солганик, говоря об особенностях публицистического стиля, одной из главных называет «социальную оценочность языковых средств» [8, с. 11]. В этом отношении интересно интервью М. Захарова, рассказавшего о замысле новой постановки в Ленкоме о гениальном русском композиторе XIX в., добившегося признания в Италии и получившего там диплом, которого до него удостоивался лишь Моцарт. На вопрос журналиста: «Как фамилия композитора» – Захаров ответил: «*Вообще-то сегодня она не слишком подходит для театральной афиши. Березовский. Нам, думаю, придется менять фамилию героя. Может, на Берестовского или вроде того*» (Семья. – 2002. – № 46. – С.2). Здесь восприятие значения имени рассчитано на абсолютную семантическую компетенцию читателя и его способность к пониманию как интерпретативной активности. Следующие примеры это ярко демонстрируют: «*Вы преуспевающий композитор, у вас есть все: деньги, слава. Эдуард Ханок: Да, я был в полном **Кобзоне***»; «*По закону волны, который я открыл человечеству, рано или поздно всем поп-звездам приходит **Ханок***» (Бульвар. – 2004. – №38. – С. 11.).

Реализацией понимания (иначе – способности осмыслить, постигать значение чего-либо) как процесса двустороннего является отсылка от текста к затекстовому континууму, детерминирующей смысловую определенность текста. Несмотря на то, что знания коммуникантов различаются и полнотой, и глубиной, автор публицистического материала учитывает уровень внелингвистической информированности реципиента и его возможный лингвистический опыт. И чем больше референционная и коннотативная согласованность адресанта и адресата, тем большая глубина понимания текста. И используемое собственное имя в таких текстах выполняет чрезвычайно ответственную функцию центробежного элемента, концентрирующего его содержание, как, например, в следующих случаях: *«Крупнейшие финансово-промышленные группы хоть и обладают большим влиянием и возможностями, но гарантий их полного контроля над страной нет. Появится новый "Ельцин", обличитель олигархов, и события могут принять революционный характер»* (АиФ. – 2003. – № 25. – С.4); *«...прежние и будущие Майки Тайсоны формировались не в классических спаррингах, а в уличных потасовках, где умение отключить противника точным ударом в челюсть ценится не меньше, чем знание Библии»* (Бульвар. – 2002. – № 48. – С.11); *«Всі колишні кравчкісти враз покучманіли»* (Пост-поступ. – 2000. – № 23. – С.2). Коннотация онимов, имеющая здесь концептуальную природу, есть результат эксплицирования дескриптивных признаков, отражающих фоновые знания членов лингво-культурной общности. Но при этом, коннотация становится и оценочной: представляет собой результат вербализации некоего квалифицирующего признака.

У онимов публицистического использования так же, как и у онимов любой иной сферы употребления, существуют различные степени устойчивости коннотации и разнообразные связи между основным, денотативным значением и приращениями смысла. Само понятие «устойчивый» предполагает градуальность, связанную со степенью вхождения определенной характеристики в семантическую структуру языковой единицы. Так, если одни онимы и их образования занимают вершинное положение на шкале «устойчивая коннотация», то другие стоят последними в этом ряду, допуская реализацию довольно широкого спектра созначений. К первым можно отнести следующие онимы: *«Меня история помощи мафиози больной женщине не шокировала. Если бандиты играют в Робин Гудов, пусть играют, может быть, когда-нибудь эта личина станет их лицом»* (Б.Васильев. – Общая газета. – 1999. – № 24. – С. 13); *«Евгений Ваганович Петросян, при всем его профессионализме, сколько ни надевал маски и носы, Райкиным не стал»* (Бульвар. – 2002. – № 32. – С. 10); *«Немудрено, что на этом фоне ностальгическим начинает всплывать героика прошлого: из широких штанин школьной литературной программы по новой извлекаются краснокожие паспортины железных Ракметовых и неггибаемых Корчагиных»* (М. Варденга. – АиФ. – 1999. – № 19. – С.3); *«Литературные классики доказывали, что богачи по преимуществу глупы и несимпатичны, сочиняя романы о тартюфах, гобсеках и скупых рыцарях»* (В. Коротич. – Бульвар. – 2003. – №23. – С.2). Ко вторым – такие: *«Творец отверг диктат власти, чтобы осмеливаться рассказать о праве Григориев и Аксиный на собственный поиск истины, счастья»* (Комс. правда. – 1999. – 5 марта. – С. 27); *«Богатые Щукины, Терещенки и Третьяковы создавали на свои деньги картинные галереи»* (В. Коротич. – Бульвар. – 2003. – №23. – С.2.). Но во всех случаях имя является смысловой опорой высказывания: *«"Современник" действительно звездный театр, в который идут "на Нелову", "на Квашу", "на Яковлеву", "на Гафта"»* (Бульвар. – 2003. – №46. – С. 8.).

Маркированность некоторых онимов бывает обусловлена культурной спецификой внутренней формы, которая вербализует национальные стереотипы: *«Выйти замуж за иностранца? Это хорошо. Но разве их John может любить, как наш Иван?»* (Комс. правда. – 1999. – №46. – С.9). Здесь наблюдается координативная связь семантики онимов с так называемыми идеологемами (культурными установками). В этом плане инте-

ресно и кажется знаменательным, что в печатных изданиях разных стран: России и Украины, – ставшее столь популярным имя **Кличко** преподносится практически с одинаковой позиции: «*Фамилия братьев Кличко в переводе с немецкого означает "нокаутирующий удар": "клич" – удар, "ко" – обозначение победы нокаутом*» (АиФ. – 2003. – № 13. – С. 3); «*Позже немцы сделают из фамилии Кличко нечто сугубо боксерское, выделяя в ней две последние буквы: "КО", что значит на международном боксерском языке "нокаут" (knock out)*» (Бульвар. – 2002. – №48. – С.11). Имя здесь не создает особое представление, воспринимаемое на психолого-чувственном уровне как образ, а напротив, поддается поддается рациональной, рассудочной сегментации на элементы, имеющие вполне конкретное, не эмоционально-оценочное, объяснение.

Можно предположить, что здесь происходит ассоциативное переосмысление онима, интерпретация в соответствии с представлениями, характерными для немецкой лингвокультурной общности, эта этноконнотация является компонентом национально-языкового сознания, отражающим коллективные образные представления. Интересно сравнить использование этого же онима, но уже в ином значении: в качестве языкового модуса оценки: «**"БРАТЯ КЛИЧКО"** – это уже похоже на бренд, торговую марку» (АиФ. – 2003. – №15. – С.3).

Знаковость онима, таким образом, относительнона и зависит от многих факторов и, не в последнюю очередь, от условий (или места) его функционирования. Газетные публикации, благодаря своей быстрой реакции на события, актуальности повествуемого, в некотором смысле «оживляют» онимные номинации. Так коннотируется имя персонажа из нашумевшего телесериала «Бригада»: «*Одной из удач фильма и моей роли я считаю точно выбранное имя персонажа – Космос. А когда я даю автограф и подписываюсь. – Дюжев, мне говорят: «Не, не, чего пишешь? Мне это не надо. Подпишись – "Космос"»*» (Семья. – 2002. – № 46. – С. 6).

Интересной представляется реализация семантемы "неизвестный" в публицистической статье о выставке художников-авангардистов 60-х годов XX в.: «*На той знаменитой выставке, глядя на его работы, Хрущев спросил: "Как твоя фамилия?" "Неизвестный". – "Нет, кто ты такой?". – "Я Неизвестный". – "Никита Сергеевич, – подсказывают Хрущеву. – Это фамилия у него такая. – Неизвестный". Тогда он говорит: "А! Ну считай, с сегодняшнего дня ты совсем неизвестный!"*» (Л. Дуров. – Бульвар. – 2002. – № 23. – С. 9).

Игра внутренней формы онимного и апеллятивного слова создает символическое представление о реалиях: единичное, частное значение слова устремляется к общему, расширяется, тяготеет к символизации. "Случайное" попадание собственного имени в данное семантическое поле не снижает его смыслового статуса, подпитывая значение друг друга, апеллятив и оним, напротив, усиливают, градуируют его.

РЕЗЮМЕ

Ономастичні дослідження широко відомі аналізом онімів та особливостями їх функціонування у художньому тексті, але практично нема робіт, присвячених онімній лексиці у публіцистичному тексті. Стаття присвячена дослідженню прецедентних онімів та їх утворень в особливих умовах мініструктури публіцистичного текста, які означаються регламентованістю та вербальною обмеженістю мовної структури. Семантична значущість та конотація онімів у цих рамках представляє собою результат вербалізації деякого признака денотата, але сприйняття оніма розраховано на абсолютну семантичну компетенцію читача. Чим більше референційна і конотативна узгодженість адресата і адресанта, які належать до однієї лінгво-культурного об'єднання, тим більше глибина розуміння тексту.

SUMMARY

Onomastic research works are widely presented by analysis of onyms and peculiarities of their functioning in the art text, but there are not any research works of onyms in publicistic style. The present article is devoted to research of precedent onyms and their formation under special conditions of ministructure of the text in social and political journalism. The special conditions are determined by regulation and verbal limitedness of language structure. Semantic capacity and connotation of onyms results from verbalization some gualifying indications of denotation, and perception of the meaning of the name depends upon semantic competence of a reader. The more referential and semantic sequence of a sender and an addressee, both belonging to the same linguistic and cultural community, the more depth of the text understanding is.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. – М., 1995. – Т.2.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 2002.
3. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 1971.
4. Ладыгин Ю.А. Информативная роль коннотативных значений в прозаическом художественном тексте // ФН. – 2000. – № 2. – С. 75-83.
5. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. – К., 1994.
6. Лысакова И.П. Тип газеты и стиль публикации: Опыт социолингвистического исследования. – Л., 1989.
7. Новикова М.Л. Хронотоп как остранинное единство художественного времени и пространства в языке литературного произведения // ФН. – 2003. – №2. – С.60-69.
8. Солганик Г.Я. Системный анализ газетной лексики и источники ее формирования. – М., 1976.
9. Шаумян С.К. Аппликативная грамматика как семантическая теория естественных языков. – М., 1974.

Надійшла до редакції 01.04.2005 р.

УДК 81'373.43

ДЕТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ-РЕЦИПИЕНТЕ: КОНТЕКСТЫ И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Е.И.Гусева

Характеризуя язык современной науки, исследователи отмечают его полиструктурность, неоднородность – с одной стороны, а также подвижность, динамизм – с другой [1, 2, 3]. Стремительность инновационных процессов, скорость внедрения иноязычной терминологии, ее широкое использование, в том числе за пределами научного стиля, мотивирует постановку вопроса о развитии полифункциональности заимствования-неологизма и его детерминологизации в языке-реципиенте.

Полифункциональность, понимаемая как возможность попеременного употребления языкового знака как термина и как общеупотребительного слова, – это или результат специализации последнего (его функционального перехода в сферу научной речи), или следствие детерминологизации специального слова – движения термина в область общего языка. Т.А.Журавлева рассматривает терминологизацию и детерминологизацию как виды взаимодействия между словарем общего национального литературного

языка и терминологическими сферами разных областей знания [3, с. 122]. О возможности перехода языковых единиц из одной функциональной разновидности в другую, вытекающей из единства языка, пишут В.И.Лейчик и Е.А.Никулина [4, с.30]. На полифункциональность терминологических единиц – «использование в неспециальном значении таких лексем, которые имеют и терминологический смысл», – указывают Л.К.Граудина и Е.Н.Ширяев [2, с.193]. Становление полифункциональности терминологического заимствования – это процесс его детерминологизации в языке-реципиенте, важнейшим условием которой является его широкое взаимодействие с общеупотребительной лексикой.

Функциональный переход от термина к общеупотребительному слову (ОУС) не обязательно связан с его использованием в разных типах текстов. Изменение функционально-стилистического регистра слова может происходить в пределах научного текста (научного дискурса в целом). К факторам детерминологизации относятся полиструктурность научного текста, наличие в нем разных функциональных регистров. В одном и том же лингвистическом тексте новое терминологическое заимствование выступает и как единица интерпретации, и как операциональная единица. И та и другая имеют свои контексты – «металингвистический» в первом случае и «лингвистический» – во втором:

...***Р.*** – это особые когнитивные модели объектов и событий....

...языковые ***репрезентации***... возбуждают в памяти человека связанные с ними концепты. Совокупность ***Р.*** образует то, что называется памятью... [5, с. 158]

Первое из данных высказываний представляет собой метавысказывание – дефиницию когнитивного термина *репрезентация*. Остальные высказывания – единицы основного текста, в котором этот термин функционирует как операциональная единица исследования и описания. Основная функция метавысказывания – презентация термина как знака научного понятия, основная функция термина в метавысказывании и научном тексте в целом – (ре)презентация научного понятия. При этом и термин, и его толкование в метавысказывании являются формами вербализации понятия. В основном тексте научное понятие также могут представлять как термин, так и его толкование:

...слова и единицы, к которым они реферируют, связаны между собой посредством ***особого ментального образования – репрезентации как особой концептуальной структуры*** [5, с. 44].

В данном высказывании автор дублирует значимую информацию, устанавливая отношения дефинитивного тождества не только между термином и его толкованием, но и между вариантами его толкования.

Связь между термином и его дефиницией – важная составляющая интерпретации текста. Замена термина его дефиницией как элемент программы контроля осуществляется читателем, производящим подстановку «в уме». Между термином и его дефиницией сохраняется при этом отношение дефинитивного тождества.

Однако, сравнивая «лингвистический» и «металингвистический» контексты употребления новейшего заимствования, можно заметить и нарушения этого правила тождества. Сопоставим следующие высказывания:

(1) ***Высвечивание отдельных свойств источника в области цели, возникающее в процессе метафорической проекции и проявляющееся на уровне предложения и текста в виде метафорических следствий, часто называют «профилированием»*** [6, с.75].

(2) ***Новое знание возникает в данном случае благодаря профилированию некоторых свойств источника, не представленных или скрытых в области цели*** [6, с.76].

Термин *профилирование*, выступающий в метавысказывании (1) единицей интерпретации, представляет научное понятие «высвечивание свойств источника в области цели». Содержание понятия *профилирование* раскрывается, таким образом, не одним только словом *высвечивание* (специализирующую роль играет последующий контекст).

Отношение термина и ОУС в метавысказывании может быть представлено так: *профилирование* < *высвечивание*.

Что же касается высказывания (2), то его контекст корректирует значение инновации, что подтверждается подстановкой вместо термина *профилирование* его дефиниции. Результатом такой подстановки становится трансформ высказывания (2) – высказывание (3).

(3) *Новое знание возникает в данном случае благодаря {высвечиванию отдельных свойств источника} некоторых свойств источника, не представленных или скрытых в области цели.*

Наложение части высказывания (1) на высказывание (2) свидетельствует о некоторой избыточности в передаче информации, устранив которую, удалив повторяющиеся компоненты, получаем:

(4) *Новое знание возникает в данном случае благодаря {высвечиванию} некоторых свойств источника, не представленных или скрытых в области цели.*

Сравнив высказывание (2) и его трансформ (4), убеждаемся, что результатом операции удаления становится тождество контекстного окружения слов *профилирование* и *высвечивание*.

(2) *Новое знание возникает в данном случае благодаря профилированию некоторых свойств источника, не представленных или скрытых в области цели.*

(4) *Новое знание возникает в данном случае благодаря {высвечиванию} некоторых свойств источника, не представленных или скрытых в области цели.*

Вспомним теперь, что предусловием трансформации высказывания (2), подстановки вместо термина *профилирование* сегмента высказывания (1), было тождество термина и его дефиниции, так как только при условии сохранения тождества высказывания его трансформация возможна и допустима. Добавим, что и при устранении избыточности предполагалось сохранение тождества высказывания. Тогда тождественность высказывания в целом и тождественность контекстного окружения термина *профилирование* в высказывании (2) и слова *высвечивание* в трансформе (4) обуславливают и тождество самих слов. Между термином и ОУС устанавливается отношение: *профилирование* = *высвечивание*.

Можно предположить, что подобный алгоритм действует и при восприятии текста, что сознанием читателя-интерпретатора производится такая же подстановка, а за нею обнаружение и снятие избыточности. Иначе говоря, в ходе восприятия и интерпретации высказывания (2) языковое сознание действует как компьютер, осуществляющий замену термина его дефиницией, включающий программу удаления повторяющегося сегмента и т.д. Если это так, то «компьютер сознания» регистрирует и семантический переход – генерализацию значения термина. «Сужение» толкования слова *профилирование* до слова *высвечивание* (вследствие редукции сегмента «отдельных свойств источника в области цели») – это генерализация его значения, утрата некоторых конкретизирующих сем.

Возможна и другая последовательность шагов при интерпретации читателем высказывания (2), когда отношение эквивалентности ЗТ $\approx$ ОУС (термин эквивалентность предпочтительнее, чем тождество, так как эквивалентность допускает приблизительность, частичность) устанавливается уже на этапе восприятия метавысказывания и переносится на высказывание основного текста в готовом виде. Такой путь более экономичен. И таков, на наш взгляд, алгоритм перехода от метавысказывания (1) к высказыванию (2) при порождении текста. Отношение эквивалентности ЗТ и ОУС (*профилирование* $\approx$ *высвечивание*) позволяет автору в последующем высказывании (2) использовать термин *профилирование* как вариантное соответствие слова общего языка:

(5) *Новое знание возникает в данном случае благодаря профилированию, или высвечиванию, некоторых свойств источника, не представленных или скрытых в области цели.*

Итак, сначала частичная эквивалентность ЗТ и ОУС в метавысказывании, затем отношения эквивалентности в основном тексте, между ними трансформация генерализации – такова схема смысловых преобразований, результаты которых обнаруживаются при сравнении высказывания (1) и высказывания (2) и свидетельствуют о деспециализации слова *профилирование* и его движении по оси *термин* – *ОУС*.

Эквивалентность ЗТ и ОУС может быть результатом такого смыслового перехода, который осуществляется как бы в пределах терминологического значения, и оттого трудно уловим. В этом случае изменение сочетаемости выступает как формальный показатель динамики заимствования. Так, в современной лингвистике идея субъекта – антропоцентрической составляющей значения – воплощается в понятиях, представленных терминами *наблюдатель*, *экспериментер*, *эксперимент*. Например:

Все сказанное сказано наблюдателем [7, с. 8].

Сравните также: «*фигура наблюдателя как системообразующего фактора в языке*», «*принцип обратимости позиций наблюдателя в пространстве*» и т.п.

Термин *наблюдатель* толкуется как «*субъект перцептивной ситуации*», «*субъект опыта*». Так же, судя по внутренней форме, определяется и значение слова *экспериментер*. Отношение эквивалентности (частичной или полной) между термином и ОУС открывает возможность уподобления сочетаемости заимствования и ОУС или, вернее, возможность присвоения заимствованным термином сочетаемости ОУС. Можно предположить, что сочетаемость термина *экспериментер* уподобляется сочетаемости исконного слова заимствующего языка – *наблюдатель*. Но в следующем контексте мы наблюдаем иную сочетаемость слова *экспериментер*:

Указанные социокультурные качества экспериментера радости определяют, в свою очередь, преобладающий способ концептуализации им радости как победы/успеха, а также как (материального) вознаграждения за приложенные для достижения поставленной цели усилия [8, с. 379].

Контекст позволяет предположить, что заимствование в данном высказывании строит сочетаемость по образцу некоего слова языка-реципиента с семантической структурой «*тот, кто испытывает, чувствует радость*» (*субъект радости*, «*испытыватель*», «*чувствователь*» *радости*). Появление при *экспериментере* зависимого слова, изменение его сочетаемости указывает на изменение семантики заимствования.

Наличие семантического перехода можно подтвердить доказательством от противного. В частности, в теории актантных структур термин *экспериментер* (*эксперимент*) указывает на одну из семантических ролей подлежащего и толкуется как «*одушевленное имя существительное... произвольный/непроизвольный инициатор психологического действия или состояния*» [9, с.219].

В следующем контексте произведем подстановку вместо термина его толкования:

Я [Эксперимент] вижу Машу [Стимул/Образ] [10, с.33].

Я [Инициатор психологического действия или состояния] вижу Машу...

Произведем дальнейшие преобразования: заменим (конкретизируем) словосочетание *инициатор психологического действия или состояния* словосочетанием *инициатор зрительного восприятия*, или *инициатор видения*:

Я [Инициатор видения] вижу Машу...

В данном контексте *эксперимент* – это эквивалент словосочетания *инициатор видения*. Для того чтобы стало возможным сочетание *эксперимент видения* (по аналогии с *экспериментер счастья*), толкование заимствованного слова *эксперимент* должно редуцироваться до слова *инициатор*. В противном случае словосочетание *эксперимент видения* – это (*инициатор видения*) *видения*. Поэтому в таком показателе, как измененная сочетаемость (*экспериментер* – *экспериментер <чего>*), текст регистрирует переход от слова *экспериментер* к сложной номинации *экспериментер радости* и эксплицирует семантический переход – генерализацию значения заимствования.

Итак, при переходе от метавысказывания к основному тексту возможно изменение семантики заимствования в сторону его сближения с ОУС. В целом же уподобление заимствования общеупотребительному слову является важным фактором его смысловых преобразований в языке-реципиенте. Частичная и тем более полная эквивалентность термина и ОУС, установленная в метавысказывании, становится предположением их варьирования в основном тексте, которое, в свою очередь, выступает предпосылкой дальнейшего движения заимствования по оси *термин – ОУС*.

Реальное или возможное варьирование заимствования с исконным словом, на наш взгляд, уже само по себе, без изменений в семантике заимствования, является предположением его функционального перехода в область общего языка. Контекстная вариативность заимствования и ОУС (или традиционного термина) говорит не только о необходимости, факультативности заимствования как формы вербализации научного понятия. Идея нежесткости связи знака и значения «наводит на мысль» о втором виде асимметрии – «разрешает» употребление заимствования для номинации иных понятий, допускает его выход за пределы терминологического значения.

В полиструктурном тексте заимствованная лексика функционирует в разных типах описывающих контекстов. В описывающих контекстах первого порядка в полной мере воплощается двуединая функция термина – номинации предмета исследования и вербализации научного понятия. Переход заимствования в режим сопутствующего описания прежде всего изменяет характер его отношений с ОУС.

В описывающих контекстах второго порядка терминологическое заимствование встроено в ряд неспециальной лексики научного стиля речи как заместитель ОУС:

Иными словами, подчеркивается экзистенция сознания в буквальном смысле как материально организованного образования – мозга [11, с. 10].

Вводимое автором без комментариев, заимствование идентифицируется по контексту «обратной» заменой: *экзистенция – существование*.

Функционирование ЗТ вместо ОУС – еще один шаг к детерминализации заимствования. Если заимствованный термин используется как заместитель ОУС, о его терминологическом характере напоминает одна лишь иноязычная оболочка.

Для контекстов второго порядка еще более характерно отношение свободного варьирования заимствованной и исконной лексики. Варьирование заимствования и ОУС в одном и том же или в сходных контекстах – это проявление и подтверждение их эквивалентности:

...ментальных репрезентаций как определенных структур представления знаний... [5, с. 114]

Представления об объектах и связях порождают особый тип репрезентации знаний – пропозициональный [5, с.137].

Но и без такого сопоставления заимствование *репрезентация* в контекстном окружении второго высказывания воспринимается как заместитель общеупотребительного слова *представление*. Причем эта замена функционально обусловлена, ее мотивация – снятие речевой омонимии как вероятной помехи при восприятии текста адресатом. Сравните:

Представления об объектах и связях порождают особый тип представления знаний – пропозициональный.

Заимствование в этом случае наделяется дополнительной функциональной нагрузкой – играет роль стилистического средства языка.

Использование ЗТ вместо ОУС, как знака-заместителя ОУС, – это показатель становления полифункциональности заимствования в языке-реципиенте. Отметим, что на полифункциональность заимствования указывает не только его варьирование с ОУС, но и использование заимствований как строевых единиц текста – их участие в организации цепной связи высказываний (синонимическая замена ОУС заимствованием). Однако такая замена – это следствие уже сложившейся синонимии и полифункционально-

сти слова, варьирование же заимствования с ОУС в одинаковом контекстном окружении имеет особое значение на этапе становления полифункциональности заимствования в языке-реципиенте.

Употребление заимствования как неспециального слова научного текста может быть следствием функционального перехода термина в область общего языка, а может быть результатом заимствования его омонима – общеупотребительного слова английского языка. Результатом повторного (в диахронии) или двойного (одновременного заимствования термина и ОУС) заимствования становится появление, а следовательно, взаимовлияние и взаимодействие, омонимичных форм.

Сопоставление омонимов и их «разведение», разграничение становится частью интерпретации текста. Так, в следующем примере слово *коммуникация* по контексту определяется не как *общение*, а как *связь*, но предшествует такому определению отрицание значения, которое, вследствие освоенности, первым приходит на ум:

Возникновение плана происходит в процессе коммуникации между моделью мира, часть которой образуют сценарии, планирующим модулем и исполнительным модулем [12, с. 19].

Идентификация новейшего заимствования идет через преодоление интерференции уже освоенного, натурализовавшегося в языке. С другой стороны, лексическая омонимия может способствовать функциональному переходу заимствования в сферу общего языка. Употребление омонимов в одном и том же контексте облегчает такой переход:

Репрезентация... – ключевое понятие когнитивной науки, относящееся... к процессу представления (репрезентации) мира в голове человека... [5, с. 157]

Заимствования-омонимы в сознании носителей языка могут слиться в одно полисемантическое слово *репрезентация*, способное выступать то как термин, то как ОУС. Тем более что их эквивалентом является полифункциональное слово *представление*.

Современные научные тексты предлагают многочисленные примеры функционирования в них заимствований терминологического характера и заимствований, не являющихся номинациями научных понятий. Так, например, в следующем высказывании только одно из иноязычных слов претендует на терминологичность:

В языке ... перцепция обретает языковую репрезентацию, а репрезентанты дефинируются как перцептизмы [16, с.279].

Сравните:

В языке восприятие обретает языковое выражение, а слова со значением восприятия определяются как перцептизмы.

Термин *перцептизмы* не допускает замены вариантным соответствием, он является обязательной частью метавысказывания «*перцептизмы – это репрезентанты перцепции*», или «*перцептизмы – это слова со значением восприятия*». Все остальные заимствования свободно варьируются с ОУС и отличаются факультативностью.

Различение терминологических заимствований, входящих в контекст описания предмета исследования, и заимствований, входящих в более широкий контекст научного текста, а также различение этих контекстов – путь к решению проблемы, на которую сегодня обращают особое внимание, – превышения допустимых пределов использования иноязычной лексики.

Вопрос о детерминологизации – это вопрос, почему, как и когда осуществляется функциональный переход от термина к слову общего языка. Чтобы ответить на него, научное описание представим как объединение разных регистров. Выделим в научном тексте регистр исследования (когнитивный регистр), в котором реализуется отношение *автор – предмет исследования*, и регистр, наличие которого определяется самой сутью описания, письма как вида коммуникации – коммуникативный регистр.

Когнитивный регистр – регистр исследования, в нем добывается и фиксируется знание. В данном регистре господствующей функцией термина является функция за-

крепления знания, фиксации научного понятия. В коммуникативном регистре, регистре описания и истолкования, у заимствованного термина иной набор функций.

Регистр описания, актуализирующий отношение *автор – адресат*, наряду с коммуникативным заданием передачи информации, реализует и прагматическую функцию. В данном регистре автор может задействовать прагматический потенциал заимствованного термина, в частности, использовать его как средство эвфемизации. Сравните употребление слова *аберрация* (*заблуждение, отклонение от истины*) в следующем примере:

*...распространенной методологической **аберрацией** среди лингвистов является отождествление своего способа овладения языком с единственно возможным* [13, с.21].

В коммуникативном регистре научного текста язык описания в значительной степени приближен к общему языку. Это проявляется в свободном совмещении единиц разных стилистических регистров и разных сфер языка. Например:

Собственно прагматическое же понимание пресуппозиции сильно выраженным «операциональным драйвом» не обладает [14, с. 32].

В английской компьютерной терминологии, в физике, информатике *drive* – это слово с достаточно стершейся внутренней формой, входящее в ряд общенаучных понятий (*drive characteristic* – *модуляционная характеристика*), *drive circuit* (*возбуждающая схема, задающая схема*). В русском лингвистическом тексте выражение *операциональный драйв* (*сила воздействия, действенность*) становится полифункциональным знаком: термин, перенесенный в иной контекст, наделяется добавочной эмоционально-экспрессивной функцией. Причем коннотативные добавки в семантике словосочетания *операциональный драйв* индуцируются контекстом, выходящим за пределы научного дискурса: заимствование *драйв* – модное слово в языке рекламы, в молодежном жаргоне. «Находясь внутри терминополья, – отмечает М.И.Солнышкина, – термин, как правило, не обладает ни образностью, ни экспрессивностью, но, попадая в контекст, отличный от терминологического, термин, по меткому выражению А.А.Реформатского, «зажигается», обретает коннотативную нагрузку» [15, с.337]. «Иной контекст» словосочетания *операциональный драйв* – это широкий контекст общего языка, но именно в научном тексте заимствование обретает полифункциональность как способность выполнять функцию знака, одновременно информирующего и воздействующего. Следует также уточнить, что «зажигается» и «обретает коннотативную нагрузку» не термин, а знак. Попадая в контекст, «отличный от терминологического», знак перестает быть термином.

Итак, вследствие полиструктурности научного текста смена функционально-стилистического регистра заимствованного слова происходит в его пределах – в одном и том же научном тексте или в научном дискурсе. Результатом ряда последовательных функциональных переходов становится утрата заимствованием некоторых основных признаков терминологичности.

Основа терминологичности заимствованного слова – его противопоставленность ОУС. Напротив, показателем детерминологизации заимствования выступает степень близости к ОУС. В этом смысле наиболее терминологичен, наиболее адекватен термин в пределах собственной дефиниции, где он выступает как единичная или основная форма вербализации научного понятия. В метавысказывании термин дистанцирован от ОУС и даже огражден формально (например, с помощью *тире*). ЗТ и ОУС занимают в метавысказывании разные позиции (субъекта и предиката), т.е. находятся в отношении дополнительной дистрибуции. В основном тексте они находятся уже в отношении варьирования.

В когнитивном регистре основного текста заимствование сохраняет терминологичность. Варьирование заимствования с ОУС здесь не следствие детерминологизации заимствования, а результат терминологизации ОУС (ср.: *профилирование, высвечивание, выдвигание*). Функционирование заимствования в контекстах, относящихся к коммуникативному регистру научного текста, не означает незамедлительной утраты

терминологичности, но именно здесь оно делает ряд последовательных шагов к детерминализации.

Контекстное варьирование заимствования с ОУС противоречит такому критерию терминологичности, как отсутствие синонима. Появление эмоционально-экспрессивных добавок «снимает» еще один критерий терминологичности слова – отсутствие коннотативности. Употребление в контекстах, не связанных с его основным назначением – быть средством выражения научного понятия, актуализация функции воздействия в режиме *автор – читатель*, проявление референтных коннотаций – показатели движения заимствования по оси *термин – ОУС*. Процесс детерминализации, как отмечает Т.А.Журавлева, является лингвистической причиной развития многозначности в терминах [3, с.83]. Но изменение семантики заимствованного термина, развитие многозначности, в свою очередь, выступает показателем его детерминализации.

Установление корреляции ЗТ и ОУС в метавысказывании, взаимодействие термина с ОУС в основном тексте, его контекстное варьирование с неспециальной лексикой приводит к развитию полифункциональности заимствования как единицы научного дискурса и подготавливает его переход в другие сферы вербального общения.

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена особливостям процесу детерміналогізації запозичення у мові-реципієнті. Автор розглядає основні контексти вживання запозиченої лексики, які фіксують функціональні зміни від терміна до загального слова. Взаємодія запозиченого терміна з лексикою загального користування у науковому тексті визначається як передумова його переходу в сферу загальної мови. Вживання запозичення в комунікативному регістрі «автор – адресат» актуалізує прагматичну функцію слова.

SUMMARY

The article deals with the process of determinologisation of a loan-word in the recipient language. Determinologisation is regarded as a transition of the conceptually oriented term (the form of verbalization of scientific notion) to a common word. The interactions of borrowings and common words in context are the necessary prerequisites for the process. The contexts of a loan-term usage in scientific descriptions are investigated.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2001. – 304 с.
2. Культура русской речи. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Л.К.Граудиной и проф. Е.Н.Ширяева. – М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2000. – 560 с.
3. Журавлева Т.А. Особенности терминологической номинации. Монография. Донецк, АОО. Торговый дом «Донбасс», 1993. – 253 с.
4. Лейчик В.И., Никулина Е.А. Исследование терминологизмов в парадигматике: явление антонимии // ВМУ. С.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – №1 – С.30-43.
5. Краткий словарь когнитивных терминов. / Под ред. Е.С.Кубряковой. – М., 1996. – 248 с.
6. Баранов А.Н. О типах сочетаемости метафорических моделей // Вопросы языкознания. – 2003. – №2. – С.73-94.
7. Кравченко А.В. Когнитивная лингвистика и новая эпистемология (к вопросу об идеальном проекте языкознания) // Известия РАН. Сер. лит. и яз. – 2001. – Т.60. – №5. – С.3-13.

8. Шамаева Ю.Ю. Когнитивная инфраструктура концепта «радость»: функциональный подход // XI Международная конференция по функциональной лингвистике. «Функциональное описание естественного языка и его единиц»: Сборник научных докладов. Ялта 4–8 октября 2004 г. – Симферополь, 2004. – С.378-380.
9. Лымаренко Е.А. Семантические роли подлежащего в моновалентной структуре // XI Международная конференция по функциональной лингвистике. «Функциональное описание естественного языка и его единиц»: Сборник научных докладов. Ялта 4-8 октября 2004 г. – Симферополь, 2004. – С. 219-221.
10. Падучева Е.В. Глаголы создания образа: лексическое значение и семантическая деривация // Вопросы языкознания. – 2003. – №6. – С. 30-46.
11. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Известия РАН. – Серия лит. и яз. – 2004. – Т.63. – №3. – С.3-12.
12. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. Изд. 2-е, исправленное. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. – 360 с.
13. Зализняк А. Феномен многозначности и способы его описания // Вопросы языкознания. – 2004. – №2. – С.20-45.
14. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века. // Вопросы языкознания. – 1996. – №2. – С.20-54.
15. Солнышкина М. И. Проецирование терминологических сочетаний на плоскость фразеологии // XI Международная конференция по функциональной лингвистике. «Функциональное описание естественного языка и его единиц»: Сборник научных докладов. Ялта 4–8 октября 2004 г. – Симферополь, 2004. – С. 336-337.
16. Плужникова Т. Ароматизмы как языковое средство выражения перцепции // XI Международная конференция по функциональной лингвистике. «Функциональное описание естественного языка и его единиц»: Сборник научных докладов. Ялта 4-8 октября 2004 г. – Симферополь, 2004. – С.279-281.

Надійшла до редакції 16.05.2005 р.

УДК 8-32.015

БЕЗЫМЯННОСТЬ В ПОЭТОНИМОСФЕРЕ КОРОТКОГО РАССКАЗА

О.В.Даутова

Проблема безымянности является одним из малоизученных аспектов поэтики онима. Исследуя имена собственные в поэзии Беллы Ахмадулиной и Лины Костенко, Ю.А.Карпенко описал случай отсутствия онима как фактор «поэтического табу», которое автор накладывает на употребление имени: «Сказать об имени намеком, не назвав его, – значит выразить особое (обычно – особо трепетное) отношение к этому имени и его носителю [1, с.8]. Е.Б.Иванова, исследуя стилистические функции собственных имен в творчестве К.Г.Паустовского, отметила, что безымянность, характер которой изменяется в зависимости от жанра прозаического произведения (рассказ, повесть, роман), «имеет широкие мотивационные основы». Для рассказов характерно: 1) отсутствие имён у второстепенных героев, способствующее акцентированию внимания на центральном поименованном персонаже («Морская прививка»); 2) намеренное умолчание имени («Ручьи, где плещется форель»); 3) «отсроченное» знакомство («Старый повар»). В крупных прозаических формах встречаются: 1) персонажи, «запрограммированные на безымянность» (например, только что родившийся у арестантки ребёнок); 2) лица, имена которых по той или иной причине неизвестны; 3) персонажи, «ко-

торые в принципе могут быть названы, однако необходимости и художественной целесообразности в этом нет»; 4) персонажи, «лишенные имени с определённой целью» [2, с.5-7]. Справедливо высказывание Ю.А.Карпенко, что «безымянность как преднамеренное неупотребление имени собственного становится мощным поэтическим средством именно потому, что существует на фоне, на базе наличия в языке развитой системы онимов» [1, с.93]. Т.В.Чуб, исследуя «лирическую» безымянность резюмировала, что «художественная безымянность – это неотъемлемая часть как поэтического, так и прозаического контекста, мотивированная авторской концепцией. Характер топонимической безымянности и безымянности персонажей детерминирован жанром произведения. В поэтике художественного произведения отмечаются две противоположные тенденции: насыщение текста проприальными единицами и замена имен дескрипциями, местоимениями, цитациями. Существующая на фоне широко развитой онимной системы, безымянность является емким и эффективным выразительным средством. Благодаря ей создаются ассоциативные эффекты, контрасты и тени, отвечающие идейному содержанию произведения» [3, с.35].

Наше исследование посвящено художественной безымянности как особой функции онимного пространства рассказа И.А.Бунина «Чистый понедельник».

Отсутствие антропонима, которым могла бы называться главная героиня рассказа, является оригинальным стилистическим приемом, использованным И.А.Буниным с определенной целью. Реконструкция авторского «ономастического» замысла представляет интерес, во-первых, со стороны влияния онимии произведения на восприятие образа героини, во-вторых, с позиций воздействия безымянности главного персонажа на восприятие поэтоимосферы рассказа и, наконец, с точки зрения роли безымянности основного действующего лица в художественно-эстетических свойствах произведения.

Автор погружает безымянный персонаж в целый мир онимов, которые подчеркивают отсутствие имени у героини и возбуждают желание хотя бы предположить, как она могла бы именоваться. Уже на первой странице читатель узнает кто она, откуда родом, чем занимается и как выглядит, и даже то, что «...она была загадочна» [4, с.611]. Она богата, ее отец был «просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в *Твери*...» [4, с.611], а она в доме напротив храма *Христа Спасителя*: «... снимала ради вида на *Москву* угловую квартиру на пятом этаже...» [4, с.611]. Над ее диваном висел портрет босого *Толстого*¹. О ее музыкальных «пристрастиях» повествователь сообщает: «... она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», – только одно начало...» [4, с.611]. Писатель с помощью нескольких имен собственных в с самом начала рассказа создает представление о жизни героини.

Рассказ Бунина «Чистый понедельник» логически можно разделить на три части. В каждой из них облик героини меняется, и, что особенно примечательно, происходят перемены и в онимном пространстве. Автор «погружает» героиню в мир тщательно подобранной проприальной лексики, точно соответствующей замыслу. Задумано же описание перемен, происходящих в человеке, пребывающем под воздействием разных культурных влияний. А осуществлено все это не без помощи собственных имен. С главным героем она знакомится на лекции *Андрея Белого в Художественном кружке*. И, если Повествователь (он же герой рассказа) признается, что он туда попал случайно, то *она*, как ему сперва показалось, с энтузиазмом знакомилась с его взглядами. Повествователь играет немаловажную роль в рассказе. С его помощью автор показывает свое отношение к литературным направлениям того времени. И его нельзя назвать однозначным, потому что, с одной стороны, через Повествователя он демонстрирует ироническое отношение к А.Белому, поэту-символисту, создателю «симфоний», провозгласившему лозунг о господстве и преимуществе музыки над другими видами искусства:

¹ Возможно автор рассказа упоминает картину И.Е. Репина «Толстой молится в лесу» (1901 г.).

«...попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал...» [4, с.613]. С другой стороны, творчество *Андрея Белого* известно, как имеющее в своей основе теософию (богопознание, духовидение). Автор не случайно после этого упоминает культовых писателей-символистов: *Гофманшталя, Тетмайера, Шницлера, Шишмышевского*, книги которых герой рассказа стал носить своей возлюбленной после знакомства. Всех писателей объединяет, во-первых, принадлежность к символизму, а во-вторых, то, что они были современниками главной героини рассказа. Так подчеркивается мотивированность упоминания *А.Белого*, становится очевидным и понятным её равнодушие к книгам австрийских и польских символистов. Без имени автора (В.Брюсова) упоминается название романа «*Огненный ангел*», который тоже пришелся ей не по вкусу: «...До того высокопарно, что совестно читать» [4, с.613]. Подчеркнуто негативным отношением именно к этому произведению Брюсова – лидера русского символизма, являвшегося директором *Художественного кружка*. Бунин, мы полагаем, высказывал свое мнение не обо всем творчестве писателя, а лишь об определенной его работе – историческом романе из жизни Германии XVI в. Негативным отношением главной героини к этому произведению автор рассказа выразил и свое личное несогласие с декадентами.

Героиня рассказа «кружит» в обозначенном ойкодомонимами пространстве, представляющем собой вереницу названий дорогих московских ресторанов: «*Прага*», «*Эрмитаж*», «*Метрополь*», «*Яр*», «*Стрельна*». «*Яр*» – московский ресторан, который был открыт в 1826 на улице Кузнецкий мост французом Т. Яром. В XIX в. заведение стало одним из самых модных, местом загородных кутежей московских купцов, офицеров, «золотой молодежи». «*Метрополь*» – гостиница, построенная в 1899-1903 по проекту архитектора В.Ф.Валькотта; «*Эрмитаж*» – ресторан в гостинице, основанный французским кулинаром Л.Оливье. О двух из этих питейных заведений находим упоминание у Гиляровского в книге «*Москва и москвичи*»: « «*Эрмитаж*» стал давать огромные барыши – пьянство и разгул пошли вовсю. Московские «именитые» купцы и богатеи шли прямо в кабинеты, где сразу распоясывались» [5, с.131], «...чтоб прокатиться на лихаче от «*Эрмитажа*» до «*Яра*» да там, после эрмитажных деликатесов, поужинать с цыганками...» [5, с.130]. Обращают на себя внимание два факта: первый – заведения были основаны иностранцами; второй – все эти рестораны являлись любимыми местами купечества. В начале знакомства Герой-Повествователь убежден, что, как и вся современная молодежь, она любит посещать увеселительные заведения, концерты *Шляпина*, «капустники» *Московского художественного театра*. В этой части рассказа она в бархатном платье гранатового цвета. Этот цвет как бы подчеркивает роскошь заведений, в которых они бывали. Она внешне современна и соответствует своему положению в обществе.

Онимное пространство второй части решено иначе. Попытки приспособиться к окружающему миру тщетны. Героиню привлекают вещи диаметрально противоположные: ей близка *Древняя Русь*, она интересуется русским летописями и сказаниями: «Был в русской земле город, названием **Муром**, в нем же самодержествовал благоверный князь, именем **Павел**...» [4, с.618]. Оказывается, она ходит в *Новодевичий* и *Зачатьевский* монастыри, на *Рогожское кладбище*, часто стоит возле могилы *Чехова*, с восторгом говорит о *Марфо-Мариинской обители*, долго может искать где-то на *Ордынке* дом, где жил *Грибоедов*, цитирует *Толстого*, упоминая *Платона Каратаева* и *Пьера*. Имена *Толстого* и *Чехова* появляются в рассказе тоже не случайно, Бунин считал их своим учителями и посвятил одному из них литературно-философское исследование «*Освобождение Толстого*», а другому – заметки «*Памяти Чехова*». Используя эти собственные имена, автор «подталкивает» читателя к само собою напрашивающемуся выводу: главная героиня рассказа любит все русское. Посещение упомянутых мест города Москвы, поэтому не случайно. Улица Ордынка Большая возникла в XIV в. вдоль

дороги в Золотую орду, по левую сторону ее находилась Татарская слобода, в XVIII-XIX вв. На *Большой Ордынке* жили богатые замоскворецкие купцы. *Марфо-Мариинская обитель* была построена в начале XX в. на улице *Большая Ордынка* великой княгиней *Елизаветой Федоровной*, о которой автор упоминает в рассказе: «...там сейчас великая княгиня *Ельзавет Федоровна*...» [4, с.622]. Женский *Зачатьевский монастырь* основали в 16 в. на территории Белого города, *Рогожское кладбище* находится в восточной части Москвы, основано во время эпидемии чумы 1771 за *Рогожской заставой* по инициативе старообрядцев. На кладбище похоронены представители московских купеческих фамилий – Морозовы, Солдатенковы и другие. И снова факты помогают более точно составить представление о главной героине рассказа, снова они напоминают о ее родственных связях с купечеством. Быть может, среди них есть и ее предки? А может ее род восходит к *тверскому* купцу Афанасию Никитину, совершившему путешествие в *Индию* в 1466-72 гг.? Ведь ее внешность противоречиво сочетается с ее внутренним миром: «А у нее красота была какая-то *индийская*, *персидская*...». Из-за этого *В.Качалов* однажды сравнил её с «*царь-девицей*, *Шамаханской царицей*». Влюбленный Повествователь выстраивает онимный ряд, восхищаясь ее внешностью (сначала русские города, а затем «заморские» страны): «Москва, Астрахань, Персия, Индия!» [4, с.615]. Москва – место, где она жила, Астрахань – город ее бабушки, Персия и Индия – страны, которые ассоциируются с её красотой. Не раз мы наталкиваемся на то, что многие вещи, которые находились в доме героини рассказа и то, что было за его стенами указывает на связь со стариной, но не только со стариной *Древней Руси*, но и *Древнего Востока*. Не случайно из окон ее квартиры можно было увидеть часть Кремля и «*громаду Христа Спасителя*». Герой любит вид и размышляет о смешении европейского и восточного стилей: «...Василий Блаженный – и Спас-на-Бору, итальянские соборы – и что-то киргизское в острях на кремлевских стенах» [4, с.614].

Во второй части рассказа доминирует черный цвет: «...она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботинках. – Все черное!...» [4, с.615]. Наконец, читатель узнает, что главная героиня рассказа уходит в монастырь. Гранатовый цвет она меняет на черный, монашеский. Становится понятным, почему портрет именно молящегося Толстого висел над ее кроватью. Снова «Лунная соната» Бетховена «звучит» в рассказе скорбно-лирическим монологом, подчеркивая внутреннее состояние героини.

Третья часть рассказа светлая, белая: «...а за нею тянулась белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь, или сестер...» [4, с.623]. В ней Бунин еще раз перечисляет онимы, которые были так дороги для нее, но теперь стали также частью теплых воспоминаний Повествователя. Он заново повторяет тот путь, по которому они когда-то гуляли вместе: *Кремль*, *Архангельский собор*, *Ордынка*, *Грибоедовский переулок*, *Марфо-Мариинская обитель*.

Как много имен собственных, а имя главной героини так и не названо. По нашему мнению, И.А.Бунин использовал фигуру умолчания намеренно. Отсутствие имени оправдано. Для человека, посвящающего себя Богу, мирское имя не имеет значения, а другое, иноческое, её имя, полученное в другой, монастырской жизни, Повествователю неизвестно.

Прием умолчания имени персонажа в мировой художественной литературе сам по себе традиционен, так же, как традиционны замены «подлинных» именованных всевозможными заменами, псевдонимами, сокращениями и т.д. Но в «исполнении» И.А.Бунина он обрел специфические черты, стал составной частью поэтонимосферы рассказа. Настоятельно подчеркивая безымянность героини и, одновременно, расцвечивая повествование упоминаемыми онимами, именами исторических реальных лиц, автор, по нашему мнению, кроме прочего, стремился заинтриговать читателя, загадочностью и недосказанностью, которые, как известно, провоцируют желание «додумать» сюжет.

РЕЗЮМЕ

Розглядається безіменність як стилістичний прийом, який представляє інтерес, по-перше, з боку впливу онімії твору на формування образу персонажа, який не іменується автором, по-друге, з боку впливу безіменності героя на сприйняття поетонімосфери твору, а також з точки зору ролі засобів номінації в художньо-естетичних властивостях оповідання.

SUMMARY

The absence of the name is investigated as a stylistic device, which is interesting from the point of view of the story's onyms and their influence on creating of the heroine's image, who has not a name, secondly, this absence is analyzed as an impact on perception of the story's poetonymosphere, and at last, the matter is viewed under the aspect of the naming ways in the canons of the story.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРЫ

1. Карпенко Ю.А. Проблемы типологии литературной ономастики: имена собственные в поэзии Беллы Ахмадулиной и Лины Костенко// Літературна ономастика української та російської мов: взаємодія, взаємозв'язки. – К.: НМК ВО, 1992.
2. Иванова Е.Б. Стилистические функции собственных имен (на материале произведений К.Г. Паустовского). – АКД. – Одесса, 1987.
3. Чуб Т.В. Влияние поэтонимогенеза на образные возможности проприальной лексики. Дисс. ... канд. фил. наук. – Горловка, 2005.
4. Бунин И.А. Рассказы и повести. - Л.: Лениздат, 1985.
5. Гиляровский В.А. Москва и москвичи. – М., 1979.

Надійшла до редакції 01.06.2005 р.

Ж У Р Н А Л І С Т И К А

УДК 801.8.070.1

ТЕКСТОСТВОРЮВАЛЬНІ АСПЕКТИ КІБЕРЖУРНАЛІСТИКИ

І.М.Артамонова

Інтенсивний розвиток технічних засобів, що забезпечують можливість практично миттєвої обробки та передачі формалізованої інформації, до того ж у досить великих обсягах, удосконалення інформаційних технологій у всіх сферах практичної діяльності обумовило й появу унікального у соціальному, культурологічному і особливо професійному відношенні артефакту – кібержурналістики. Це поняття вже увійшло в обіг та активно використовується. Термін увів Уільям Гібсон у книзі «*Neuromancer*» («Неоромантик»). Кіберпростір по-своєму структурований і певні протоколи передачі даних можуть функціонувати лише у своїй власній частині кіберпростору.

Таким чином, журналістика, важливий суспільний інститут, мета якого – зібрання, обробка та періодичне поширення соціально значущої інформації, стає кібержурналістикою по мірі повної чи відносно повної інтеграції з глобальною кіберсистемою, мірою становлення – активно діючою частиною глобального кіберпростору, виходу на сторінки WWW, і «ці мультимедійні сторінки зберігають різноманітну інформацію у формі тексту, малюнків, фотографій, звуку, відео» [9, с.37].

Журналістика, входячи до кіберпростору, вбирає в себе багато якісних ознак цього феномена, включається в характерні для нього процеси, наприклад, у процеси самоорганізації світової системи спілкування – Internet. Світова мережа вже діє як механізм, «сама вибирає шлях розвитку завдяки самоорганізації ... перетворюється на нову планетарну структуру – Сіноргонет» [4].

Текстостворювальний аспект кібержурналістики проявляється досить виразно: це, по-перше, співвіднесеність з єдиним глобальним гіпертекстом як семіотичним елементом єдиної планетарної структури – Сіноргонета і як всеохоплювальним артефактом, феноменом, іманентним гіперцивілізаційним утворенням; по-друге, це оперування гіпертекстом на рівні будь-якої конкретної області, навігація в межах якої здійснюється завдяки відповідним гіперпосиланням; по-третє, формування та використання різних текстів, адаптованих до певних мультимедійних систем, а саме, текстів символічних, іконічних, індексальних тощо; по-четверте, у кіберпросторі можуть з'являтися тексти у формі фрагментів більш великих семіотичних утворень, які при цьому зберігають можливість до смислородження, – гіпотексти, що також пристосовані до конкретних мультимедійних каналів і реалізуються за допомогою різних груп знакового матеріалу.

Процеси, що спостерігаються у сфері кібернетичної текстової комунікації, мають певне обґрунтування у духовному та соціокультурному плані, торкаються важливих сторін людської екзистенції; органічно пов'язані з досвідом. Тексти мультимедійних систем генетично пов'язані з традиційними текстами, тобто ні в якому разі не можна відокремлювати суперсучасні електронні мультимедійні тексти від представлених у паперовому варіанті – у книжних та журнально-газетних виданнях.

Внаслідок можливостей мультимедійних засобів такі тексти можуть презентуватися симультанно та багатоаспектно. Мультимедіа, безперечно, відвойовують все нові сфери у кіберпросторі, але говорити про те, що вони стали засобом масової інформації,

поки що передчасно, тому що мультимедіа, у суто технічному варіанті, ще не мають такого поширення, як, наприклад, традиційна газета.

Широке поширення системи мультимедіа, причому у різних варіантах, мусить послужити імпульсом для пошуку ще більш досконалих технологій формування текстових комплексів, які використовуються зокрема у кібержурналістиці. Мультимедійні тексти за своєю морфологічною природою, екзистенціальним принципом, глибині впливу на аудиторію відрізняються від текстів, які були відомі раніше, незважаючи на генетичний зв'язок з ними. Усе більше журналістських творів з'являється в електронному варіанті і передається мультимедійними каналами, вплив законів кібернетичного простору стає все більш відчутним. За таких умов ми і спостерігаємо вже досить активну діяльність електронних видань, намагаємося визначити, яке місце у житті людини займають ці дивовижні артефакти, хоча їх, безперечно, не можна розглядати окремо від традиційних друкованих видань.

Проте вже десятки років щодо друкованих видань, зокрема періодичних, звучать невтішні прогнози: газета зникне. Проте, незважаючи на можливе перебільшення масштабів тієї загрози, яка існує для традиційних періодичних видань, слід визнати, що електронні ЗМІ тиснуть паперові видання. Але в той же час говорити про близьку смерть останніх не має сенсу, оскільки це питання не стільки технічне, скільки глибоко філософське: якщо у суто технічному відношенні комунікаційний потенціал традиційної преси за деякими параметрами дійсно поступається електронним каналам і у віддаленій перспективі може бути вичерпнута, то інші її особливості – зі сфери логіко-понятійної, психоестетичної і навіть ергономічної – обумовлюють поки що досить високий і відносно стабільний рівень привабливості для аудиторії. Взагалі друк, зокрема традиційна книга, завдяки унікальній текстовій організації, може передавати дуже тонкі смисли, нюанси настрою, естетичні напівтони, і «саме ця її гнучкість, здатність виконувати багато завдань у комунікативному плані й надає їй дивовижної життєстійкості, існування у віках, як уявляється, невичерпні ще можливості виразності та варіативності. Ми бачимо її майбутнє довгим та світлим» [1, с.8].

Прогноз з питання долі паперового друкованого видання в цілому має оптимістичний характер. При цьому абсолютно справедливо звертається увага на різницю у принципах текстоутворення у паперових та електронних виданнях: «...відомо, що з психологічної точки зору читання з паперу більш комфортне, оскільки людина оцінює загальну довжину тексту, бачить число абзаців, а також скільки вже прочитано, скільки ще залишилось, регулює швидкість читання. Екран електронної книги дає лише приблизне уявлення про кількісні характеристики тексту» [6].

Таким чином, протягом останнього десятиліття ми спостерігаємо в діалектичному відношенні виключно показову і відмічену особливою напруженістю ситуацію. Її характеризують, з одного боку, гостре протистояння, а з іншого – взаємоприспосовування і навіть взаємопроникнення та зрощення різних за типом ЗМІ – друкованих та електронних. На практиці це знайшло вираження в об'єднанні газетних і комп'ютерних концернів. Мультимедійні засоби дозволяють представити традиційні ЗМІ у новому ракурсі, різко збільшити читачку аудиторію, підняти оперативність – друковані видання розміщують на Web-сторінках свої випуски повністю навіть напередодні появи друкованого варіанту.

Деякі періодичні друковані видання почали створювати спеціальні мережеві випуски, а не тільки дублювати свої газетні тексти, що вимагає особливих підходів у відборі матеріалу, його організації та форм подання у Web-просторі.

У світовій практиці затвердились такі поняття, як електронна журналістика (Electronic journalism), екранний текст та електронне видання (electronic publishing) – електронна система, за допомогою якої публікація здійснюється у електронному варіанті і яка дозволяє відтворювати вербальні тексти, графіку, таблиці та інші фіксовані семіо-

тичні комплекси або підготовлені раніше у паперовому варіанті, або – безпосередньо в електронному [10, с.23, 69–70].

Поступово – приблизно вже з кінця 80-х років – у життя увійшло поняття електронної газети. Це явище ще не зовсім осмислене і ототожнене у філософському плані, але значення його важко переоцінити. Це не просто поява незнаного до того феноменологічно особливо вираженого артефакту, але й зумовлене ним глибинне перетворення багатьох структур у соціально-культурній сфері, зміна стилю поведінки тощо. Практично почала здійснюватися глобальна зміна артефактів, які постійно використовуються: гутенберзька модель друку почала стрімко й докорінно модифікуватися.

Поняття електронної газети, проте, потребує уточнень, оскільки ще не визначилась його канонічна дефініція. Найбільш поширеним цей термін став у 90-ті роки: електронною газетою фактично стали вважати відтворені на екрані тексти з більш-менш оперативною інформацією.

У США з'являється домашня напівавтоматична електронна газета, яка знає свого читача та сама щоденно компонує для нього матеріали, використовуючи телеграфні агентства, бази даних..., телевізійні новини» [2, с.38-44].

Можна твердити, що електронна газета успадкувала від паперової багато принципово важливих якостей, хоча разом із цим виключно глибоко інтегрована із сітовими каналами, включаючи телевізійний.

Редактор лондонської газети «Observer» Д.Рендалл вважав електронними «всі ці газети на екрані», які використовують Інтернет, «інформаційний шлях глобального масштабу, здатні з'єднати комп'ютери по всьому світу. Така «екранна газета» просто перестрибує через звичні сходи – набір та поширення. Таким чином не тільки знижується вартість газет, але й вирішуються усі проблеми, пов'язані з державною монополією, з нестачею типографій, систем поширення тощо». За Рендалом, «електронні газети будуть мати змогу майже до безкінечності збільшити об'єм висвітлення інформації шляхом підключення бібліотек комп'ютерних «вирізків» та відкриття доступу до неімовірного об'єму додаткового матеріалу, що міститься в інших комп'ютерах. Таким чином, читачі у майбутньому, можливо, зможуть не тільки прочитати на екрані статтю про щось..., але й мати потім доступність до відеозображення» [7, с.363–364].

Концептуально дослідити феномен електронної газети намагаються й німецькі спеціалісти в галузі ЗМІ. П.-Й.Рауе, досить скептично реагуючи на думку про те, що «електронна газета замінить друковану», визнає, що «ми переживаємо надлишок змін», та наводить твердження С.Дікмана, принципово погоджуючись з ним: «Насамперед поширюються газетними видавництвами тільки електронні... додатково розроблені матеріали; наступним кроком є переведення на цифрову основу та поширення зведеного до єдиного варіанту газети; кінцевим результатом розвитку є новий засіб масової інформації – поєднання газети, радіо, телебачення та словника, яке до того ж інтерактивне, та нищить, таким чином, межу між видавцем і споживачем: електронна газета» [11, с.11–12].

У цьому ж напрямку розглядає проблему мюнхенська журналістка К.Ріфлер. Вона вважає, що електронній газеті притаманні елементи традиційної, і за приклад бере американську «Access Atlanta» в онлайновому варіанті: присутня титульна сторінка, анонс про матеріали, фото, показник змісту, а також випуск місцевої інформації, коментарі, публікації на теми економіки та спорту, об'яви – і все це можна прочитати вже о десятій вечора, у той час як сусід мусить чекати до ранку, поки йому не покладуть газету перед дверима». Зустрічається, проте, у Ріфлер дуже суттєве пояснення: «Зміст онлайнових продуктів відрізняється від змісту друкованих газет» [12, с.142].

У цьому, мабуть, і маємо відповідь на питання – що собою являє електронна газета. Її своєрідність та унікальність полягає, безперечно, у безмежній можливості розкриття глибини змісту, який зафіксований у різноманітних текстуальних комплексах. Вона, і це необхідно підкреслити, зовсім не точна електронна копія друкованого видання, не текст, від-

творений у різних варіантах завдяки технічним можливостям, хоча без них, певна річ, електронна газета не мала б змоги з'явитися. Постійні технологічні інновації супроводжують її протягом усіх років існування, що підвищує якість, але не призводить до змін на рівні родової ідентифікації: електронна газета, яка виникла колись як самостійний засіб масової комунікації, такою й залишається, хоча й змінює час від часу свої видові ознаки. Так, нещодавно у межах даного родового утворення виділилось нове, суто видове – портативна електронна газета. Найбільша в Японії загальнонаціональна щоденна газета «Майнити симбун» не тільки випустила її вперше у світі, але й успішно провела передплатну компанію. Тексти можна приймати п'ять разів на тиждень японською мовою. Газету можна читати у мініатюрному комп'ютері у будь-якому місці. Електронна версія поновлюється двічі на день, а за необхідністю ще частіше. Все це дозволяє думати, що «перспективи електронної газети виглядають привабливо» [8].

Отже, можна дійти таких висновків. По-перше, треба констатувати, що електронне видання у широкому онтологічному плані вже стало реальністю. При цьому треба зауважити, що термін «електронна преса» не є технічно точним, а скоріше метафорично віддзеркалює суть цього явища. Але термін прижився завдяки, насамперед, тому, що має вказівку на діалектично складний безпосередній зв'язок електронних видань з традиційними, паперовими, на їх споріднення, пряму спадкоємність.

Електронна газета являє собою тип електронного видання, що існує в мультимедійній системі on-line, хоча, в принципі, можливе існування у системі off-line; це тип видання, що не поступається оперативністю висвітлення подій іншими електронними ЗМІ, відрізняється високим рівнем інтерактивності. В електронній газеті особливим чином здійснюється моделювання та побудова текстів різноманітних модифікацій, взаємне їх глибоке інтегрування. У перспективі «дотримання канонічному тексту стане необов'язковим. Поступово щезне й уявлення про книги як артефакти», хоча, певна річ, і традиційна книга, і електронне видання не перестануть бути артефактами, а будуть лише відповідно сприйматися [5, с.245].

Електронна газета надає читачеві безмежні творчі та евристичні можливості: вибирати більш зручну гарнітуру шрифту, необхідний кегль, регулювати ширину набору, збільшувати фрагменти ілюстрацій тощо. Крім того, читач має можливість повертати тексти у різних напрямках, а саме в інформаційному (миттєво викликати через Інтернет додаткові факти, пов'язані з подією) та в аналітичному (знаходити коментарі, різні думки з проблеми).

Електронна газета, яка є продуктом кібержурналістики, не створюється у кінцевому, фіксованому предметному виявленні, як, наприклад, її праматір – паперова газета. Вона феномен віртуальної реальності, який може втілюватися фактично у будь-яких змістовних та формальних утвореннях, може легко перетинати простір і, може у будь-який час затребуваний й матеріалізований у необхідному припустимому варіанті – в екранному, а частково й у паперовому.

Тексти електронної преси як унікальний артефакт ефективно використовуються у практичній сфері: сільові видання доступні людині повсюдно, вона може читати новини, знаходячись у будь-якій точці планети» [3].

Проте ці видання не мають антагоністичних протиріч з традиційними друкованими ЗМІ, тексти яких друкуються на папері. Більш того, ми спостерігаємо органічний взаємозв'язок, і тому мусимо розглядати електронні видання як результат дуже тривалого еволюціонування, яке здійснилося у межах тієї ж системи, до якої включені й паперові видання.

Незважаючи на те, що між цими феноменами – електронною й паперовою пресою – є величезна різниця технологічного характеру, проте у самій своїй суті, глибинному відношенні – це явища того самого роду, тому що залишається незмінною системоформуюча основа, а саме, текстуальний простір, представлений різними семіотичними комплексами.

Безперечно, діалектика існування текстового матеріалу складна. Він може набирати в електронному варіанті тільки для нього характерні риси, але кардинальних системних зсувів бути не може: текст, знаковий, особливим способом вибудований конструктивний матеріал, визначає у родовому відношенні причетність до особливого артефакту – видання у традиційному паперовому чи електронному вигляді. Вже навіть наявність семіотичного компонента, структурованого текстуального поля є головним детермінуючим чинником. Категорії змісту та форми, якщо абстрагуватися від конкретного матеріального носія інформації, реалізуються в обох випадках практично аналогічним способом.

Не є принциповим, системовизначальним, яка використовується для цього предметна база, тому що цей процес зумовлений якісною своєрідністю видання як особливого феномена, його генезою, метою та завданнями.

РЕЗЮМЕ

У статті розглянуто текстотворювальні аспекти кібержурналістики. Особливу увагу приділено спільним та відмінним семіотичним компонентам паперової та електронної преси, їх системоформуючій основі, а саме – текстуальному простору.

SUMMARY

The text-formation aspects of cyber journalism are considered in the article. A special attention is drawn to the common and differentiating components of paper and electronic mass media their systematization foundations as well as to textual space lay out.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Адамов Е.Б. Форма книги // Адамов Е.Б., Валуенко Б.В., Кузнецов Э.Д. Книга как художественный предмет. Ч.1. Набор, фактура, ритм. – М., 1988. – С.8.
2. Андрунас Е.Ч. Развитие информационной индустрии США: итоги и перспективы // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 1990. – №4. – С.38-44.
3. Анненков А. Знаменательное событие в российском Интернете: Сетевые СМИ столкнулись с проблемой излишней популярности // Известия, 2000, авг.
4. Залесов Т. Синергетика и Интернет // Санкт-Петербургские ведомости, 1999. 26 окт.
5. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика: Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. – М., 1995. – С.245.
6. Лурье Д. В новый век без бумажных книг? // Привет, Интернет! – 2000. – №4.
7. Рэндалл Д. Универсальный журналист / Пер. с англ.. А.Порьяза. 3-е изд., испр. и доп. – Великий Новгород; С.-Петербург, 1999. – С.363-364.
8. Свистунов С. В Японии делают первую в мире портативную электронную газету // Финанс. изв. 1996. 29 марта.
9. Скотт Э. Компьютерные технологии в журналистике: Введение в основные понятия и методы. Использование баз данных и приемов сетевой журналистики в службах новостей / Пер. с англ. Н.Орлова. – М., 1998. – С.37.
10. Ratzke D. Lexikon der Medien. Elektronische Medien: Aktuelle Begriffe, Abkürzungen und Adressen. 2. erw.u.aktualisierte Aufl. Frankfurt a.M., 1990. – С.23, 69-70.
11. Riefler K. Zurück aus der Zukunft. – eine Reise durch amerikanische Zeitungshäuser // Ibid. – S.142.
12. Raue P.-J. Ein Blick zurück in die Zukunft // Zeitung der Zukunft. – Zukunft der Zeitung: Bilanz – Konzepte – Visionen / Hrsg. von B.L.Flöper, P.-J.Paue. Bonn, 1995. – S. 11-12.

Надійшла до редакції 12.04.2005 р.

ББК 83 Т19

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗА ДОНЕЦКА СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Е.В.Тараненко

Процесс возрождения мифа, как правило, может протекать в двух направлениях: **ремифологизации**, т.е. сознательной попытки сконструировать новый миф по правилам и законам архаического мифа (в произведении искусства, в политической системе, в системе фанатического поклонения кому-либо или чему-либо), и **демифологизации**, т.е. использования мифологем и мифологических сюжетов для их намеренного развенчания, отрицания, показа их негативных сторон.

Питирим Сорокин справедливо указывал, что огромная часть умственного багажа современного человечества, не исключая и ученых, состоит не из знаний, а из верований, субъективно принимаемых за знания. Мы часто удивляемся дикости верований наших древних предков, но наши потомки, возможно, будут удивляться абсурдности наших идей [1]. Это еще раз убеждает нас в вечной мифологичности человеческого существования.

Современные исследователи социальной и политической психологии отмечают, что «ремифологизация современного обыденного сознания характеризуется тремя типами воспроизводства мифа: автоматическим воспроизведением мифа в обыденном сознании; идеологическим навязыванием (как сознательный экспансионизм обыденного сознания, в отличие от бессознательной экспансии) и художественной реконструкцией мифа в сфере эстетического творчества» [2, с.174]. Т.е. мифы могут функционировать в массовом общественном сознании, в социальной и политической сферах, в мифопоэтическом творчестве. В аспекте воздействия СМК нас, в основном, будут интересовать первая и вторая сферы возрождения мифа.

Вероятнее всего, они формируются при обособлении человека от своих корней, отрыве и утрате связей с селско-общинным, семейно-родовым способом жизни (при котором, в основном, действуют суеверные остатки первичной мифологии). Ярче всего это выявляется при проживании в городах. Не случайно, одной из таких наиболее интересных областей функционирования социокультурной мифологии являются мифы городов (мифы Петербурга, мифы Парижа, мифы Москвы, мифы Одессы, мифы Донецка).

Общественное сознание городского человека характеризуется отчужденностью, потерянностью, тревогой, дезориентированностью, и, как следствие – передоверием большей части собственного жизненного опыта уже сформированным в массовой культуре истинам. «В силу неукорененности человека ему требуются фиксирующие его в социальном пространстве концепции. Эти симулякры в избытке поставляются ему социумом. Социальный миф характеризуется разумной уступкой больших зон объемлющего социальному организму» [3, с.67]. Это, пожалуй, и есть наиболее пригодная почва для создания социокультурных мифов. В данном случае под социокультурным мифом мы понимаем, вслед за Р.Зобовым и В.Келасевым, «связанный с тем или иным этносом миф, который служит источником многочисленных более конкретных мифов индивидуального и коллективного разума», причем такой, который дает «некую компенсацию и дополнение недостающей, но очень важной для человека информации» [3, с.84-85].

В качестве таковых могут выступать успокоительные, создающие иллюзию стабильности и традиционности идеи, организованные в стройную, непротиворечивую систему, пытающуюся вытеснить другие, заменить собой реальность и, как правило, требующую фанатичной преданности себе. Создаются они различными средствами

массовой коммуникации: идеологическими, политическими, информационными. Такие системы имеют ряд общих черт с архаическим мифом.

Во-первых, они возвращают человеку утраченную **коллективность**, «инкорпорированность» (А.Ф.Лосев), ощущение причастности к чему-то большему и повышающему социальную значимость, статус каждого (например, «Я – украинец, дончанин, болельщик команды – чемпиона Украины по футболу» и т.п.). Эту черту М.К.Мамардашвили определял как мифологическую соучастность, приобщающую профанное бытие человека к сакральному смыслу, сообщающую жизни человека высшую целесообразность.

Во-вторых, такие мифы выбирают себе в качестве точки отсчета **прецедент**, например наиболее преобладающий атрибут при образовании города (город шахт, город терриконов, город златоглавых церквей и т.п.) или факт свершившейся революции, которая теперь и будет той сакральной, священной осью «нового мира», по которой будут сверяться, проверяться и мифически объясняться все последующие события.

В-третьих, прецедентное событие утрачивает свой конкретный, частный, индивидуально-человеческий смысл, обобщается, **символизируется**. Этот процесс замечательно охарактеризован Р. Бартом. Имеется надстроенная семиологическая система: здесь есть означающее, которое само представляет собой первичную семиологическую систему (*терриконы – часть шахтного производства*); есть означаемое (*на территории Донецка много терриконов*); наконец, есть **репрезентация** означаемого посредством означающего [4, с.80]. При этом прежнее означающее становится означаемым, миф становится опустошающей формой для обедненного содержания. Мифы – не примеры, не символы, не знаки, они – **алиби** идеи. Именно в этом и заключается суть создания вторичной семиологической системы в мифе. Миф натурализует свой концепт, делает его настолько живым, убедительным, настоящим, естественным (*терриконы на реальном фоне города, общим планом, но со всеми узнаваемыми ландшафтами*), что адресат даже не замечает его ненатуральности, навязчивой искусственности. Согласно точному определению Р.Барта, **«миф представляет собой такое слово, в оправдание которого приведены слишком сильные доводы»** [4, с.96].

В-четвертых, миф выполняет функцию социального порядка, в древности подавая матрицы норм и табу для образования общества, а в современности создавая иллюзию правильного порядка, успокоительную для человека в эпоху энтропии. Жизнь в иллюзорно упорядоченном, кодифицированном мире дает ощущение внутреннего комфорта, снятия одновременно ситуации одиночества и индивидуальной ответственности. По словам Бронислава Малиновского, «миф является существенной составной частью человеческой цивилизации; это ... прагматический устав примитивной веры и нравственной мудрости». В этом смысле и вся культура «представляет собой, по существу, инструментальный аппарат, благодаря которому человек получает возможность лучше справляться с теми конкретными проблемами, с которыми он сталкивается в природной среде в процессе удовлетворения своих потребностей» [5, с.108-109].

Именно по мифологической оси правильного порядка СМК формируют основную бинарность: свое и чужое, революционное и контрреволюционное, «белые» и «красные», «оранжевые» и «сине-белые», народ и враги народа, и т.п. Это мифологически облегчает для адресата СМК ситуацию индивидуально ответственного выбора, здесь психологически комфортные функции выполняют коллективность («*Я не один такой, нас много*») и прецедентность («*Это уже было однажды; это уже делалось до меня; это придумали другие умные люди*»).

В-пятых, такой новый социальный миф быстро обрастает ограниченным набором своих культовых фигур (например, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин; Ющенко, Тимошенко, Томенко, Луценко, Порошенко), новых фетишей, как правило, атрибутов новой идеологической системы (красная звезда, партбилет, серп и молот, вымпелы и грамоты,

пионерский галстук, значки; оранжевые ленты, шарфы, апельсины и т.п.) Как и миф архаический, такая система не знает абстрактных моральных ценностей, добра и зла, поскольку в ней все события оцениваются с точки зрения собственной бинарной системы, соответствия или несоответствия священному прецеденту, главной идее. Например, лозунгу «Дело Ленина живет и побеждает!» в коммунизме или слогану «Разом нас багато, нас не подолати!» в Украине после оранжевой революции декабря 2004 года.

В-шестых, такая мифологическая система не требует и даже не допускает верификации. По справедливому замечанию В.Е.Хализева, «миф – это такое общезначимое высказывание, которое требует к себе полного, безоговорочного, нерелективного доверия и такое доверие вызывает – или всеобщее, или, по меньшей мере, значительной части социума. Освоение и переживание мифа – это овладение некой аксиоматикой, самоочевидной и непререкаемой. Миф, иначе говоря, апеллирует к его некритическому восприятию. По Шеллингу, мифологические представления бытуют «как истина и при том как вся, как полная истина», они не допускают сомнения в своей истинности» [6, с.13].

Доверительная удостоверительность – настолько важная характеристика мифа, что, например, Г.-Г.Гадамер считает ее основным определением мифа вообще: «Миф означает не что иное, как способ удостоверения. Миф есть нечто рассказанное, сказание, но такого рода, что рассказанное в этом сказании не допускает никакой иной возможности опыта, кроме той, что была получена с помощью этого рассказа» [7, с.95].

Таким образом, создается непротиворечивая, беспроблемная модель мира, в которой человеку удобно и комфортно существовать, которая открыта его соучастию, в которой все знакомо и понятно. В случае ее умелой смоделированности средствами массовой коммуникации, она уже не требует проверок извне, она абсолютно достоверна для того, кто в ней существует и фанатично ей предан. Такая система внеприродна и побеждает даже основные природные инстинкты человека: инстинкт продолжения рода и самосохранения. Достаточно вспомнить любые случаи смертей и самоубийств ради своего кумира, во имя мифологической идеи абсолютной, фанатичной, не рассуждающей преданности.

Как видно, мифы СМК наиболее продуктивно функционируют при тоталитарном режиме, когда формируется целый клан «мифологов», моделирующих общественное сознание, активно превращающих его в массовое. По определению Х. Ортеги-и-Гассета, сознание человека XX века вообще чрезвычайно готово к массовым, коллективным реакциям на все проблемы современности, к трансформации в массовое, реагирующее на моду и коллективные веяния; но сознание тоталитарных обществ наиболее массово, поскольку эту предрасположенность еще и умело направляют мифологи идеологии, журналистики, рекламы и т.п. В.Руднев так объясняет мифологичность тоталитарного сознания: «Миф – это такое состояние сознания, которое является нейтрализатором между всеми фундаментальными культурными бинарными оппозициями, прежде всего между жизнью и смертью, правдой и ложью, иллюзией и реальностью» [8, с.121].

В наибольшей степени мифологичными, популярными и стереотипизированными становятся идеи, слоганы и образы городской массовой культуры, которая не производит собственные образы, а лишь тиражирует, промышленно и конвейерно воспроизводит образы фундаментальной культуры (истории, политики, идеологии, литературы, живописи, музыки и т.д.). Основными принципами ее производства и восприятия являются усредненность и конформизм («*всем известно*»; «*быть, как все*»; «*все так думают*»; «*жить, как люди*»; «*быть не хуже людей*»; «*все говорят*» и т.п.).

Эта виртуальная реальность усредненной нормы претендует на то, чтобы быть «более настоящей», чем действительная жизнь, заменить собой реальность, вытеснить ее. Поэтому образы и слоганы массовой культуры («*герои трудового Донбасса*», «*гордость Донбасса*», «*Влюбись в свой город!*», «*Болей за «Шахтер»!*») становятся не про-

сто символами и предметами культа, но и элементами нашей повседневной жизни, агрессивно и незаметно вторгаясь в нее.

Чаще всего в науке эти способы вторичной мифологизации оцениваются отрицательно, как мифотворящие словесные покровы, ловкие демагогические ухищрения, скрывающие истинные мотивы и причины действий мифологов (Ролан Барт, Вильфредо Парето, Г.Осипов). Нам представляется, что исследуемая нами область – мифология города в средствах массовой коммуникации, скорее должна быть не оценена, а констатирована. По сути, город тогда может считаться состоявшимся не только в географическом плане, но и в социо-культурном, когда обрастает собственными мифами – преимущественно смоделированными в СМК, но часто и само зарождающимися, а затем подхваченными СМК.

Мифология Донецка активно становилась в 20-е – 30-е годы XX века. По совершенно справедливому замечанию А.Я.Флиера, эпоха построения социализма и знаменитая теория «социалистического реализма в искусстве» были, по сути, первой профессиональной теорией массовой культуры, причем не только теоретиками, но и первыми ее практиками были именно советские политические деятели, идеологи и журналисты. Первые советские мифы были мифами атрибутивно-символическими по форме и промышленно-трудовыми по содержанию. Таковы мифологемы «Донецк – город шахт», «город трудовой славы», «город терриконов», «город людей труда», «город горняков и горняцкой славы», «город черного золота», «город угольной славы» и т.п. Этот циклический ряд дополнял культ «первогероев» труда: Стаханова, Изотова, Ангелиной, Мазая и др.

Уже здесь очевидно приращение к мифологеме шахт другой мифологемы – тождественности для дончан понятий «Донбасс» и «Донецк», почти постоянное их употребление в СМИ Донецка, в идеологических лозунгах и других сферах массовой культуры этих понятий как взаимозаменяемых и метонимически-тождественных.

По сути, миф «Донбасс – шахтерский край» стал заменой космогонии Донецка, «шахтерской столицы», он стал первоосновой и базовым фундаментом для последующего развития не только официальных, но и маргинальных мифологических сюжетов. К маргинальным в советский период можно отнести миф о «новом Вавилоне», о Донецке как смешении языков и народов в своеобразной стихийной вольнице. Но и этот миф базируется на «шахтном» прецеденте, поскольку это «столпотворение народов» формировалось в попытках убежать от коллективизации и раскулачивания, что было возможно при поступлении на работу в промышленный сектор, в основном на шахты.

Разумеется, в Донбассе строились и активно функционировали не только шахты, но и металлургические, коксохимические предприятия. Но концепт угля оказался, во-первых, преобладающим, а во-вторых, самым понятным, ярким, узнаваемым, пригодным для мифологического означивания (*перепачканные угольной пылью лица шахтеров, терриконы на фоне города, глыба угля, шахтерская коногонка, памятник шахтеру, держащему кусок добытого угля и т.п.*). Вполне задействованным он остается и сегодня. Хотя и не столь активно, как в советский период, он, во-первых, периодически оживляется в рекламных и печатных образах (например, лица шахтеров в угольной пыли на рекламных щитах партий, позиционирующих себя как трудовые; обязательные в Донецке предвыборные рекламные фотографии кандидатов с шахтерами; из свежих примеров печатных СМИ – ярко выраженный мифологизм публикации «Добрый уголь» в газете «Салон-пятница» – 22.04.2005). Во-вторых, сохраняется в традиционном принципе номинации всего, что представляет Донецк: фирменный поезд и танцевальный коллектив «Уголек», футбольная команда «Шахтер» со слоганами типа «Даешь победу на гора!», магазины, гостиницы и кафе «Горняк», «Уголек», «Шахтер», «Шахтарочка» и т.п.

Мифологема «угольного Донецка» породила и не менее знаменитую «Донецк – город роз» (по принципу атрибутивной дополнительности: «у нас не только шахты, но и розы»). Не случайно со времени активного функционирования этой мифологемы «от-

крыточным» символом Донецка становится уже упомянутый памятник шахтеру на фоне большой клумбы роз. Фактической основой такого мифа также стали причины промышленного характера. Донецк был включен ЮНЕСКО в десятку самых озелененных молодых промышленных городов Европы, активно развивающийся город подошел к черте миллионного населения, и родился лозунг-мифологема: «Каждому жителю Донецка – по кусту роз!». Мифологическая удачность концепта роз, наглядно представимого, конкретного, «открыточно»-символичного, оживила, или, говоря определением Бодрийяра, «ободрила» собой симулякр угля.

Средства массовой коммуникации города в советский период 70х-80х гг. активно создавали и эксплуатировали культ «угольно-розового» города-миллионера. Как и всякая мифологема, этот образ открепился от своего означаемого, концепт натурализовался и зажил собственной жизнью всепобеждающего и все заменяющего штампа безотносительно к реальной динамике количества жителей Донецка, кустов роз в различные периоды озеленения города и т.п. В полном соответствии с логикой мифологизации концепт «города миллиона роз» активно функционирует в донецких СМИ и сегодня, абсолютно не верифицируясь в явно изменившейся ситуации. Более того, он превратился в продуктивную мифологическую структуру, порождающую из себя последующие циклические вариации. Так, газета «Город» использует эту мифологию в рубрике «Больше чем сенсация!», «оживляя» теперь ее, несколько устаревшую, по принципу контраста: «Город роз покидают крысы!» («Город» – 21-27.09. 2000). Газета «Салон Дона и Баса» в одном из своих материалов описывает Донецк уже как «город миллион роз» («Салон» – 17.12.2004).

Шахтный мифологический прецедент Донецка, как и всякий другой миф, равнодушен к противоречиям и выборочен по сути. Примеры аварий, смертей, высокого травматизма, опасности для жизни, тяжелейших условий труда на шахтах в него не входят. Некоторую часть этих фактов, напротив, мифу удалось приспособить под свой упрощенный порядок. Так, мысль «Труд шахтера необыкновенно тяжел» превратилась в мифологический концепт, давший жизнь новому мифу, последствия которого мы можем наблюдать и сегодня – значит, «Не всякому по силам быть шахтером» – следовательно, «Существует особый шахтерский характер». Идея о горняцком характере тут же парадоксальным, бриколажным, если воспользоваться определением К.Леви-Стросса, образом обернулась в свое обратное – симулякр «Все дончане обладают особым складом характера», «Донбассовец – это особый тип личности с горняцким характером». Эта мифологема, сама сформированная на прецеденте города шахт, настолько соответствовала и коллективной соучастности, и представимости, и узнаваемости, и, главное, мифологической бинарности «свой» – «чужие», что стала распространяться в городских и областных СМИ, подобно эпидемии.

С ее помощью решались и решаются идеологические проблемы прямого противостояния, как, например, в годы Великой Отечественной войны (известная поэтическая строчка «Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано» буквально легла в эту матрицу, превратившись в региональный слоган-клише, по частотности употребления в СМИ 9 мая и 8 сентября иногда перекрывающий даже общепотребительный «Никто не забыт, ничто не забыто»). С помощью этой мифологемы в СМИ решались даже вопросы неравной игры донецкой футбольной команды «Шахтер», которая никак не могла добиться чемпионства, но часто брала кубок по футболу СССР, а затем и Украины: это объяснялось особым, «кубковым характером» команды, который в комментариях донецких журналистов часто трактовался как, по сути, очередное означающее концепта «горняцкий характер».

В период формирования мифа о том, что на фоне экономически неуспешных областей Украины только Донбасс успешен (другая, более агрессивная версия этого же мифа – «Донбасс кормит всю Украину»), мифологема горняцкого характера всплыла в

знаменитой фразе бывшего губернатора Донецкой области: *«Донбасс порожняк не гонит»* (совершенно не случайно примененной и к футбольной теме, когда, наконец, «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу).

Эта же мифологема уже в XXI веке стала основой знаменитого мифа о «донецких», устроивших у себя в городе особое государство беспредела и экспансирующих этот порядок по всей Украине; мифа откровенно агрессивного, уже не промышленно-героического, не экономически-успешливого, но криминально-героического характера. Так окончательно закрепились свойственная мифологическому сознанию **ложная аффилиация через маркеры** (А.Ульяновский), при которой «живущие в мифе склонны сознать свою причастность к некоторым группам, даже если в реальности они не принадлежат к ним. Здесь им «на помощь» приходит данная мифология, предлагая ...объект – маркер принадлежности к группе» [3,с.329].

Так рождаются парадоксы мифологического сознания, при которых факты взрывов, убийств, рэкета в Донецке вызывают не осуждение, а своеобразную гордость по поводу того, что у нас «свои» понятия и законы, мы живем по «своим» правилам, и «чужим» здесь делать нечего.

В свое время Ролан Барт считал одним из наиболее опасных «пережитков» мифа бинарное деление мира на верх – низ, добро – зло, черное – белое и т.п. Такие антитезы, некогда созданные человеком для упорядочения мира, в современной ситуации мешают, по мнению ученого, смысловой полноте восприятия мира, их необходимо, но невозможно разрушить. Эта невозможность связана с глубочайшей подсознательной укорененностью бинарной систематики мира, линия смысла проходит именно по этим тысячелетним противопоставлениям. И поскольку мифологичная современность, по Барту, это постепенное непрерывное испарение смысла, человек должен стараться научиться сохранять и понимать смысл в сложившемся «диктате структур», научиться обманывать и обыгрывать мифологическую схематичность.

В мифе о «донецких» донецкая мифология дошла до критической точки такого схематизма, деления мира на «своих» и «чужих», поскольку в «постреволюционную эпоху» этот миф из **мифа действия** (каковым является всякий миф, требующий непосредственного соучастного действия людей по «улучшению показателей», по «героическому беззаветному труду» и т.п.) в **миф противодействия**. И ложная аффилиация вырастает в наиболее эффективную (в этом качестве хорошо известную рекламистам), но тем и более опасную форму **ложной аффилиации через врагов**, мифологии, которая «использует второй механизм объединения-аффилиации – спланивание против окружающего антагониста – врага» [3,с.329].

К сожалению, именно по этой схеме многие донецкие СМИ проводили разделение украинцев на «своих», «донецких», «восточных» и «чужих», «националистических», «западных» в декабре 2004 года. После объявления ЦИК о победе В.Януковича на президентских выборах-2004 газеты запестрели заголовками «Донецк отметил победу»; «Веское слово земляков нового президента» («Жизнь»); «Голос Донбасса решает!» («Голос Донбасса»); «Донбасс объединит всех нас» («Город»), а после решения Верховного суда о фальсификации результатов голосования – «Оранжевые пути национализма» («Город»); «Грани оранжевого безумия» («Панорама»); «Помаранчевая» идея: грубо и не по-европейски...» («Жизнь»); «Гарбузы для Донецка, Или почему нас не любят» («Салон»). В данном случае мы говорим не о содержании заголовков и материалов, а о том, что все они построены по принципу «мы» - «они»; «свое» - «чужое». Справедливости ради следует отметить, что и ответные требования «окружить весь Донбасс колючей проволокой», лозунги «Весь Донбасс – сплошная зона» «Донбасс – начало Украины» и т.п. суть мифологемы того же опасного порядка.

Особенно интересно, что в круговороте мифологем средства массовой коммуникации мифологизировали и цвета (так, в донецких спортивных СМИ словно по негласной договоренности был введен временный мораторий на перифраз «оранжево-черные», обычно употребляемый для футбольной команды «Шахтер», поскольку мифологема оранжевого, как мы видим, употреблялась в другом значении); и географические понятия востока и запада, Европы и Америки. В «не-европейскости» и «проамериканизме» обе стороны мифологически-коммуникативных битв равно аргументированно упрекали друг друга. Собственно, аргументами служили сами мифологемы, ярлыки, хлесткие клише.

Совершенно очевидно, что сегодня ситуация в донецких средствах массовой коммуникации сложилась такой, что прежние симулякры устаревают, покрываются нежелательными коннотациями для современного использования в СМИ, рекламе и атрибутике города, как-то средства предвыборной агитации или атрибутика советской идеологии. На смену им приходят новые, при чем нередко более «старые», чем советские. Символический герб города – рука рабочего, держащая молот, сменен на уникальное изделие донбасского умельца – знаменитую пальму Мерцалова. Город активно ищет свои корни в, так сказать, юзовском периоде. Многие современные издательские и рекламные проекты сопровождаются фотографиями старой Юзовки, как, например, первая антология «Книга донецкой прозы «ENTER-2000», многочисленные календари, представляющие Донецк, серия материалов газеты «Салон» «Прогулки по старой Юзовке, прогулки по Донецку»: «Донецкие линии: «черный низ», «белый верх» («Салон» – 22.04.2005).

Советский период также мифологизируется, теперь в сторону мифологического плюса, положительного полюса бинарности. Показательным примером могут служить проекты «Салона-пятницы»: «Донецкие тусовки, или Мир, который мы потеряли» («Салон» – 3.12.2004); «В мифах прославленный город» («Салон» – 17.12.2004); «Идолы: эпохальные дамы Донбасса от Паши Ангелиной до Тутты Ларсен» («Салон» – 4.03.2005); «Энциклопедия донецкой ностальгии, или Мир, который мы еще помним» (серия публикаций «Салон» – апрель – май 2005). Поиски «новых старых» донецких мифологем идут не только в разновременных, но и в пространственных пластах: проект «Сердце Донецка ищи на окраинах» («Салон» – 4.02.2005) или слоганы на билбордах в отдаленных районах города «Донецк – город без окраин».

Подобный процесс мифологизации средствами массовой коммуникации истории города, на наш взгляд, вполне естественен и менее опасен, чем создание антагонистических мифов, спекулирующих на ложной аффилиации через образ врага. В обыденном сознании предпринимаются попытки мифологизации Донецка по принципу исключительности (например, *Донецк – город самых высоких цен в Украине; Донецк – город самых красивых девушек в Европе; Донецк – самый загазованный город Европы* и т.п.). Донецкие СМИ часто используют эти симулякры в соответствии с логикой мифологизации: не верифицируя, но утверждая. Интересно, что их подтверждения, как правило требуют от гостей города в интервью. Так, уже постоянной традицией пресс-конференций зарубежных легионеров команды «Шахтер» стал обязательный вопрос, задаваемый им донецкими журналистами: «Правда ли, на Ваш взгляд, что в Донецке живут самые красивые девушки?».

Мы уже указывали на тот факт, что мифологию города невозможно однозначно оценить, и тем более, отменить, запретить. Она является данностью городской массовой культуры, при чем данностью, явно затребованной массовым сознанием, в особенности сознанием обыденным. Но при этом потребителям мифологической информации следует, по-видимому, в любом случае, помнить о предупреждении православного философа и поэта Олеси Николаевой о том, что результатом ритуального существования является чувство приобщенности к знаковому искусственному миру как реализованный смысл жизни [9, с.112-114]. Стоит ли передоверять свою жизнь виртуальному миру рек-

ламы, телевидения, печатных СМИ и т.п., решают каждому самостоятельно, а вот вопросы современного мифотворчества, несомненно, должны быть всерьез сопряжены для его создателей с проблемой ответственности.

РЕЗЮМЕ

Статтю О.Тараненко присвячено вирішенню актуальних проблем створення міської міфології засобами масової комунікації. Цей процес досліджено на матеріалі міфології міста Донецьк та створення міфологеми Донецька в регіональних ЗМК.

SUMMARY

The article by H.Taranenko is devoted to solvating of the topical problems of the creation of the urban mythology by the mass-media. This process is researched basing upon the material over mythology of the Donetsk and creation of the Donetsk mythologem in regional mass-media.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.
2. Политическая психология./ Под общ.ред. Деркача А.А. – М.: Академпроект, 2001.
3. Ульяновский А. Мифодизайн: Коммерческие и социальные мифы. – СПб.: Питер, 2005.
4. Барт Р. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1994.
5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.-К.: Рефл-бук, Ваклер, 2001.
6. Хализев В.Е. Мифология XIX-XX веков и литература.// Вестник МГУ. – Серия 9. Филология. – 2002. – №3. – С.7-20.
7. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: «Искусство», 1991.
8. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М.: «Аграф», 1997.
9. Николаева О. Православная культура. – М.: Изд. Рус. Патриархии, 1999.

Надійшла до редакції 18.06.2005 р.

УДК 655.11

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ МІСЦЕВИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ ДОНБАСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ (90-ті РОКИ XX ст.)

І.К.Дімітрова

Засоби масової інформації повинні виконувати в суспільстві низку функцій, покликаних забезпечити гармонійного розвитку демократичної, правової держави. Мас-медіа, шляхом критики та контролю над діяльністю владних інституцій, формують громадську думку, що спрямовує їх функціонування згідно з основними засадами державної ідеології [1]. Під впливом певних особливостей соціального розвитку країни, обумовлених переходом до ринкової економіки – інфляцією, застарілістю матеріально-технічної бази, зростанням цін на папір та поштові послуги, зберігався контроль держави над інформаційною системою. Функції ЗМІ підпорядковувалися забезпеченню впливу владних структур та фінансово-промислових груп, від яких вони залежали, на суспільство. Унаслідок цього мінімізувалася дієвість мас-медіа, як інструменту сприяння демократичним перетворенням у соціально-економічній та політичній сферах розвитку країни [2]. У діяльності засобів ма-

сової інформації поширилися такі негативні явища як навмисне ігнорування актуальних проблем суспільного розвитку, спотворення фактів, публікації на замовлення органів влади та посадових осіб. Негативні явища розвитку друкованих ЗМІ перешкоджали реалізації свободи слова в Україні.

Як джерело дослідження були використані періодичні видання (обласної та міської сфери розповсюдження), що виходили на території Донецької області в зазначений період: – «Акцент», «Донбасс», «Вечерний Донецк» (м. Донецьк), «Вперёд» (м. Артемівськ), «Енавиевский рабочий» (м. Єнакієве). Крім того, авторка використала збірки Книжкової палати України «Друковані та електронні засоби масової інформації», в яких подаються статистичні відомості про періодичність виходу, наклад, обсяг, засновників видань.

Дослідженню проблем розвитку друкованих мас-медіа присвячені роботи Н.В.Коноваленко, Ю.П.Васьківського, Ю.Е.Фінклера, І.Г.Ненова, О.Д.Кузнецової. Н.В.Коноваленко розглядає вплив політичних, економічних та культурних умов розвитку країни на діяльність ЗМІ в період, так званої «ризикової державності та демократії» від проголошення незалежності (1991 р.) до прийняття Конституції (1996 р.) [3]. На думку автора, на діяльності періодичних видань найбільше позначилися економічні чинники: високі ціни на папір, енергоносії, низький рівень платоспроможності населення, що призвело до зменшення накладів, припинення діяльності видань, перехід їх у залежність від владних інституцій та засновників.

Ю.Е.Фінклер вивчає залежність типологічної структури, характеру тематики публікацій місцевих видань від соціально-економічних умов розвитку регіонів [4]. Специфіка цих ЗМІ полягає в тому, що вони працюють у жорсткому ринковому просторі, економічно підпорядковані читацькій аудиторії. Вони створюють структуру надання інформації, враховуючи особливості розвитку місцевості, в якій функціонують. Мас-медіа виступають у ролі адекватного соціально-економічного «барометру» регіону.

Дослідник виділив дві моделі видавничої поведінки ЗМІ, коли у засновниках друкованого видання виступають органи влади і управління, кожен випуск формується з урахуванням їх соціального і політичного замовлення, якщо мас-медіа належить комерційним структурам та приватним особам, його публіцистична пропозиція залежить від соціального замовлення читацької аудиторії. Як і в першому, так і в другому випадках зміст газети або часопису визначався специфікою соціальної структури та економіки регіону.

Враховуючи це, автор виокремив три типи регіонів, що мали характерні особливості розвитку друкованих ЗМІ: 1) соціуми великих урбаністичних територіальних структур – області з високим рівнем розвитку промисловості, переважною частиною працездатного населення, що має вищу освіту (Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська); 2) регіони, зорієнтовані, переважно, на сільськогосподарське виробництво (Житомирська, Вінницька, Рівненська, Хмельницька області); 3) мішані територіальні структури, що не є регіонами суцільної урбанізації (Івано-Франківська, Полтавська, Сумська, Черкаська) [5]. Специфіка цих регіонів визначає особливості типологічної структури, тематико-проблематичну спрямованість ЗМІ.

За аналізом тематики публікацій, автор виділив три різновиди друкованих видань індустріальних областей, яким притаманний соціальний попит, певна аудиторія та оригінальна творча структура: щоденні видання, що надавали оперативну інформацію громадсько-політичного спрямування; газети та часописи репортерського характеру, які використовували, переважно, такі жанри, як розширені інтерв'ю, журналістські розслідування; тижневі друковані видання, орієнтовані на достатньо освічену аудиторію, що надавали перевагу публікаціям аналітичного характеру.

У роботі О.Д.Кузнецової «Трансформація та інтерференція моралі незалежних газетних видань» на основі статистичних даних, що характеризували функціонування ЗМІ, заснованих колективами редакцій, громадськими та творчими спілками у різних регіонах, авторка аналізувала особливості їх діяльності у сучасних економічних та політичних умо-

вах [6]. Вона робить висновок, що несприятливі умови найбільш негативно впливали на розвиток саме цих мас-медіа. Пристосовуючись до нових умов, ці видання брали активну участь у передвиборчих компаніях з метою отримання додаткових коштів за рахунок політичної реклами, друкували велику кількість комерційних публікацій.

Діяльність друкованих мас-медіа місцевої сфери розповсюдження досліджується у роботі А.Марусова «Ресурс довіри» [7]. Автор зазначив, що стан фінансово-економічних ресурсів цих видань визначався як об'єктивними так і суб'єктивними факторами. Нестабільність економічної ситуації, слабка матеріально-технічна база, відсутність висококваліфікованих кадрів поставила ці мас-медіа в залежність від органів місцевого самоврядування, що впливали на їх діяльність, визначали тематику публікацій.

Вивченню розвитку регіональних видань присвячено дослідження, що проводилось у межах проекту «Громадська експертиза. Свобода слова» незалежним фондом «Центр «Суспільство» – «Все про медіа регіонів України». У цій роботі аналізувались соціально-економічні умови розвитку місцевих періодичних видань. На основі статистичних даних про їх кількість, розподіл за формою фінансування та засновниками були вироблені показники індексу свободи слова в областях України, що розраховувались як середнє арифметичне індексів свободи доступу до інформації та її виробництва. Показники до того ж включали дані соціологічних опитувань, на основі яких встановлювали індекси тиску влади на мас-медіа, незалежності їх від владних інституцій та задоволення ними інформаційних потреб населення. Середній показник індексу свободи слова у 2000 р. становив 2,4 (за п'ятибальною шкалою). Для Донецької області цей показник складав 2,3, притому, що найвищі показники (2,7-3,2) мали Львівська, Житомирська, Вінницька області та АР Крим [8].

Метою роботи є визначення ролі місцевих друкованих мас-медіа у розбудові демократичного суспільства в період соціально-економічної, політичної трансформації в Україні. Для цього необхідно виконати такі завдання: 1) встановити основні проблеми розвитку країни, яким друковані мас-медіа приділяли найбільше уваги у своїх публікаціях; 2) визначити характерні риси, напрямки висвітлення подій у різних, за джерелами фінансування та засновниками, типах періодичних видань.

Діяльність інформаційної системи країни в зазначений період визначалась декількома факторами. Ліквідація цензури та виникнення нових типів мас-медіа за джерелами фінансування (газети та журнали комерційних структур, приватних осіб, політичних партій та громадських об'єднань), безумовно, розширили тематичний діапазон, створили умови для висвітлення на сторінках видань різних точок зору, що сприяло реалізації демократичних свобод. Відповідно до засновників та джерел фінансування, періодичні видання регіону поділялись на декілька груп: комерційні мас-медіа, незалежні ЗМІ, що не отримували матеріальної підтримки від держави, існували за рахунок власної діяльності, рекламного бізнесу, державні газети та журнали, засновані органами місцевого самоврядування, або творчими спілками, науковими закладами, що отримували матеріальну допомогу з місцевого бюджету.

В умовах жорсткої конкуренції періодичні видання орієнтувались на отримання прибутків, потрапляли у залежність від читацького попиту та власників, що їх фінансували. Нова горизонтальна модель діяльності мас-медіа (раніше редакції місцевих видань розробляли лише теми, що розглядали республіканські ЗМІ, відтепер така субординація була порушена) зумовила певну трансформацію тематики їх публікацій [9], більшість з яких редакції присвячували розгляду місцевих подій, актуальним проблемам розвитку регіону, дослідженню його географічних особливостей, історії.

Для Донбасу, як промислового регіону, характерна читацька аудиторія працездатного віку, що мала вищу освіту, працювала на промислових підприємствах. Такі читачі в засобах масової інформації орієнтувались на отримання політичної та економічної інформації високого рівня. На шпальтах місцевих друкованих видань були започатковані спеціальні рубрики, присвячені обговоренню гострих економічних, політичних проблем сучаснос-

ті, де редакції розміщували статті аналітичного характеру, міркування фахівців – економістів, політологів (рубрики: «Заглянем в завтра» («Город»), «Актуальная тема» («Авдеевский вестник»)). Ефективній роботі творчих колективів щодо пропаганди реформ сприяли «Прямі лінії» та «Прямі зв'язки» – інтерв'ю з представниками органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, керівниками промислових підприємств, депутатами, діячами науки, культури, де вони висловлювали власні позиції щодо розв'язання поточних проблем. Обласні та міські газети, обговорюючи на своїх сторінках курс на реформування, засновували розділи – «Спектр мнень» («Жизнь»), «Наш експресс-опрос» («Рубіжнєнські новини») – соціологічні дослідження серед представників різних верств населення, з метою з'ясування їх думки щодо шляхів подолання таких кризових явищ, як спад виробництва, заборгованість у виплаті заробітної платні. Місцеві ЗМІ недостатньо уваги приділяли висвітленню питань соціального захисту населення – консультації працівників служб зайнятості, розповіді про людей, що знайшли вихід у складних ситуаціях, заходи для інвалідів, дітей-сиріт, що організовували соціальні служби.

Незважаючи на те, що більшість друкованих ЗМІ регіону виходили російською мовою, з обласних газет українською мовою видавали лише «Донеччину» та її додаток для родинного читання «Світлиця», редакції мас-медіа, заснованих органами місцевого самоврядування, вели рубрики присвячені українській мові, історії, традиціям – «Урок української мови» («Енакиевский рабочий»), «Сторінки історії України» («Донеччина»), «Мова про мову» («Слово хлібороба»).

Помітне місце в ЗМІ посідали також журналістські дослідження – статті аналітичного характеру, присвячені висвітленню проблем структурної перебудови промисловості, підвищення ефективності їх окремих галузей в умовах ринкових перетворень. Так, газети «Жизнь», «Донеччина», «Енакиевский рабочий» регулярно надавали матеріали про діяльність відкритих акціонерних товариств з видобутку та переробки вугілля, холдингових компаній, про використання коштів, виділених урядом на реструктуризацію підприємств цієї галузі. У виданнях також містились рубрики, в яких висвітлювались позиції пересічних читачів щодо соціальних проблем розвитку країни («Лист до редакції» («Донеччина»), «По письмам читателей» («Приазовський рабочий»)).

У цей час збільшилась частка видань розважального, рекламного характеру. Мас-медіа, засновані комерційними структурами та приватними особами, орієнтувались на отримання прибутків, розмір яких залежав від читацького попиту. Обсяг позитивних матеріалів у пресі, за період незалежності, зменшився з 31% до 15%, але, зросла кількість критичних матеріалів з 18% до 43% [10]. У результаті цього населення «стомилось» від великої кількості негативної інформації, яку воно отримувало з періодичних видань. Тому в цих друкованих мас-медіа переважали публікації інформаційно-розважального, довідкового характеру. Розважальні, довідкові газети та журнали орієнтувались на висвітлення вузької тематики (спорт, гумор, еротика), містили велику кількість рекламних оголошень. Для них були характерні такі рубрики: «Слух – інформ», де друкували матеріали приватного життя популярних акторів, музикантів, бізнесменів, політиків; «Фазенда» – містила велику кількість кулінарних рецептів, господарських порад, сторінки консультації лікарів, психологів. Вони, фактично, не ставили за мету впливати на економічний та політичний розвиток країни.

Серед цих ЗМІ виділялась група спеціалізованих видань, спрямованих на певну групу читачів, тобто вузькофахові медіа, що надавали матеріали про події у економічній, фінансовій сфері, біржові новини читацькій аудиторії, що використовувала цю інформацію в професійній діяльності («Прайсы» (м.Донецьк), «Норма» (м. Ровеньки), «Законность и правопорядок» (м.Луганськ)).

Проблемам економічного розвитку видання присвячували 30% – 40% публікацій [11]. Більшість газет, заснованих органами місцевого самоврядування, віддавали перевагу в своїх матеріалах економічній моделі з елементами державного регулювання, найбільш крити-

кували командно-адміністративний тип економічних відносин. Натомість, як незалежні ЗМІ підтримували курс на лібералізацію економіки. Але, публікації, як першого так і другого типу мас-медіа критикували сучасний етап економічного розвитку країни.

Головною проблемою, що порушували мас-медіа, була діяльність політичних партій та посадових осіб. Найбільша кількість матеріалів місцевих видань присвячувалася ліберальній (ЛПУ) та комуністичній партіям (КПУ), що були засновані на території регіону. Впродовж періоду публікації місцевих періодичних видань негативно висвітлювали діяльність партій націоналістичної спрямованості, що діяли у регіоні: УНА, УНСО, КУН, УРП, політична програма яких не знаходила підтримки серед місцевого населення. Найбільша кількість публікацій була присвячена діяльності Л.Кучми. Так, з 23 публікацій у державній пресі 17% носили негативний характер, в незалежних ЗМІ з 13 – 23% критикували дії Президента [12]. Місцеві періодичні видання на своїх шпальтах майже не приділяли уваги політичній діяльності Є.Марчука, В.Чорновола, Л. Кравчука. При цьому, в публікаціях державних ЗМІ більш негативно зображували тих урядовців, хто втрачав вплив на політичній арені країни, або кого було звільнено з посади. Лише чверть матеріалів державних періодичних видань містили критичні зауваження щодо діяльності посадових осіб різних рівнів. Так, негативні публікації стосовно діяльності В.П.Щербаня, під час перебування його на посаді голови обласної державної адміністрації (липень 1995 – липень 1996 рр.), складали 14% – 20% від загальної кількості [13]. З другої половини 1996 р. обсяг цих матеріалів зріс до 40% [14]. Незалежні видання більш адекватно висвітлювали діяльність урядовців, представників органів місцевого самоврядування.

Важливим кроком у становленні демократичної держави було прийняття Конституції України у червні 1996 р. Місцеві мас-медіа по-різному висвітлювали розвиток подій, пов'язаних з її прийняттям. До затвердження остаточного варіанту основного закону державні друковані ЗМІ цій тематиці присвячували більше уваги, але ці публікації носили переважно негативний характер. Влітку 1996 р. з 62% матеріалів, присвячених обговоренню цієї проблеми, лише 17% містили критичні зауваження. Незалежні видання більш адекватно висвітлювали цю подію [15]. У 36% публікацій містились зауваження щодо діяльності Верховної Ради, політичних партій, окремих статей Конституції [16].

На терені Донецької області 4% від загальної кількості газет становили видання політичних партій та рухів, з яких постійно виходило 3% («Известия Партии Труда» (м. Донецьк, обласна організація Партії Праці), «Бандеровиць» (м. Донецьк, обласна організація КУН), «Луганські вісті», (Луганська крайова організація Народного руху України), «Перспектива», (м. Луганськ, Партія Праці України) [17]. Мас-медіа містили публікації партійної тематики, не отримували додаткових прибутків через відсутність рекламодавців. Напередодні виборів ці друковані ЗМІ збільшували наклад, активно рекламували передвиборні програми своїх засновників. Так, «Коммунист Донбасса» виходив обсягом 10 тис. примірників, у 1998 р., під час парламентських виборів, розмір разового накладу збільшився до 40 тис. примірників. Газета «Социалистический выбор» (регіональне видання комуністів Дружківки, Слав'янська, Краматорська) мала наклад 3 тис. примірників, у 1998 р. обсяг збільшився до 10 тис. примірників.

Таким чином, тематика публікацій друкованих ЗМІ залежала від їх засновників, джерел фінансування, читацького попиту. Незалежні видання більш адекватно висвітлювали особливості розвитку країни. Основну увагу засоби масової інформації приділяли діяльності політичних партій та лідерів, у той час, як редакції недостатньо уваги приділяли проблемам економічного розвитку країни.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются особенности публикаций основных типов периодических изданий, которые функционировали на территории Донецкой области (1991-2000 годах), характеризуются основные показатели их деятельности.

SUMMARY

In this article is research peculiarity types fundamental periodical editions, functioned in the territory of Donetsk region (1991-2000 years), is characteristic figures theirs activity (period of theirs come out, volumes of circulations), peculiarity subject of publications.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Костирев А.Г. Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства. К., 2002. – С.5.
2. Костилова С.О. Друковані засоби масової комунікації України 1986-2000: Історія становлення, тенденції розвитку. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 304с.
3. Коноваленко Н.В. Економічні умови функціонування свободи слова в період становлення незалежності України // Нові тенденції розвитку ЗМІ у посттоталітарний період. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С.194-1999.
4. Фінклер Ю.Є Особливості функціонування друкованих мас-медіа в сучасному українському суспільстві. – К., 1998. – 143с.
5. Вказана праця: С. 130.
6. Кузнецова О.Д Трансформація і інтерференція моралі незалежних газетних видань Збірник праць науково – дослідницького центру періодики.- Львів: Б.И.,1999. – Вип. 6. – С.321-327.
7. Мару сов.А Ресурс довіри // Журналіст України. – 2000. – №1-2. – С.21-29.
8. Все про медіа регіонів України. – К.: Б.И., 200. – 152 с.
9. Цісак В. Трансформація преси Польщі і України в контексті суспільних змін (1989-1999 рр.). – К.: Центр вільної преси, 2000. – С.77.
10. Вказана праця: – С.89.
11. Огляд преси // Український монітор, 1995. – №8. – С.14-18.
12. Вказана праця. – С.22.
13. Огляд преси // Український монітор, 1996. – №2. – С.61-65.
14. Вказана праця. – С. 71.
15. Огляд преси // Український монітор, 1996. – №1. – С.63-70.
16. Вказана праця. – С.78.
17. Друковані та електронні засоби масової інформації. – К., 1998. – Кн.1. – Ч.2. – 200 с.

Надійшла до редакції 22.05.2005 р.

І С Т О Р І Я

УДК 94 (477) «1937/1938»

**ІСТОРІОГРАФІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 1937-1938 рр.
В УКРАЇНІ***В.М.Нікольський*

На сьогодні з питань політичних репресій радянських часів видано значну кількість робіт. Але спеціальні комплексні дослідження історіографічного плану досі відсутні. Лише у монографіях Ю.І.Шаповала, В.В.Ченцова та М.М.Шитюка [1] зроблено спроби зокрема торкнутися цих питань. Ці вчені проводили історіографічні узагальнення лише як один з моментів обґрунтування відповідної теми. Тому окремі розділи вказаних монографій охоплювали або певний період (у В.В.Ченцова – 20-ті роки), або більший за обсягом час (у Ю.І.Шаповала і М.М.Шитюка – 20-50-ті роки ХХ століття).

Автор запропонованої публікації у монографії, що вийшла друком у 2003 р. [2] також зробив історіографічний доробок періоду 1920-х – 1950-х рр., але він перший здійснив певну класифікацію літератури попередників, виділивши 12 груп [3]. Ця схема має такий вигляд: 1) роботи загального характеру; 2) джерелознавчі, історіографічні та методологічні праці; 3) вивчення місця та ролі керівної партії, держави, органів держбезпеки та відповідного керівництва в створенні каральних органів й організації їх діяльності; 4) розвідки за певними напрямками – економічна контрреволюція, репресії в армії, щодо інтелігенції, селянства тощо, депортації, національні та галузеві аспекти репресій...; 5) роботи територіального характеру; 6) узагальнюючі дослідження за історичними періодами радянської доби; 7) аналізи певних архівно-слідчих справ або їх комплексів; 8) персоналії жертв тоталітарного режиму; 9) персоналії катів (працівників органів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, прокуратури, судів); 10) праці, в яких вивчається механізм дії репресивного апарату, його юридичне підґрунтя; 11) роботи статистичного та соціологічного змісту; 12) аналізи та узагальнення з питань реабілітації репресованих, діяльності державних, політичних та громадських організацій у цьому напрямку.

Специфічність історіографічних розвідок, між іншим, полягає й у тому, що узагальнення за більший час мають два недоліки. По-перше, певна частина з класифікаційних груп випадає через відсутність відповідних робіт. По-друге, виникає більша деталізація, притаманна саме досліджуваному «вузькому» періоду. Особливо це відноситься до досліджень, що охоплюють репресії так званої «великої чистки» – 1937-1938 рр.

Метою запропонованої публікації є виділення, обґрунтування та характеристика певних груп публікацій істориків з питань політичних репресій 1937-1938 рр.

Нами здійснено структурування історіографії політичних репресій 1937-1938 рр. Вона включає такі групи: 1) бібліографічні збірники, 2) серія книг «Реабілітовані історією», 3) джерелознавчі, історіографічні та методологічні праці; 4) роботи загального характеру; 5) вивчення місця та ролі керівної партії, держави, органів держбезпеки та відповідного керівництва в створенні каральних органів й організації їх діяльності; 6) розвідки за певними напрямками – економічна контрреволюція, репресії в армії, щодо інтелігенції, селянства тощо, національні та галузеві аспекти репресій...; 7) роботи територіального характеру; 8) узагальнюючі дослідження за історичними періодами радянської доби; 9) аналізи певних архівно-слідчих справ або їх комплексів; 10) персоналії

жертв тоталітарного режиму; 11)персоналії катів (працівників органів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ); 12)праці, в яких вивчається механізм дії репресивного апарату, його юридичне підґрунтя; 13)роботи статистичного та соціологічного змісту; 14)аналізи та узагальнення з питань реабілітації репресованих, діяльності державних, політичних та громадських організацій у цьому напрямку тощо.

Отже, певною мірою ця класифікаційна структура збігається з запропонованою у авторській монографії у 2003 р., але вона має відмінності, обумовлені новими публікаціями, що вийшли за останні два роки.

Розглянемо роботи періоду середини 1980-х рр. і далі згідно запропонованої класифікаційної схеми.

Перша група (бібліографічні збірники) включає, поки що, одне видання – «Книги пам'яті жертв политических репрессий в СССР» [4]. У ній вміщено анотовані дані щодо Книг пам'яті виданих у 88-ми регіонах Російської Федерації, Азербайджанській Республіці, Республіці Вірменія, Республіці Беларусь (по областях), Республіці Казахстан (по областях), Киргизькій Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці, Республіці Молдова, Україні, Естонській Республіці та Республіці Польща. По Україні зібрано дані щодо відповідних праць, які були видані у всіх областях і автономній Республіці Крим. Окрім того, цей бібліографічний збірник включає так звані позарегіональні Книги пам'яті, видані у Росії, Республіці Беларусь, Республіці Казахстан та в Україні. Кожне видання характеризується згідно прийнятої упорядниками загальної схеми, що включає повну назву, вихідні дані, зміст та коротку анотацію до нього.

До другої групи ми віднесли серію книг «Реабілітовані історією», що почали виходити друком в Україні у 2004 р. Це є реалізацією державної програми, яка була розпочата постановами Президії Верховної Ради України (від 6 квітня 1992 р.) та Кабінету Міністрів України (від 11 вересня 1992 р.). На сьогодні ми можемо охарактеризувати доступні нам три видання, що вийшли у Донецьку, Луганську та Запоріжжі [5]. Але це буде завданням спеціальної публікації.

До третьої групи (історіографічні, джерелознавчі та методологічні роботи) слід віднести порівняно невелику кількість праць.

Як вже відзначалося, спеціальних історіографічних робіт з питань політичних репресій 1937-1938 рр. поки що немає. У монографіях Ю.І.Шаповала, М.М.Шитюка та В.М.Нікольського зроблено лише спроби виробити підходи до цієї проблематики

Загалом слід зазначити, що історіографічний напрямок у тематиці досліджень діяльності органів державної безпеки поки ще знаходиться на початковому етапі свого розвитку.

Єдиною комплексною роботою джерелознавчого характеру є монографія С.Білоконя «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.). Джерелознавче дослідження». Автор здійснив глибокий аналіз значного масиву документів стосовно репресивної сутності сталінського режиму та її проявів у довоєнний період. Об'єктом аналізу стали десять груп джерел: 1)слідчі справи ЧК-ГПУ НКВД; 2)протоколи Політбюро ЦК КП(б)У; 3)праці Леніна, Сталіна та інших партійних керівників; 4)документи партійних і владних структур; 5)матеріали загальної періодичної преси; 6)серія «Збірник постанов і розпоряджень Уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки» (що виходила під різними назвами); 7)відомча періодика; 8)спогади людей, що перебували під слідством, у таборах та в'язницях; 9)спогади чекістів та агентів НКВД; 10)особисте спілкування автора з репресованими діячами культури та іншими свідками тієї трагедії. Слід наголосити, що автор обмежився у своєму джерелознавчому аналізі документів органів держбезпеки виключно архівно-слідчими справами, не маючи можливості, як він наголошує, користуватися іншими матеріалами архівів Служби безпеки України [6].

До речі, учасники міжнародної конференції, що відбулася у травні 2000 р. в Росії у м. Нижньому Тагілі, також не згадували інших документів з архівів спецслужб, крім архівно-слідчих справ; що правда дехто з них посилався ще на деякі картотеки [7].

Сутність сучасних наукових розробок із указаної проблеми можна прослідкувати за фаховими статтями, наприклад: О.Гранкіної «Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо представників національних меншин України. Джерелознавчий аналіз документів» [8], О.Лошицького «Лабораторія. Нові документи й свідчення про масові репресії 1937-1938 років на Вінниччині» [9], його ж «Лабораторія-2: Полтава. Документальні матеріали про масові репресії в Полтавській області у 1937-1938 рр.» [10], В.Нікольського «До питання щодо кількості репресованих в Україні з політичних мотивів 1937-1938 рр.: постановка проблеми та джерельна база дослідження» [11].

У всіх цих статтях аналізуються певні складові джерелознавчого характеру, але окремі публікації лише накреслюють напрямки досліджень, вводять до наукового обігу відповідні архівні матеріали.

До цієї ж групи розробок нами віднесено праці з питань методології та методики проведення досліджень визначеної загальної проблеми. Як такі, вони, безумовно, повинні бути, але, на жаль, поки що відповідні наукові дослідження ще не реалізовані. Автор зробив спробу накреслити провідні моменти цієї роботи в статті «Деякі міркування щодо використання кількісних методів у історико-статистичних дослідженнях» [12].

Четверта група (дослідження загального характеру) включає праці різних часів, що демонструють еволюцію поглядів учених на сутність тоталітарного режиму та його складових, у тому числі й карально-політичних структур. Це роботи, в яких досліджуються сталінізм та сталініщина [13]. До них можна віднести (стосовно України) працю В.М.Даниленка, Г.В.Касьянова, С.В.Кульчицького «Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки», монографію С.В.Кульчицького «Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928 рр.)», його ж працю із серії «Україна крізь віки» – «Україна між двома війнами (1921-1939 рр.)», монографію «Ціна «великого перелому» та інші [7]. Саме в цих працях закладено підвалини методологічних підходів до розгляду специфічних проявів імперських амбіцій щодо України; репресивного змісту самого радянського режиму. «Як виник, став можливим сталінізм, у чому специфіка цього соціально-економічного і політико-ідеологічного феномена, наскільки він випадковий чи закономірний?» – вирішення таких завдань поставили перед собою В.Даниленко, Г.Касьянов і С.Кульчицький у названій вище монографії.

Тоді ж виходять друком роботи Ю.Шаповала «У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні», «Сталінізм і Україна»; «Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби України)» [15].

У працях названих науковців були не тільки досліджені визначені проблеми, але й накреслені головні напрямки подальшого вивчення політичних репресій в Україні.

Дослідження з п'ятої групи присвячені вивченню певних напрямків у діяльності органів держбезпеки. У літературі щодо цього можна виділити декілька підгруп. Йдеться про функціональні аспекти в діяльності органів держбезпеки. Серед робіт, що носять комплексний характер, свідчать про намагання авторів до всебічного розкриття проблеми та успішного досягнення цієї мети, безперечно, слід зазначити монографію О.М.Бута та П.В.Доброва «Економічна контрреволюція» в Україні в 20-30-і роки ХХ століття: від нових джерел до нового осмислення» [16], яка вийшла двома виданнями.

Треба також назвати статтю С.Гнітько «Український інженерний центр» – філіал «Промпартії» в Україні (1930-1937 рр.)» [17]. Її особливістю є комплексне використання документів Державного архіву Служби безпеки України, які, здебільшого введено до наукового обігу вперше.

Приклади репресії на транспорті викладено в публікації Є.Скляренка «Заложниками стали залізничники» [18]. Автор додав до статті перелік прізвищ 154-х працівників управління Південно-Західної залізниці та його підрозділів у м. Києві, звинувачених

у належності до вигаданих контрреволюційних організацій та репресованих у 1937-1938 рр. До цієї ж підгрупи належить і стаття В.Нікольського «Політичні репресії 1937-1938 рр. на залізницях Донбасу» [19].

«Інтелегентське спрямування» репресій виступає об'єктом досліджень у працях П.Соболь «Нищення інтелектуальної еліти Півдня України: 30-ті роки» [20], О.Савчука «Учителі польських шкіл Поділля в лещатах репресій 20-30-х рр. XX ст.» [21], Р.Маньковської «Репресії серед музейних працівників в кінці 20-30-х рр.» [22].

Переслідування *політичних супротивників влади* (дійсних та уявних) розглядається у статті В.Нікольського «Боротьба органів держбезпеки на Україні проти альтернативних політичних партій та течій у 1937 р.» [23].

Національні аспекти в репресивній діяльності органів державної безпеки досліджуються у працях Г.Стронського «Репресії сталінізму проти польського населення України у 30-ті роки: причини, розмах, наслідки» [24], Ж.Тростановського «К проблеме преследования еврейской интеллигенции в СССР» [25], Г.Калиничева «Депортация немецкого населения Украины в 30-40-е годы» [72] [26], О.Рубльова і В.Репринцева «Репресії проти поляків в Україні у 30-ті роки» [27], В.Дніпровця «Оббріхана благодійність. Компрометація і закриття єврейських благодійницьких організацій в Україні у 1920-1930 роках» [28], Ю.Луцького «Чеські справи» (1930-1937 рр.) [29] та В.Нікольського «Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні» [30], його ж «Греческая операция» [31], його ж «Репресії щодо болгар на Донеччині в 20-40-х рр.» [32] та інших.

У 2005 р. у Донецьку в видавництві «Регіон» вийшла друком «Книга пам'яті греков України» [33], яка є першим комплексним дослідженням цього напрямку.

Релігійні (церковно-сектантські) аспекти репресій висвітлено у публікаціях Н.Рубльової, «Антикостюльна кампанія в УСРР: причини, інструментарій, перебіг (кінець 20-х – 30-ті рр.)» [34] та «Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917-1937 рр.)» [35]. На разі, цей напрямок дослідження розробляється недостатньо інтенсивно. Його особливість полягає у тому, що до узагальнення та аналізу залучаються не тільки документи центральних та місцевих архівів (включаючи архіви Служби безпеки України), але й безпосередньо релігійних організацій.

Дещо окремо знаходиться праця В.Іваненка «Сталінський режим і репресії проти зарубіжних комуністів в передвоєнні роки» [36].

Слід зазначити, у вказаній групі дослідження певних напрямків репресивної діяльності органів держбезпеки, зазвичай, доповнюються мемуарними матеріалами про долю людей, що стали жертвами державного свавілля.

Територіальні особливості репресій висвітлено у збірнику «Вінниця: злочин без кари (Документи, свідчення, матеріали про більшовицькі розстріли у Вінниці в 1937-1938 роках)» [37], наукових розвідках М.Шитюка «Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки XX століття» [38], З.Лихолобової «Найбільша чистка в Донбасі» [39], В.М.Нікольського «Органи місцевої влади Донеччини в умовах масових репресій 1937-1938 рр.» [40], «Донбас в матеріалах лютнево-березневого (1937 р.) Пленуму ЦК КПРС» [41].

У 1996 р. вийшов друком навчальний посібник З.Г.Лихолобової «Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні (переважно на матеріалах Донбасу)» [42]. Автор здійснила узагальнення досягнень історичної науки у вивченні історичних чинників формування тоталітарного режиму, сутності та мети політики масових репресій.

Специфічність цих робіт полягає у тому, що їх автори, на загальному тлі репресій в СРСР та в Україні, намагаються з'ясувати місцеві особливості, певні закономірності та притаманні цим конкретній території риси, які залежали від багатьох чинників та визначали загальні наслідки репресій, їх динаміку та спрямованість.

До найбільш фактологічно повних та глибоких за змістом робіт, що охоплюють всі аспекти репресивної діяльності каральних органів за певні періоди радянської історії, на нашу думку, є сенс віднести, перш за все, монографію Ю.Шаповала «Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії»[43]. Треба зазначити, що ця праця була не лише першим комплексним дослідженням проблеми політичних репресій в Україні, через багатогранність поставлених та вирішених автором проблем. Її, з упевненістю, можна репрезентувати також в інших групах запропонованої історіографічної класифікації.

Однак, загалом маємо відзначити, що цей напрямок досліджень залишається у сьогоденні одним із найменш розроблених.

Аналізи окремих архівно-слідчих справ та їх комплексів становлять найбільшу за обсягом групу робіт.

Першим виданням такого типу була книга, видана ще за радянських часів – «Реабилитация: Политические процессы 30-50—х годов» [44]. Саме тут було вперше, на основі невідомого до того часу документального матеріалу, показано, як фабрикувалися гучні політичні процеси (у тому числі й періоду «великої чистки»).

У 2003 р. у Москві вийшла монографія німецьких дослідників з Рур-університету (м.Бохум, ФРН) Марка Юнге та Рольфа Біннера «Как террор стал «большим»... [45]. Як визначено у анотації до цієї книги «На підставі багатого документального матеріалу автори подають новий погляд на одну з самих трагічніших сторінок радянської історії». Важливе для читача значення мають великі за обсягом документи, які автори вводять до наукового обігу вперше.

До цієї групи відносяться окремі розділи збірника «Жертвы репрессий» [46].

Цей напрямок має певні перспективи вивчення, так як дослідники тільки торкнулися у своїх розвідках найбільш відомих процесів, а відповідні архіви зберігають ще багато недосліджених справ.

Близькими до сьомої групи, хоча й зі своїми особливостями, є роботи, в яких висвітлюється доля жертв державного свавілля. Останнім часом публікації відносно цього набули найбільшого розповсюдження.

Насамперед, тут маємо виділити тематичні збірники, такі як: «Репресоване краєзнавство» [47], «З порога смерті. Письменники України – жертви сталінських репресій» [48], «Несправедливо забуті імена: діячі української творчої інтелігенції в роки культу особи Сталіна» О.Старовойтової [49], «Діячі культури – жертви більшовицького терору (1920-1940)» В.Петрова [50], «Репресоване «відродження» [51].

З цього приводу видано десятки статей у найбільш серйозних історичних журналах та збірниках наукових праць..

У цій історіографічній групі простежується певна закономірність: більшість дослідників звертають свою наукову увагу на долі видатних людей, які потрапили під жорна репресивної машини. Це вочевидь у наведеному вище переліку статей. Долі ж пересічних громадян залишаються десь на другому-третьому плані. Особливо ця обставина характерна для публікацій центральних та вузівських видань.

На разі маємо додати, що вказаний недолік компенсується публікаціями у місцевих збірниках, що видаються обласними редколегіями серії книг «Реабілітовані історією». У 1994 р. у Херсоні вийшов збірник «Забуттю не підлягає...» [52], в якому вміщено декілька повідомлень стосовно долі місцевих мешканців, що стали жертвами репресій. У 1995 р. у Луганську вийшла книга «Возвращение имени и чести...» з подібними матеріалами [53]. Ці видання не претендують на науковість і становлять собою збірки публіцистичних розвідок місцевих журналістів та спогадів жертв репресій або їх близьких.

Натомість, видання Донецької науково-редакційної групи «Реабілітовані історією» складаються саме з наукових праць, у яких безпосередньо на архівних матеріалах або з посиланнями на них досліджуються архівно-слідчі справи мешканців Донбасу. У шести випусках цієї серії, що вже вийшли друком, відтворено життєвий шлях десятків репресова-

них: робітників, вчителів, інженерів, колгоспників, партійних та комсомольських функціонерів тощо. Поряд із тим у цих збірниках вміщено й публіцистичні нариси [54].

Окрім того, відродженню несправедливо забутих імен репресованих надається особлива увага у громадському та літературному часопису Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих «Зона», що видається з 1991 р.

У 1995 р. вийшов збірник, присвячений репресованим працівникам Дніпропетровського університету. Його відмінною ознакою є оприлюднення великої кількості документів з архівів Служби безпеки України [55].

Публікаціям цієї групи притаманні схематичність поряд з відчутною емоційністю, досить поверхневі узагальнення та суб'єктивні висновки.

Однак важливою особливістю вказаних праць є їх спрямованість – перш за все відновити в людській пам'яті імена незаконно засуджених з метою попередження нащадків щодо можливих наслідків тоталітарного режиму. Водночас наукове підґрунтя цієї історіографічної групи публікацій потребує подальшого теоретичного доопрацювання.

Дослідження, що стосуються «фігурантів з іншого боку» – тих хто катував (*керівників органів держбезпеки, слідчих, прокурорів* тощо) належать до дев'ятої групи Тут окремо можна виділити праці, у яких розглянуто обставини справ щодо тих працівників органів держбезпеки, які самі стали жертвами репресій.

Підсумком понад двадцятирічної праці стало видання у Москві книги Н.В.Петрова і К.В.Скоркіна «Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник» [56]. У довіднику наведено біографії 525 керівників відповідних органів, з яких 174 працювали на території України.

Безпосередньо «чекістам» України присвячені розділи книги Ю.Шаповала, В.Пристаика та В.Золотарьова «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи» [57]. Автори здійснили наукові розвідки «виробничих» біографій таких сумнозвісних керівників органів ГПУ-НКВД, як В.Балицький, Ю.Євдокимов, К.Карлсон, І.Леплевський. Окремий розділ «Біографічні відомості про чекістів», розроблений В.Золотарьовим, є продовженням циклу його публікацій у журналі «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» за назвою «Чекісти 20-30-х: матеріали до біографічного словника» [58].

Праця, що стала узагальненням діяльності верхівки «чекістів» України, також підготовлена В.Золотарьовим, який оприлюднив її під назвою «Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр.» [59]. Він же займався біографічними дослідженнями окремих «постатей» з системи держбезпеки, наслідки яких відтворив у низці статей: «Заручник системи Я.Камінський» [60], «Комісар держбезпеки 3-го рангу: сторінки біографії Василя Іванова» [61], «Випробування совістю. Сторінки біографії комісара держбезпеки 3 рангу С.Мазо» [62].

До робіт про репресованих «чекістів» відносяться статті С.Скотникова «Кримінальна справа за №50045» – про долю начальника Української робітничо-селянської міліції М.Бачинського [63], В.Бурженюка та В.Мариніна «Японський шпигун або Сумна доля чекіста» [64].

Окрім того були надруковані статті В.Чисникова «Керівники органів державної безпеки Радянської України (1918-1953 рр.)» [65], Ю.Лиснюка і В.Чисникова «Керівники органів державної безпеки України (1953-1991 рр.)». Матеріали до біографічного словника» [66], В.Нікольського «Діяльність особливих трійок НКВД на Україні в період «великої чистки» 1937-1938 рр.» [67].

Дослідженню *функціонування механізму репресивного апарату* присвячені статті О.Божка «Особливі відділи в системі органів державної безпеки (1918-1946 рр.)» [68], «Загратовані книги. Встановлення партійно-державного контролю над виданням, розповсюдженням та використанням літератури в Україні у 20-30-ті роки» [69], Р.Подкура «Інформаційно-аналітична робота як один з напрямків діяльності спецслужб в 20-30-х роках» [70].

У наведених вище статтях розглядаються складові діяльності органів державної безпеки за так званими функціональними напрямками, насамперед, стосовно інформаційно-аналітичної діяльності, цензури, боротьби з контрабандою, політичного контролю за населенням та військовослужбовцями, діяльності економічних підрозділів тощо.

До цієї ж групи, на нашу думку, доречно віднести й роботи з аналізу історичних аспектів юридичного забезпечення репресивної діяльності органів державної безпеки

Першим комплексним дослідженням у цьому напрямку була монографія І.Біласа «Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз» [71]. Автор уперше спробував ґрунтовно дослідити проблеми національно-визвольної боротьби українського народу у ХХ ст., та здійснив історико-правовий аналіз протистояння повстанського руху опору репресивному апарату тоталітарного режиму. Значним недоліком цієї роботи, на наш погляд, є відсутність матеріалу щодо періоду «великої чистки» 1937-1938 рр.

Серед статей цього напрямку є сенс відокремити ще кілька публікації, зокрема: І.Біласа «Правова система кратократії та державний механізм репресій проти національно-визвольного руху в Україні: історико-правовий аналіз» [72], І.Усенка «Покарання без вини (історико-юридичний аспект проблеми позасудових репресій)» [73].

У цьому контексті перспективними для вивчення залишаються питання комплексного узагальнення та аналізу правової бази політичних репресій радянських часів та її зміни упродовж радянської історії.

З огляду на мету нашого дослідження маємо окремо виділити роботи, в яких до уваги читачів пропонуються кількісні аналізи, робляться узагальнення щодо діяльності каральних органів та з'ясовується реальна спрямованість їхніх дій.

У відношенні історіографічному тут слід відзначити, що Ю.Шаповал так оцінював у 1993 р. стан досліджень цього напрямку: «За останні роки вітчизняні дослідники висловлювали міркування щодо загальної кількості жертв сталінських репресій...» [74]. На разі серед вказаної групи можна назвати такі публікації: «Архипелаг ГУЛАГ»: глазами писателя и статистика» [75], «Трагическая статистика» [76], В.Цаплин «Статистика жертв сталинизма в 30-е годы» [77] та «Архивные материалы о числе заключенных в конце 30-х годов» [78] та ін.

Автори цих публікацій ставили за мету з'ясувати загальну кількість репресованих. Тому зроблені підрахунки дають лише загальні уявлення щодо кількісного складу заарештованих, засуджених, запроторених у концтабори та в'язниці.

Найбільш повно та аргументовано ці питання розглянуто у монографії О.Ф.Сувенирова «Трагедия РККА 1937-1938» [79].

Треба зазначити, що історико-статистичні дослідження репресивної діяльності органів державної безпеки, здебільшого, *обмежуються спробами* визначити загальну кількість репресованих чи їх окремих категорій.

Автор даної публікації з цього напрямку має власні напрацювання, а саме: «Статистика політичних репресій 1937 р. в Українській РСР» [80], «Масові репресії 1937 р. на Миколаївщині: порівняльний аналіз звітності НКВС» [81], «Статистика політичних репресій 1918-1980-х рр. у Донбасі» [82], «Статистика політичних репресій 1937 р. в Українській РСР» [83], «Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні» [84], «Соціальний склад репресованих в Україні у 1937 р.» [85]. Певним етапом цієї роботи стала монографія «Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження» [86].

Загалом, історико-статистичні та соціологічні дослідження діяльності органів державної безпеки, порівняно з іншими групами запропонованої історіографічної класифікації, залишаються у стані найменшої розробки.

Саме тому цей напрямок обраний як провідний у пропонованій на разі до читачької уваги праці.

Важливо також виділяти окремою групою наукові розвідки з *питань реабілітації репресованих* і діяльності різних органів та установ у цьому спрямуванні.

Різні аспекти реабілітації та тісно пов'язаної з нею дослідницько-видавничої діяльності висвітлюються в статтях Є.Скляренка «Реалізація державної програми підготовки серії книг «Реабілітовані історією» [87], О.Бойка «Розгортання процесу реабілітації в УРСР у добу перебудови: характерні риси, особливості» [88], І.Вернидубова «В ім'я справедливості. Про роботу органів прокуратури України по виконанню Закону України від 17 квітня 1991 року «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» [89], О.Мусієнка «Фундація «Мартиролог України» [90] та інших.

Переважна більшість публікацій такого роду відзначається публіцистичним характером і друкується, зазвичай, у місцевих виданнях.

Виходячи з наведеного вище, можна зробити такі узагальнення та висновки.

По-перше, загальний спектр напрямків досліджень визначеної теми достатньо різноманітний, свідченням чого є названі нами 14 груп. По-друге, рівень розробки по цих групах дуже великий: від однієї-двох публікацій – до десятків. По-третє, виникає нагальна потреба провести більш глибоке історіографічне дослідження проблеми з метою з'ясування реальної картини сучасного стану та перспектив подальшого вивчення проблематики у загальному контексті сутності тоталітарного режиму.

РЕЗЮМЕ

В статье впервые сделана попытка обобщить и проанализировать историографические аспекты политических репрессий 1937-1938 гг. Автор предлагает оригинальную схему классификации работ историков по этой проблематике.

SUMMARY

In clause attempt for the first time is made to generalize and to analyse historiography aspects of political reprisals 1937-1938. The author offers the original circuit of classification of works of the historians on this problematics.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ченцов В.В. Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки. – Тернопіль, 2000.
2. Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ренаписаної історії. – К.: Наукова думка, 1993; Шитюк М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття. – К.: Тетра, 2001.
3. Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. – Донецьк: Вид-во Донецького національного університету, 2003.
4. Книги памяти жертв политических репрессий в СССР. Аннотированный указатель.- Санкт-Петербург: Изд-во «Российская национальная библиотека», 2004.
5. Реабілітовані історією. У 27 томах: Донецька область. Книга перша. Науково-документальні нариси. – Донецьк: видавництво КП «Регіон», 2004; Реабілітовані історією. У 27 томах: Луганська область. У 3 кн. Кн. 1 – Луганськ, 2004; Реабілітовані історією. (Запорізька область): Науково-документальне видання. – Запоріжжя: Дніпровський металург 2004.
6. Білоконь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – К., 1999. – С.28-33.
7. Проблемы создания единого электронного банка данных жертв политических репрессий в СССР. Сборник докладов участников международной научно-практической конференции, Н.Тагил, 18-21 мая 2000. – Нижний Тагил, 2001.
8. З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.- 1998.- №1/2 (7/8). – С. 174-182.

9. Там само. – С. 183-227.
10. Там само. – 2000. – №2/4 (13/15). – С. 129-178.
11. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Східноукраїнський національний університет. Луганськ, 2001. – С. 166-168.
12. З архівів... 1997. – №1/2. – С.45-79; 1998.- №1/2 (7/8). – С. 105-134.
13. Роботи попередніх часів докладно аналізуються в монографіях Ю.Шаповала, В.Ченцова, М.Шитюка. Тому, ми зосереджуємо увагу на дослідженнях, які стосуються України і зроблені в другій половині 1980 р. та до сьогодення.
14. Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. – К., 1991; Кульчицький С.В. Ціна «великого перелому». – К., 1991; Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928 рр.) – К., 1998; Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) – К., 1999.
15. Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993; Шаповал Ю.І. Сталінізм і Україна // Український історичний журнал. – 1990. – №12. – 1991. – №2, 4-8, 10-12. – 1992. – №1-6; Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби України). – К., 1994.
16. Бут А.Н., Добров П.В. Экономическая контрреволюция в Украине в 20-30-е годы XX века: от новых источников к новому осмыслению. – Донецк, 2000; Бут О.М., Добров П.В. Економічна контрреволюція в Україні в 20-30-і роки XX століття: від нових джерел до нового осмислення. Видання друге, виправлене і доповнене. – Донецьк, 2002.
17. З архівів ... – 1999. – №1/2 (10/11). – С. 142-155.
18. Там само. – 1994. – №1. – С. 177-188.
19. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 7. – К., 1999. – С. 349-353.
20. Там само. – С. 276-280.
21. Там само. – С. 288-294.
22. З архівів ... – 1997. – №1/2. – С. 263-271.
23. Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія «Історія та географія». – 2000. – Випуск 6. – С. 181-184.
24. Тоталитаризм и антитоталитарные движения в Болгарии, СССР и других странах Восточной Европы (20-80-е годы XX века). Материалы Международной научной конференции. Харьков, 21-23 сентября 1993 г. Том первый. – Харьков, 1994. – С.282 – 289.
25. Там само. – С. 303-308.
26. Там само. – С. 309-312.
27. З архівів ... Там само. – 1995. – №1/2. – С. 116-156.
28. Там само. – 1995. – №1/2. – С. 199 – 208.
29. Там само. – 1999. – №1/2 (10/11). – С.156-168.
30. Український історичний журнал. – 2001. – №2 (437). – С. 74-89.
31. Правда через годы...Статьи, воспоминания, документы. Выход второй. – Донецк, 1998. – С. 39-47.
32. Правда через годы....Выход четвертый.- Донецк, 2000. – С. 54-63.
33. Никольский В.Н., Бут А.Н., Добров П.В., Шевченко В.А. Книга памяти греков Украины.- Донецк: Регион, 2005.
34. З архівів... 1999. – №1/2(10/11). – С. 388-405.
35. Там само. – 2000. – №2/4(13/15). – С. 311-330.
36. Тоталитаризм и антитоталитарные движения ... – С. 313-319.
37. Вінниця: злочин без кари (Документи, свідчення, матеріали про більшовицькі розстріли у Вінниці в 1937-1938 роках). – К., 1994.
38. Шитюк М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки XX століття. – К., 2001.

39. З архівів... 1995. – №1/2. – С. 177-189.
40. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Випуск УІІІ. – 1999. – С. 103-107.
41. Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2000. – №1. – С. 200-209.
42. Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні (переважно на матеріалах Донбасу). – Донецьк, 1996.
43. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.
44. Реабилитация: Полит. процессы 30-50-х годов. – М.: Политиздат, 1991.
45. Юнге М., Биннер Р. Как Террор стал «Большим». Секретный приказ №00447 и технология его исполнения. – М.: АИРО-XX, 2003.
46. Жертвы репрессий. – Киев: Юринформ, 1993.
47. Репресоване краєзнавство. – К., 1991.
48. З порога смерті. Письменники України – жертви сталінських репресій. – К., 1991.
49. Старовойтова О. Несправедливо забуті імена: діячі української творчої інтелігенції в роки культу особи Сталіна. – К., 1991.
50. Петров В. Діячі культури – жертви більшовицького терору (1920-1940). – К., 1992.
51. Репресоване «відродження». – К., 1993.
52. Забуттю не підлягає. Нариси, спогади, оповідання. – Херсон, 1994.
53. Возвращение имени и чести. Очерки, воспоминания, информационные и справочные материалы. – Луганск, 1995.
54. Правда через роки... Статті, спогади, документи. – Донецьк, 1995-2002. – Вип. 1 – 6.
55. Повернення з небуття. Документи і матеріали про жертви сталінського свавілля у Дніпропетровському університеті. – Дніпропетровськ, 1995.
56. Петров Н., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД, 1934-1941. Справочник. – М., 1999.
57. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВ в Україні: особи, факти, документи. – К., 1997.
58. З архівів... 1994. – №1. – С. 168-176; 1995. – №1/2. – С. 334-340.
59. Там само. – 2001. – №2. – С. 326-342.
60. Там само. – 1998. – №1/2 – С. 286-304.
61. Там само. – 1999. – №1/2. – С. 367-387.
62. Там само. – 2000. – № 2/4. – С. 374-389.
63. Там само. – 1994. – № 1. – С. 94-97.
64. Там само. – 1994. – № 1. – С. 111-117.
65. Там само. – 1994. – № 1. – С. 229-239.
66. Там само. – 2000. – №2/4 (13/15). – С. 362-373.
67. Історичні і політологічні дослідження. – 2002. – №2.(10) – С.118.131.
68. З архівів – 2000. – №2/4 (13/15). – С. 337 – 361; 2001. – №2. – С. 281 – 315.
69. Там само. – 1999. – №1/2. – С.128-141.
70. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). – К., 2001. – С.475-487.
71. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. К.: Либідь – Військо України, 1994.
72. Шоста Всеукраїнська конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С.299-300.
73. У Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства...». – Київ-Кам'янець-Подільський, 1991. – С. 273-275.
74. Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993. – С.7.
75. Аргументы и факты. – 1989. – № 45.
76. Там само. – 1989 – № 5.
77. Вопросы истории. – 1989. – № 4. – С.75-181; 1991. – №4-5. – С. 157-163.
78. Там само. – 1991. – №4-5. – С. 157-163.
79. Сувениров О.Ф. Трагедия РККА. 1937 – 1938. – М.: Терра 1998.

80. З архівів... 2000. – №2/4 (13/15). – С. 103-112.
81. Наукові праці Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Том У. Історичні науки. – 2000. – С. 94-98.
82. Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2001. – №2. – С. 205-213.
83. З архівів.. – 2000. – №2/4. – С.103-112.
84. Український історичний журнал. – 2001. – №2. – С.74-89)
85. Український історичний журнал. – 2005. – №2. – С. 141-162.).
86. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. – Донецьк: Вид. ДонНУ, 2003.
87. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 7. – К., 1999. – С. 253-259.
88. З архівів... 2001. – №2. – С. 530-534.
89. З архівів... 1998. – №1/2 (6/7). – С. 9-12.
90. З архівів... 1998. – №1/2 (6/7). – С. 13-23.

Надійшла до редакції 28.05.2005 р.

УДК 94(47+57):261.6(196/198)

РОЗКОЛ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ В СРСР І ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (1960-80-ті рр.)

О.І.Назаркіна

Актуальність дослідження релігійних розколів зумовлена рядом обставин. Насамперед важливо те, що причиною розколу є релігійний конфлікт. Релігійні конфлікти мають значний суспільний резонанс, особливо, якщо вони призводять до виникнення нових релігійних груп, конфесій, які існують відокремлено, творять свою релігійну культуру або субкультуру. Крім цього, для релігійних конфліктів характерні ті самі закономірності розвитку, що й для будь-яких інших конфліктів у суспільстві чи у межах окремої соціальної групи. Більше того, якщо всі соціальні конфлікти умовно розділити на два типи: конфлікти ідей та конфлікти інтересів, то можна стверджувати, що всі конфлікти першого типу (наскільки їх можна відокремити одні від інших) мають загально релігійну природу. Підстави так думати дає той факт, що розгортання таких конфліктів пов'язане із фанатичними настроями сторін, а фанатизм є по суті релігійним феноменом, оскільки він передбачає глибоко емоційне переживання віри у певну високу істину («принцип»), яка для суб'єкта має надчасове та надпрагматичне значення, підштовхує його до самопожертвування. Досвід показує, що, як правило, ідейні розбіжності неможливо усунути шляхом свідомої діяльності людей, оскільки, навіть за умови припинення практичної ескалації конфлікту, кожна зі сторін залишається при своїй думці, а відтак конфлікт переходить у латентну стадію.

До питання місця конфліктів у суспільстві слід зазначити ще і те, що конфлікт має не лише негативне та руйнівне значення, на чому зазвичай прийнято наголошувати, але й ряд конструктивних елементів, пов'язаних із кристалізацією індивідуальної або групової ідентичності. При цьому ми не вживаємо слово «самоідентифікація», оскільки, на наш погляд, воно означає процес, пов'язаний із саморефлексією. Натомість поняття «ідентичність» означає деяку соціально-психологічну реальність, що переживається не лише на свідомому, але й на підсвідомому рівні. Руйнування або загроза ідентичності й призводить до агресії та конфлікту, причому саме такого, який ми визначили як ідейний конфлікт – оскільки

ки будь-яка ідейна, світоглядна настанова є частиною ідентичності, і реальна загроза ідентичності виникає саме тоді, коли починається процес руйнування подібної настанови. Отже, боротьба проти якихось важливих уявлень у житті людини сприймається нею як боротьба проти неї самої, намагання зруйнувати частинку її «Я».

Даний теоретичний екскурс особливо важливий як певна методологічна передумова для розуміння сутності релігійного конфлікту, оскільки у ньому ми завжди маємо справу із релігійною ідентичністю. Її відображення ми знаходимо у релігійній культурі, яка у період релігійних конфліктів переживає особливу динаміку розвитку.

Протестантська релігійна культура є особливим явищем у контексті двох суттєвих, на наш погляд, обставин. По-перше, в її основі лежить не матеріальна культура, наприклад, храмова, як ми це спростерігаємо у православ'ї, а специфічний протестантський етос; по-друге, сама по собі вона ніколи не була однорідною, як неоднорідний і сам протестантизм. У радянському суспільстві виник особливий тип протестантської культури. Базовим для нього було збереження пізньопротестантських раціоналістичних доктрин у баптистській інтерпретації, до яких належать особливе значення Біблії та свідоме, осмислене сприйняття основ віровчення. Проте багато інших елементів, які стосуються протестантського етосу, було видозмінено. При цьому слід зазначити, що у даній статті ми маємо на меті простежити ряд трансформацій у протестантській культурі, безпосередньо пов'язаних із конфліктом між різними групами євангельських християн-баптистів, тобто таких, які або були спричинені розколом 1960-х років, або чітко проявилися у зв'язку з ним.

Наукова новизна теми визначається методологічними настановами, які дозволяють розглядати її у міждисциплінарній історико-культурологічній площині, уникаючи таким чином описовості та деякої політизованості, характерних для праць відомих дослідників радянського протестантизму Л.Мітрохіна, В.Любашенко, В.Заватські [1-4], що втім не зменшує об'єктивно великого внеску вказаних фахівців у розробку цієї проблеми. Крім цього, слід зазначити, що джерельну базу даного дослідження складають маловідомі архівні документи внутріконфесійного характеру, насамперед, заяви та звернення різних груп євангельських християн-баптистів, які були чи не єдиною можливою формою розвитку протестантської богословської культури в межах атеїстичної тоталітарної держави.

В результаті відокремлення частини баптистських громад від основного центру у середині 1960-х років та поступового осмислення ставлення прибічників різних конфліктуючих груп одне до одного, у їх межах спостерігалось оформлення ряду якісно нових релігійних цінностей та настанов, в цілому не властивих пізньому протестантизму. Насамперед трансформації стосуються переоцінки духовно-релігійних категорій духовної єдності, гріха й гріховності, а також місця церкви у суспільстві та державно-церковних взаємин. Актуалізація цих аспектів, значна частина з яких є відверто другою для віросповідних засад баптизму, об'єктивно зумовлена як політикою держави, так і тією специфічною атмосферою «радянської дійсності» післявоєнного періоду, що відобразилась у світогляді пересічного радянського громадянина, незалежно від його додаткових, у тому числі релігійних, ідентичностей. Наявність такої атмосфери, у якій формувалися та здійснювалися основні форми соціальних зв'язків та ставлень, дозволяє говорити про наявність специфічної культури повсякденності епохи «пізнього тоталітаризму». Засвоєння основних, характерних для цієї епохи поглядів було неминучим для всіх груп радянського суспільства, у тому числі й тих, які відверто протестували проти поширених чи пропагованих у ньому настанов. Тому не дивно, що цей процес тісно пов'язаний із метаморфозами баптистських доктрин та їхньої інтерпретації всіма учасниками розколу і дозволяє говорити про трансформацію в цілому протестантської релігійної культури на радянському просторі.

Загалом протестантизм – плюралістична релігія, і не лише тому, що у його межах існує багато конфесій, але й тому, що помісною церквою у загальнопротестантській доктрині вважається кожна громада, а не союз, центр чи будь-яка інша об'єднувча надбудова. Помісна церква – громада віруючих, навіть якщо в ній всього лише 10 чоловік, має більше значення для збереження специфічної протестантської релігійності, ніж спілка громад, оскільки вона і є безпосереднім механізмом впливу на кожного конкретного віруючого. Це те, що відрізняє протестантизм від православ'я, оскільки основа духовності для протестантизму полягає не у містично-сакральних елементах богослужбової практики, а в етосі, тобто в конкретній людині, яка є носієм релігійної етики. Але в умовах радянської дійсності великого суспільного значення набула структура церкви – реальне втілення релігії як соціального інституту; причому чим більшою була ця структура, тим більшу соціальну вагу вона мала, тим більше з нею рахувалися (або мирилися) держава та суспільство. Ось чому виникнення спільного Союзу ЄХБ у 1940-х роках, до якого влилися майже всі релігійні групи, близькі до баптизму, було необхідною умовою існування цих релігійних громад взагалі. При цьому практика збереження певної субкультурної автономії громад все ж існувала. За принцип бралася відома фраза бл. Августина «Єдність – в головному, різноманіття – у другорядному, і у всьому – любов».

У другій половині 1960-х років, коли виросло нове покоління віруючих, відчуття єдності поступово змінювалося, стало тісніше пов'язуватися із організаційним об'єднанням і навіть деякою уніфікацією. Це пояснювалося, зокрема, посиленням адміністративної влади лідерів Союзу ЄХБ – старших пресвітерів, бюрократизацією цієї керівної ланки, яка всупереч релігійним звичаям здійснювала кадрову політику у громадах [5] і завжди звиряла свої дії з позицією Ради у справах релігійних культів СРСР, чим викликала нарікання багатьох членів баптистського братства [6]. Остання обставина змушує сумніватися у тому, що посилення централізації Союзу ЄХБ було головною причиною зростання в очах віруючих значення центру не лише як практичної основи, але й як символу духовного єднання. Скоріш за все це сталося у зв'язку з об'єктивно поширеними у радянському суспільстві світоглядними орієнтаціями. Особливо чітко їхня укоріненість у середовищі євангельських християн-баптистів виявилась у 1960-70-х роках, коли виникли два центри – Всесоюзна Рада ЄХБ (далі – ВРЄХБ) та Рада Церков ЄХБ (РЦЄХБ).

Показовою є думка сучасних баптистських дослідників в Україні, які вважають, що саме традиція внутрішньої автономії громад у той час повинна була б запобігти розколу. Документи, прийняті керівництвом ВРЄХБ у 1959 р. – «Положення про Союз євангельських християн-баптистів» та «Інструктивний лист старшим пресвітерам ВСЄХБ», могли б і не стати безпосередньою причиною конфлікту, якби вони були «правильно сприйняті на місцях» і, замість того, щоб викликати бурю протесту, просто відхилені після обговорення на зборах кожної окремої громади [7]. Такі випадки дійсно були, але те, що вони не стали основною формою вирішення ситуації, є свідченням існування тісного, органічного зв'язку громад із центром. Особливо цей зв'язок виявився у ряді фактів ригористичного, буквального дотримання положень документів. Хоча слід мати на увазі, що за таких умов було практично неможливо відхилити інструкції центру і при цьому залишатися у рівних стосунках із ним, так само як неможливо мати свою думку, кардинально відмінну від думки центру, і не наражатися на небезпеку агресивного протистояння. Біполярність мислення, принцип «хто не з нами, той проти нас» стали невід'ємною частиною світогляду радянського баптиста. У цьому контексті конфлікт стає шляхом кристалізації власної позиції, віднайдення власної істини й одночасно унеможливує визнання правоти іншого.

Опозиційна Рада Церков в особі її членів поголосила відлучення членів ВРЄХБ, незважаючи на те, що такий акт, згідно з протестантськими доктринами, не може здійснюватися щодо колективу осіб одночасно і потребує розгляду стосовно кожного персонально на зборах конкретної громади, а не центральної структури. Таке відлучення на

той момент, так би мовити, канонічного значення не мало, але воно означало відокремлення одних від інших, розкол євангельсько-баптистського братства.

Тому у свідомості віруючих одразу ж постало питання духовної єдності, сама постановка якого свідчить про трансформацію августинівської доктрини. Опозиційні баптисти в одному зі своїх звернень (6 грудня 1970р.) розвивають думку про сутнісну відмінність духовної єдності та організаційного єднання. «На великий жаль, – написано у цьому посланні, – застосовуючи слова «Щоб були всі одно» (*Євангеліє від Івана, 17:21* – О.Н.), багато хто з віруючих в дійсності висловлює ними лише своє бажання до об'єднання, а не до єдності» [8]. Власне небажання перебувати в об'єднанні ВРЄХБ автори звернення пояснюють тим, що не відчувають духовної єдності з нею. Сама потреба аргументувати це, як і логіка аргументації, включаючи посилення на Біблію, говорить про те, що у свідомості пересічного баптиста вже сформувалося уявлення про єдність як нероздільне поєднання духовно-віросповідного та практично-організаційного аспектів. З такої точки зору, ті, що відокремилися, неодмінно повинні були вважатися відступниками. Цей погляд відображає ту характерну для релігійної картини світу настанову, що істина – лише одна, і вона належить саме «нам», і водночас він не суперечить радянській ідеології, тривала пропаганда якої загалом закріпила цю ж настанову у масовій суспільній свідомості. Закономірно, що опозиціонери-баптисти оголосили представників альтернативної сторони зрадниками, «відступниками від Христової істини» і необхідною умовою возз'єднання проголосили їхнє «покаяння». Це «покаяння» розумілося представниками СЦ не лише як визнання помилок, але і як розкаяння у гріхах.

Тут ми стикаємося з тим, що гріх, як фундаментальна категорія протестантської релігійної культури, також дещо переосмислюється. Загалом людська гріховність в протестантизмі розуміється напівонтологічно, «напівюридично». До моменту першого покаяння, який вважається поворотним моментом в житті, людина визнається грішною априорі, у всьому її житті, проте після цього моменту вона стає «святою», «виправданою» Христом, «очищеною» від своєї первинної гріховності, але залишається здатною робити гріхи, які тепер розуміються як проступки, неправильні, аморальні, тобто злочинні вчинки. Більше того, в церкві (громаді віруючих), не прийнято висловлювати критику чи засуджувати віруючого за попереднє життя, оскільки очевидно, що тоді він об'єктивно не міг бути хорошою людиною, адже це можливо лише «в Господі».

У документах, пов'язаних з розколом ЄХБ, знаходимо засудження віруючими одних одного на основі радикально відмінних позицій, які начебто не зачіпають головного у віровченні, але виявляють певну різницю ідентичності. Опозиціонери заявили про те, що «ВРЄХБ відлучений за впровадження антиєвангельських документів, спотворення учення Христа, за виступи проти тих, хто були не згодні з цими документами...», а дії його кваліфікували, як «узгоджену (з органами державної влади) війну проти Церкви та її Глави Ісуса Христа» [9]. Тобто виникає щось подібне до образу «антихриста», ворога в середині самої церкви. При цьому очевидно, що таке засудження не просто згладити: «Всім віруючим необхідно знати, що порушення євангельського вчення є найтяжчим гріхом, тому що це – порушення першої та найбільшої заповіді вірності і любові до Бога» [10]. Розкаяння в такому гріху не може бути якимось звичайним актом, а фактично прирівнюється до того першого покаяння, завдяки якому людина, згідно з протестантським світобаченням, стає членом Церкви Христової.

Крім цього, в середовищі ініціаторів розколу сформувалася також концепція про «спасаючі» та «неспасаючі» церкви, під якими малися на увазі громади, очолювані свідомими прихильниками ВРЄХБ: «Ті віруючі, які знають про гріхи ВРЄХБ і знаходяться в об'єднанні з ними, вітають їх і беруть участь у вечері Господній з ними... беруть на себе весь тягар провини за гріхи ВРЄХБ.... Покарання Боже торкнеться і тих, хто займає середину... вони старалися бути не на боці правди, а на боці сили...» [11]. Факти засудження цілих церков, громад загалом не характерні для пізнього протестантизму і практично без-

прецедентні. Характерно, що як гріх оцінювалися такі речі, які в нормальних умовах нікому з представників баптизму назвати гріхом не спало б на думку. В одному із опозиційних журналів того часу (1976 р.) була стаття «Страх є гріх», де між іншим підлягав критиці навіть пророк Ілля за те, що він злякався цариці Єзавелі (1 Книга Царів, 19). Не дивно, що таке тлумачення даного біблійного сюжету не було зрозумілим і прийнятним для всіх груп баптистів, і у деяких з них викликало роздратування [12].

Актуальна настанова борця за істину, характерна для прибічників Ради Церков, багато в чому нагадує ідеологічну позицію радянської компартії, особливо у контексті формування образу «ворога», якого неможливо ані прийняти, ані простити, бо сама природа його ворога. Аналогія правомірна ще й тому, що це – колективний, збірний образ, який передбачає також вимогу колективного, групового визнання помилок, «покаяння», зовсім не характерну для ортодоксального баптизму. Таке покаяння було здійснене лідерами ВРЄХБ на з'їзді баптистського братства у 1966р. в Москві. Про те, що воно мало колективний характер, свідчать заяви, де, зокрема, говорилося: «*Ми перед Милосердним Господом сповідуємо наші помилки, недоліки та гріхи... Ми прагнемо не лише усвідомлювати свої помилки і недоліки, але й виправляти їх, тобто приносити достойний плід покаяння*» (Курсив авт. – О.Н.) [13]. Колективне покаяння, на наш погляд, стало наслідком різних чинників. Насамперед це неминуче усвідомлення відповідальності, що особливо гостро переживається лідерами, розуміння того, що навіть особисті, індивідуальні помилки чи промахи можуть мати далекосяжні наслідки, важливі для суспільства в цілому. Крім цього, відчуття єдності, згуртованості кожної із сторін об'єктивно посилюється в ході конфлікту.

Не дивно, що опозиційна група проявила ще більшу згуртованість. РЦЄХБ не вдовольнилася ані визнанням помилок своїми опонентами, ані відміною скандальних документів, а висловила недовіру та нові претензії, спричинивши наступний етап ескалації конфлікту. Вочевидь він був пов'язаний із тим збірним образом «ворога», до якого «відокремлені» баптисти відносили не лише одновірців, але й інші суспільні групи, насамперед владні структури. Радикалізація баптистської опозиції особливо виразилася у протиставленні себе атеїстичній державі та суспільству. Цікаво, що в історії РЦЄХБ були факти внутрішніх відлучень окремих членів, які проявляли готовність йти на компроміс із ВРЄХБ, іноді таких «безвольних» особистостей спонукали до письмового розкаяння, що загалом нагадувало внутрішньопартійну боротьбу в СРСР 1930-х років. Саме таким чином прихильники РЦ намагалися підкреслити, утвердити свою конфесійну вірність, вступаючи при цьому у деяке протиріччя з нею. Справа в тому, що баптизм – загалом лояльна щодо держави конфесія. Навіть у питаннях служби в армії євангельські християни-баптисти ніколи не відстоювали свій пацифізм так, як, наприклад, Свідки Єгови. Серед баптистів таке явище ми вперше зустрічаємо саме у проповідницькій практиці прихильників РЦЄХБ, що, очевидно, пояснювалося їхнім небажанням будь-яким чином служити зміцненню ненависної державної системи. Як і всі пізньопротестантські конфесії, євангельські християни-баптисти завжди були переконані, що церква за будь-яких обставин повинна бути відокремленою від держави. У цьому сенсі баптизм – «приватна» релігія. Але сутність тоталітаризму, у тому числі радянського, полягає саме у тому, що у його межах немає такої сфери, яка б не підлягала державній регламентації.

В контексті цієї обставини особливо гостро виявились відмінності поглядів різних баптистських груп. «Офіційні» баптисти посилалися на слова апостола Павла у посланні до Римлян (13:1): «Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога», розуміючи їх як діяльнісний імператив. Одночасно саме ця цитата тривалий час була предметом спекуляцій з боку урядовців та пропагандистів, які звинувачували баптистську опозицію у недотриманні віросповідних принципів. Не позбавленими цинізму виглядали намагання атеїстичних чиновників під час кабінетних бесід навчати немолодих пресвітерів та пастирів тому, як їм слід вірити в Бога [14].

Проте прибічники РЦЄХБ актуалізували на основі цієї біблійної цитати концепцію відмінності між особистістю та церквою. Один із лідерів розколу, Г.Крючков, писав: «... тлумачать цей текст так, ніби сказано «Нехай кожна церква кориться вищій владі». Тоді як тут мова йде про кожну окрему людину, яка стоїть перед законом і покликана не чинити ні кримінальних, ні будь-яких інших злочинів. Але ніде не написано, щоб кожна церква була покійна вищій владі, бо в духовному житті церква не підвладна світу»[15].

Взагалі є підстави стверджувати, що в основу релігійної ідентичності «відокремлених» баптистів згодом остаточно лягла позиція непримиренності стосовно атеїстичної влади. Її дотримання в середовищі саме «розкольників» стало сприйматися як основна ознака правдивої належності до Церкви Христової. З одного боку, така метаморфоза релігійної доктрини свідчить про наростання сектантських настроїв та ознак у баптизмі, які загалом характерні для християнства у несприятливих умовах розвитку; з іншого боку, протест проти державної політики був не пасивним чи по-сектантському ізоляціоністським, а активним, тривожним і розрахованим на виклик суспільного резонансу не лише в СРСР, а й за його межами, що перетворило баптистську опозицію на релігійний рух опору.

При цьому у представників іншого крила ЄХБ цей аспект державно-церковних взаємин актуалізував таку ціннісну категорію, як патріотизм. «Практика життя показала, – писали представники лояльних баптистів, – що «Радою церков» були обрані пресвітери, які, будучи віруючими, «служили поліцаями» на окупованих територіях у фашистів... Це всім відомо, (хоча) ми не називаємо прізвищ...» [16]. Приєднання, ототожнення себе з радянським народом, з його основними цінностями і уявленнями, було особливо характерним для лояльних баптистів, але «відокремлені» бачили у такій лояльності плазування перед владою, проти якої вони виступали. Тому патріотизм в них набував релігійно-містичного характеру і асоціювався, насамперед, з любов'ю до «небесної батьківщини», а не земної.

Є підстави вважати, що відбулася також певна трансформація інших морально-етичних категорій. Так, не традиційно для протестантизму вирішувалась проблема трудової етики, оскільки від класичної господарської етики у баптистів в силу сектантських настроїв залишилося лише переконання про чесність виконання трудових обов'язків. Але, як дуже скоро виявилось, навіть у цьому радянська та протестантська трудові етики різко не співпадають, причому не лише в опозиційних, але й у лояльних баптистів. Прийняття праці як самоцінності, як це проповідував «моральний кодекс будівника комунізму», виявилось абсолютно неприйнятним для протестантів, оскільки працю вони розуміють лише як необхідну діяльність для забезпечення матеріального життя, яке, як відомо, в релігійній картині світу завжди має підлегле значення порівняно із життям «майбутнім». Праця, таким чином, не може стати причиною для самопожертвування, особливо для пожертвування своїм релігійним, духовним життям заради служіння чужому, «безбожному» світу. Тому будь-який світський кар'єризм для баптистів цього періоду був зовсім не характерним, тим більше, що і втілити його було нелегко. Багато з них взагалі не мали бажання працювати, а якщо й працювали, то на посадах, які не потребували значної професійної відповідальності, кваліфікації, включеності в робочий колектив.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що багато принципових позицій, які виявилися і навіть отримали богословське обґрунтування, у ході конфлікту між різними групами баптистів 1960-80х років, не характерні для пізнього протестантизму і є результатом певних трансформацій у пізньопротестантській релігійній культурі в умовах радянського тоталітаризму.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается процесс трансформаций протестантской религиозной культуры, связанных с расколом евангельских христиан-баптистов в СССР 1960-80х гг. Изменения затронули прежде всего протестантские этические установки, привели к формированию качественно новых ценностей, переосмыслению важных для протестантизма религиозных категорий духовного единства, греха и греховности, а также места церкви в обществе и системе церковно-государственных отношений.

SUMMARY

The article analyzes the Protestant religious culture transformations, connected with the schism of the Evangelical Christian Baptists in the USSR of the 1960-80s. The changes were concerned with the specific Protestant ethics, they caused the revaluation of such important for the Protestantism religious categories as spiritual unity, sin as well as the church place in the society and in the system of the relationship between the church and the state.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Митрохин Л.Н. Баптизм. – М.: Политиздат, 1996. – 264 с.
2. Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. – СПб.: РХГИ, 1997. – 480 с.
3. Любашенко В. Історія протестантизму в Україні. – Львів: «Просвіта», 1995. – С.300-301.
4. Заватски В. Евангелическое движение в СССР после второй мировой войны. – М.: «ИЦ-Гарант». – 559 с.
5. Решетников Ю., Санников С. Обзор истории евангельско-баптистского братства на Украине. // <http://parusiya.org/vera/st/2002/8/s2.shtml>
6. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 203, арк.142-143.
7. Решетников Ю., Санников С. Обзор истории евангельско-баптистского братства на Украине. // <http://www.parusiya.org>.
8. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 265, арк.1.
9. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 265, арк. 4-5.
10. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 265, арк. 4-5.
11. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 265, арк. 5.
12. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 203, арк.136
13. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 203, арк.133.
14. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 289, арк.35-36.
15. Арестов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути преодоления. – Харьков: «Вища школа», 1987. – 150с. – С.89.
16. Державний архів Донецької області, ф.Р-4021, оп.1, спр. 203, арк.137.

Надійшла до редакції 06.05.2005 р.

УДК 94 (477): 342.731 «1989/2001»

ЗМІНИ В ЧИСЕЛЬНОСТІ РОСІЯН УКРАЇНИ (1989-2001 рр.).

М. Чаплик

За період 1989-2001 рр. відбулися зміни в етнічному складі населення України. У тому числі зменшилась чисельність росіян, яку зафіксував Перший Всеукраїнський перепис населення 2001 р. В той же час не відбувалось значної еміграції російського населення з України. Отже, актуальність та новизна даної статті полягає у розкритті динаміки зменшення російського населення України в цілому та по областях. Крім того,

актуальність полягає у розгляді еміграції, як одного з факторів зменшення чисельності росіян в Україні. Велике значення для з'ясування причин еміграції росіян відіграє розкриття її масштабів по регіонам. Особливо важливим є визначення впливу еміграції на зменшення чисельності російського населення.

Джерела, які було використано для написання статті складаються з даних Всесоюзного перепису населення 1989 р. [7], Першого Всеукраїнського перепису населення 2001р. [11], а також даних Держкомстату України та щорічних демографічних доповідей [6], які проводяться у Російській Федерації і надають інформацію щодо міграційного сальдо росіян України.

Історіографічну основу статті складають роботи українських та російських дослідників. Серед робіт українських дослідників для написання статті було використано довідник «Етнонаціональна структура українського суспільства» (К., 2004) за редакцією В.Б.Євтуха та інших [3], працю Романцова В.О. «Українці на одвічних землях (XVIII – початок XXI ст.)» (К., 2004) [8], а також статтю фахівця з питань міграції О.Малиновської «Від аналізу – до розробки концепції» [4;45-51]. Серед робіт російських дослідників потрібно виділити працю Ю.В.Арутюняна «Росіяни (Етносоціологічні нариси)». (М., 1992) [9] та статтю Л.Л.Рибаківського «Міграційний потенціал російського населення в країнах нового зарубіжжя» [10; 31-42].

За даними Всесоюзного перепису населення 1989 року в Українській РСР проживало 11356,5 тис. росіян, що відповідно становило 22,1% від усього населення республіки. Для порівняння, українців, згідно з даними перепису, налічувалось 37419 тис. або 72,7% від усього населення Української РСР [7;12]. Отже, російський етнос в УРСР за чисельністю займав друге місце серед інших етносів, поступаючись лише українцям. Найбільша кількість росіян України, за переписом 1989 року, проживала в Донецькій області – 2316,1 тис. осіб, в Кримській області – 1629,5 тис. осіб та в Луганській області – 1279 тис. осіб. Проте, найбільший відсоток росіян, згідно з переписом 1989 р., був у Кримській області, в якій росіяни становили 67% від усього населення півострова. Друге місце за відсотком російського населення посідала Луганська область, в ній росіяни становили 44,8% від усього населення області. Третє місце – Донецька область, в якій доля росіян охоплювала 43,6% від усього населення Донеччини [5;60].

Відзначимо також, що у більшості областей УРСР та в місті Києві росіяни за кількісними та відсотковими показниками займали друге місце, серед інших етносів, після українців. Виняток складали Кримська область, де росіяни були на першому місці, а також дві поліетнічні західноукраїнські області – Закарпатська та Чернівецька. В двох останніх росіяни стояли відповідно на третьому (після українців та угорців) та на четвертому (після українців, румун та молдаван) місцях [7;86]. Дані, які відтворюють кількісний та відсотковий склад російського населення за областями УРСР у 1989 р. наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Кількість та відсоток росіян за областями УРСР, 1989 р.

№ п/п	Назва області	Кількість росіян, тис. осіб	Відсоток росіян від загальної кількості російського населення України, %	Відсоток росіян від загальної кількості мешканців області, %
1	Донецька	2316,1	20,4	43,6
2	Кримська	1629,5	14,4	67,0
3	Луганська	1279,0	11,3	44,8
4	Харківська	1054,2	9,3	33,2
5	Дніпропетровська	935,7	8,2	24,2

Продовження табл. 1

6	Запорізька	644,1	6,3	32,0
7	Одеська	719,0	5,8	20,7
8	м. Київ	536,7	4,7	20,9
9	Миколаївська	258,0	2,3	19,4
10	Херсонська	249,5	2,2	20,2
11	Львівська	195,1	1,7	7,2
12	Сумська	190,1	1,7	13,3
13	Полтавська	179,0	1,6	10,2
14	Київська	167,9	1,5	8,7
15	Кіровоградська	144,1	1,3	11,7
16	Черкаська	122,3	1,2	8,0
17	Житомирська	121,4	1,1	7,9
18	Вінницька	112,5	1,0	5,9
19	Чернігівська	96,6	0,8	6,8
20	Хмельницька	88,0	0,5	5,8
21	Чернівецька	63,1	0,5	6,7
22	Ів.-Франківська	57,0	0,5	4,0
23	Рівненська	53,6	0,5	4,6
24	Закарпатська	49,5	0,4	4,0
25	Волинська	46,9	0,4	4,4
26	Тернопільська	26,6	0,2	2,3
28	Українська РСР	11356,5	100	22,1

Отже, за кількістю росіян Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області займали, останні місця.

За даними останнього радянського перепису переважна більшість російського населення Української РСР проживало в містах. Міськими жителями виявилися більше як 9,99 млн осіб російської національності. Вони становили 29% від усього міського населення УРСР. Відносно ж усієї кількості російського населення республіки росіяни, які проживали в містах, становили близько 8,8%. Міське населення УРСР в 1989 р. в цілому становило 67% від усього населення республіки. В селах, за даними перепису 1989 р. проживало 1412073 особи російської національності [9;41]. Вони становили 8,2% від усього сільського населення України. Відносно всієї чисельності росіян УРСР сільські жителі російської національності становили понад 12%.

Генетична структура російського населення УРСР на 1989 рік була такою. Серед міського населення 42,8% складали ті, хто народився в Україні та 57,2% – мігранти. Серед сільського населення тих, хто народився в Україні було 38,5%, а мігрантів – відповідно 61,5% [9;51].

Структура російського населення республіки за тривалістю проживання в 1989 р. була наступною. Ті, хто народився в Україні становили 42,3%. Мігранти в цілому склали 57,7% від усього населення, у тому числі ті, які проживали в республіці не менше 2-х років становили 6%, ті, які проживали в УРСР від 2-х до 5-ти років налічували 8,1% і ті, хто проживав в Україні 6-9 років становили 6,4% [9;52]. Всього, за даними перепису 1989 р. доля росіян, які прожили в Україні менше 10-ти років становила 35,6%. Росіяни, які прожили в Україні від 10-ти до 20-ти років становили 22,4%, а ті, які прожили в Україні 20 років і більше становили 42,0%. Всього доля росіян, які народилися в Україні та мігрантів, які мешкали в країні понад 10 років складала станом на 1989 р. 79,5%

[10; 37]. Розподіл російського населення в Україні на тих, хто народився в республіці та мігрантів різних років заселення за даними перепису населення 1989 р. відображено в табл. 2. Цікаво, що доля росіян серед мігрантів, які прожили в Україні менше 2-х років станом на 1989 р. становила 15,1% ($35,6\% - 6\% - 8,1\% - 6,4\% = 15,1\%$).

Таблиця 2. Розподіл російського населення в Україні на мігрантів і тих, які народилися в ній, 1989 р.

	Народились в Україні, %	Мігранти, %	Серед них, які прожили в Україні, років			Відсоток тих, хто народився в Україні та мігрантів, які прожили в Україні понад 10 років
			менше 10-ти	10-20	20 і більше	
Україна	42,3	57,7	35,6	22,4	42,0	79,5

Як вже зазначалось, росіяни становили 29,0% від усього міського населення УРСР в 1989 році. Серед них чоловіки становили 28,8%, а жінки 29,1%. В селі росіяни становили 8,2% від усього сільського населення УРСР. При цьому чоловіки складали 8,7%, а жінки 7,9% від усього сільського населення республіки. В цілому, чоловіки росіяни за даними перепису 1989 р. становили 22,2% від усього чоловічого населення УРСР. Жінки росіянки становили 21,9% від усього жіночого населення України в 1989 р. [9; 95] (нагадаємо, що загальна кількість росіян УРСР за даними перепису 1989 р. становила 22,1% від усього населення України).

В містах чоловіки росіяни становили 28,8% від усіх чоловіків – міських жителів УРСР. Жінки росіянки в містах УРСР, за даними перепису 1989 р., становили 29,1% від усього жіночого міського населення республіки (нагадаємо, що загальна чисельність російського міського населення в 1989 р. становила 29,0%).

В селах чоловіки росіяни становили 8,7% від усього сільського чоловічого населення УРСР. Російські жінки селянки становили 7,9% від усього жіночого сільського населення УРСР в 1989 р. (нагадаємо, що загальна чисельність російського сільського населення в 1989 році становила 8,2% від усього сільського населення республіки) [9;95].

Перший Всеукраїнський перепис населення, який проводився 5-14 грудня 2001 року, засвідчив зменшення кількості росіян в Україні. Ним було виявлено 8334 тис. громадян, які назвали себе росіянами, що складало 17,3% від усього населення країни. Тобто кількість росіян в Україні, порівняно з переписом 1989 року, зменшилась на 3022 тис. чоловік або на 26,6% [11;379].

Згідно з переписом 2001 року кількісно найбільше росіян мешкало в Донецькій області – 1844 тис. (38,2%), в Автономній Республіці Крим (не враховуючи м. Севастополь) – 1180 тис. та в Луганській області – 991,8 тис. (39,0%). За відсотковими показниками, як і в 1989 році, перше місце займала Автономна Республіка Крим – там росіяни становили 58,3% від усього населення півострова. В Луганській області росіяни складали 39,0% і в Донецькій області – 38,2% від усього населення цих областей [11;381]. Дані, які відображають кількість та відсоток російського населення за переписом 2001 р., наведено в табл. 3.

Таблиця 3. Кількість та відсоток російського населення за областями України, 2001 р.

№ п/п	Назва області	Кількість росіян, тис. осіб	Відсоток росі- ян від загальної кількості ро- сійського насе- лення України, %	Відсоток росі- ян від загальної кількості меш- канців області, %
1	Донецька	1884,4	22,1	38,2
2	Автономна Республіка Крим*	1180,4	14,2	58,3
3	Луганська	991,8	11,9	39,0
4	Харківська	742,0	8,9	25,6
5	Дніпропетровська	627,5	7,5	17,6
6	Одеська	508,5	6,1	20,7
7	Запорізька	476,8	5,7	24,7
8	м. Київ	337,3	4,0	13,1
9	Миколаївська	177,5	2,1	14,1
10	Херсонська	165,2	2,0	14,1
11	Сумська	121,7	1,5	9,4
12	Полтавська	117,1	1,4	7,2
13	Київська	109,3	1,3	6,0
14	Львівська	92,6	1,1	3,6
15	Кіровоградська	83,9	1,0	7,5
16	Черкаська	75,6	0,9	5,4
17	Житомирська	68,9	0,8	5,0
18	Вінницька	67,5	0,8	3,8
19	Чернігівська	62,2	0,7	5,0
20	Хмельницька	50,7	0,6	3,6
21	Чернівецька	37,9	0,5	4,1
22	Закарпатська	32,1	0,4	2,5
23	Рівненська	30,1	0,4	2,6
24	Волинська	25,1	0,3	2,4
25	Івано-Франківська	24,9	0,3	1,8
26	Тернопільська	14,2	0,2	1,2
27	Україна	8334,1	100	17,3

* Не враховуючи м. Севастополя, в якому за даними перепису 2001 р. проживало 270,0 тис. росіян або 71,6% від усього населення міста.

Декілька слів треба сказати про місто Севастополь. Згідно з переписом 2001 року в ньому проживало 270,0 тис. росіян, які становили 71,6% від усього населення міста [11;384]. Тобто, якщо місто внести в таблицю, то за кількісними показниками російського населення Севастополь стояв би на дев'ятому, після Києва, місці, а за відсотковими – на першому. Для порівняння, у 1989 році в місті Севастополі проживало 294,0 тис. росіян, які складали 74,4% від усього населення міста [8;190].

Як і за переписом 1989 року найменша кількість росіян проживала в трьох західно-українських областях. Волинська область за кількістю та за відсотком росіян займала двадцять п'яте місце. В ній мешкало 25,1 тис. росіян або 2,4% від усього населення області. Двадцять шосте місце за кількістю і за відсотком росіян займала Івано-Франківська область – в ній налічувалось 24,9 тис. росіян або 1,8% від усього населення області. Останнє

місце, за кількістю та відсотком російського населення займала Тернопільська область, в якій мешкало 14,2 тис. росіян або 1,2% від усього населення області [11;383].

Відзначимо, що під час перепису 2001 р. кількісні та відсоткові показники російського населення співпадали лише в Автономній Республіці Крим, Луганській, Волинській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. З усіх регіонів України росіяни складали більшість лише в Автономній Республіці Крим та в м. Севастополі. В більшості областей та в м. Києві вони займали друге, після українців, місце. Виняток, як і в 1989 р. складали Закарпатська та Чернівецька області, в яких росіяни за чисельністю займали відповідно четверте місце серед інших етносів. Відзначимо, що у 1989 році в Закарпатській області росіяни за кількістю стояли на третьому місці, після українців та угорців, а в 2001 р. вони змістилися на четверте місце, поступивши місце румунам. В Чернівецькій області росіяни кількісно поступалися українцям, румунам та молдаванам [11;384].

Також треба відзначити, що в усіх регіонах України за період між переписами 1989 та 2001 рр. відбулося зменшення чисельності російського населення. В сумі російське населення України з 1989 по 2001 роки зменшилось на 3022 тис. чоловік.

Нагадаємо, що в м. Севастополі кількість росіян за 1989-2001 рр. зменшилась з 294,0 тис.(74,4%) до 270,0 тис. (71,6%) [8;190]. Специфічність Севастополя полягає в тому, що він має найбільший відсоток російського населення серед інших регіонів України (71,6%). Високий відсоток російського населення в місті пов'язаний головним чином з наявністю в ньому військово-морської бази Чорноморського Флоту Росії. Саме ЧФ та його наземна інфраструктура були головним чинником збільшення російського населення в місті за часів СРСР. Зазначимо, що в Україні, на відміну від Естонії, законодавством не заборонено надавати громадянство особам, які проходили службу в силових структурах інших країн. Більше того, в разі отримання українського громадянства такі особи, згідно з українським законодавством, мають право обиратися в органи місцевого самоврядування [2;21].

Цікаво, що станом на червень 2004 р. в місті проживало понад 30 тис. громадян Росії, та ще понад 40 тис. неофіційно, порушуючи законодавство України мали подвійне громадянство. Останню цифру з посиланням на джерело в Севастопольській міській держадміністрації озвучив тодішній голова парламентського комітету з питань державного будівництва А. Матвієнко під час візиту до міста в липні 2003 р. [2;21].

Що стосується інших регіонів України, то найбільший відсоток зменшення російського населення за 1989-2001 рр. у Львівській (52,5%) та в Івано-Франківській (56,3%) областях. Досить суттєвий він і в інших західноукраїнських областях: Тернопільській – 46,6%, Волинській – 46,5%, Рівненській – 43,8%, Хмельницькій – 42,4%. Значний відсоток зменшення російського населення в порівнянні з 1989 роком також в Житомирській (43,2%), Кіровоградській (41,8%) та у Вінницькій (40%) областях. Найменший відсоток зменшення російського населення на півдні та сході України, а саме: в Донецькій області російське населення зменшилось на 20,4%, в Луганській – на 22,5%, в Запорізькій – на 26%, в Автономній Республіці Крим на 27,6% (табл. 4).

В усіх інших областях України та в м. Києві зменшення росіян зафіксовано в межах від 29,3% (Одеська область) до 39,9% (Чернівецька область).

Таблиця 4. Зменшення російського населення в Україні за областями, 1989-2001 рр.

№ п/п	Назва області	Кількість зменшення, тис. осіб	Відсоток зменшення, %	Питома вага зменшення, %
1	Донецька	471,7	20,4	5,4
2	Автономна Республіка Крим*	449,1	27,6	8,7
3	Луганська	287,2	22,5	5,8

Продовження табл. 4

4	Харківська	312,2	29,6	7,6
5	Дніпропетровська	308,2	32,9	6,6
6	Одеська	210,5	29,3	0
7	м. Київ	199,4	37,1	7,8
8	Запорізька	167,3	26,0	7,3
9	Львівська	102,5	52,5	3,6
10	Херсонська	84,3	33,8	6,1
11	Миколаївська	80,5	31,2	5,3
12	Сумська	68,4	36,0	3,9
13	Полтавська	61,9	34,6	3,0
14	Кіровоградська	60,2	41,8	4,2
15	Київська	58,6	34,9	2,7
16	Житомирська	52,5	43,2	2,9
17	Черкаська	46,7	38,2	2,6
18	Вінницька	45	40,0	2,1
19	Хмельницька	37,3	42,4	2,2
20	Чернігівська	34,4	35,6	1,8
21	Івано-Франківська	32,1	56,3	3,2
22	Чернівецька	25,2	39,9	2,6
23	Рівненська	23,5	43,8	2,0
24	Волинська	21,8	46,5	2,0
25	Закарпатська	17,4	35,1	1,5
26	Тернопільська	12,4	46,6	1,1
27	Україна	3022	26,6	4,8

*Дані по Автономній Республіці Крим потребують уточнення, через те що у 1989 р. росіяни м. Севастополя були зараховані до всієї кількості російського населення Кримській області.

Цікаво, що в прикордонних з Росією областях України відсоток зменшення був незначним: найбільше – в Сумській та Чернігівській областях (по 35,6% відповідно). Певну роль у зменшенні російського населення в цих двох областях могли зіграти внутрішні чинники.

За кількісними показниками зменшення російського населення у 1989-2001 рр., навпаки, лідирують південно-східні області та м. Київ. На першому місці, за кількістю зменшення російського населення стояла Донецька область. В ній російське населення за 1989-2001 рр. зменшилось на 471,7 тис. осіб. На другому місці Автономна Республіка Крим – в ній кількість росіян зменшилась на 449,1 тис. осіб. На третьому місці Харківська область, в якій чисельність росіян зменшилась на 312,2 тис. осіб. Четверте місце посідала Дніпропетровська область – в ній чисельність росіян зменшилась на 308,2 тис. осіб. П'яте місце зайняла Луганська область, там кількість росіян скоротилась на 287,2 тис. осіб.

Наведені дані свідчать, що зменшення чисельності російського населення відбувалось переважно за рахунок російськомовних південно-східних областей (виняток становили лише Львівщина та м. Київ). Отже, в тих регіонах, де російська мова та культура займають домінуюче положення. Тому не може бути й мови про те, що причиною такого зменшення є дискримінація російського населення цих регіонів. Головною причиною зменшення чисельності росіян в цих регіонах являється еміграція з економічних причин. Підтвердженням економічного характеру еміграції росіян з України є те, що

найбільший її сплеск припадає саме на кризовий 1994 р. Доказом економічного характеру виїзду росіян являється також від'ємний у 1994 р. результат міграції українців. Хоча українці на той час були найбільш чисельні серед в'їжджаючих, однак у 1994 р. їх виїхало з України на 11 тис. більше, ніж в'їхало [4; 48].

У цілому, за різними російськими даними, сальдо міграції росіян в Росію з України становило 151,9 тис. осіб (за 1989-1995 рр.) [10;36], 162,8 тис. осіб (за 1990-1995 рр.) [6;146], 350 тис. осіб (за 1990-2001 рр.) [1;33]. Згідно з українськими джерелами сумарне сальдо міграції росіян в Росію за 1991-1994 рр. було від'ємним і становило - 41,1 тис. осіб $((-72,5) + (-69,9) + 15,8 + 85,5 = -41,1)$: від'ємне в 1991 р. (-72,5 тис. осіб) і в 1992 р. (-69,9 тис. осіб) та позитивне в 1993 р. (15,8 тис. осіб) та 1994 р. (85,5 тис. осіб) [3;147]. В будь-якому разі вирішальну роль в зменшенні кількості росіян в Україні відіграла зміна етнічної ідентифікації серед російського населення. Цю тезу підтримують як російські [1;40], так і українські [3;7] дослідники.

Отже, у 1989-2001 рр. відбулося зменшення чисельності росіян в усіх областях України, в Автономній Республіці Крим та у м. Києві. Проте, фактор еміграції не вплинув у значній мірі на зменшення кількості росіян України. Більше того, найбільша еміграція російського населення була саме зі східних областей. Тобто, вона мала економічні причини і не була зумовлена утисками російського населення. В цілому ж, вирішальним у зменшенні чисельності росіян України є внутрішній фактор, а саме – зміна етнічної ідентифікації у певної частини російського населення.

РЕЗЮМЕ

Статья раскрывает динамику уменьшения численности русского населения Украины за период 1989-2001 гг. Затрагиваются причины данного процесса, а также перспективы для русского населения Украины.

SUMMARY

The article discloses the dynamics of decreasing of Russian population in Ukraine from the period of 1989-2001. The reasons of this process is being examined, but also the perspectives for Russian population of Ukraine.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Арутюнян Ю.В. Русские в ближнем зарубежье. // Социс. – 2003. – №11. – С. 31-40.
2. Базив Д. Когда в Севастополь придет год Украины? // Зеркало недели. – 2004. – 26 июня.
3. Євтух В.Б., Трошинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник. – К., «Наукова думка», 2004. – 344 с.
4. Малиновська О. Від аналізу – до розробки концепції // Політика і час. – 1995. – №10. – С. 45-51.
5. Народне господарство України у 1992 році: Стат. щорічник / Міністерство статистики України; Відповідальний за випуск В. В.Самченко. – К.: Техніка, 1993. – 464 с.
6. Население России 1996. Четвертый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. А.Г.Вишневский. – М., 1997. – 166 с.
7. Национальный состав населения СССР: По данным Всесоюзной переписи населения.
8. 1989 г. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 159 с.
9. Романцов В. О. Українці на одвічних землях (XVIII – початок XXI століття). – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 200 с. – с.190.
10. Русские (Этносоциологические очерки). / Рук. исследования и отв. ред. Арутюнян Ю. В. – М.: Наука. 1992. – 464 с.

11. Рыбаковский Л. Л. Миграционный потенциал русского населения в странах нового зарубежья // Социс – 1996. – №11. – С.31-42.
12. Статистичний щорічник України за 2002 рік. – К., 2003.

Надійшла до редакції 03.05.2005 р.

УДК 796.5:62-56

РОБІТНИЦТВО І ТУРИЗМ В УКРАЇНІ У ХХ ст.

С.О.Ковальов

Одним із характерних символів нашого часу став міжнародний туризм. У процесі розбудови України як незалежної держави відкрилися нові перспективи його подальшого розвитку на базі досягнень попереднього часу. Сьогодні потрібно не розгубити ці досягнення, а використати найкращі здобутки організаційної та економічної діяльності туристської служби України, що формувалася протягом ХХ ст. за активної участі робітничого класу, особливо на початковому етапі – в 20-30 рр. Запропонована стаття присвячена аналізу розвитку туристичної галузі та участі у ній робітників України. Робота ґрунтується на матеріалах не тільки досліджень, із зазначеної проблеми, а й опублікованих джерел.

Активна розбудова сучасної туристської служби України розпочалася у березні 1918 р. зі створення екскурсійного відділу при Міністерстві народної освіти України, яким керувала член Центральної Ради С. Русова. Але вже в перші роки своєї діяльності більшовицько-радянський уряд та партійні органи не ставили собі за мету зберегти для майбутніх поколінь пам'ятки минулого (зокрема, козацькі могили та церкви), що були невід'ємною частиною українського пейзажу. Вони прагнули використати туризм як важіль ідеологічного впливу на населення з метою формування соціалістичної свідомості.

Щоб система могла нормально функціонувати та давати віддачу, потрібно було створити необхідну мережу екскурсійних пунктів, екскурсбаз, екскурскомун, які повинні були забезпечувати прийом і відправку туристів, надавати місця проживання, харчування, туристське спорядження, керівників екскурсій та інші необхідні послуги.

У 20-ті роки екскурсійну роботу в Україні здебільшого вели такі структури: екскурсійно-виставочно-музейний відділ Наркомосу УСРР (1919-1928 рр.), Українське мішане пайове товариство (УМПЕТ, 1928-1929 рр.), Товариство пролетарського туризму (УкрТУРЕ, 1926-1930 рр.).

Поступово створювалась мережа і місцевих туристських закладів на чолі з Всеукраїнськими екскурсійною базою та комуною. Екскурсійні пункти відкривалися навіть у селах при клубах; екскурсійні бази – у місцях, багатих на історичні пам'ятки з привабливими кліматичними умовами; екскурсійні комуни – здебільшого у губернських містах. Переважно при екскурскомунах діяли: виставочний кабінет, бібліотека, дослідницька лабораторія, гуртожиток для туристів.

Відчутне пожвавлення в екскурсійно-туристській роботі, що мало місце під час національно-культурного Відродження в Україні, на початку 20-х рр. помітно сповільнилось, зокрема через економічні труднощі. Уже в 1923 р. на Донбасі в результаті багатомісячної затримки платні почалися масові страйки робітників («волинки»). Тоді органи ДПУ притягнули до відповідальності 10 робітників [1]. Тільки в Донецькій області в 30-ті роки було репресовано 50 тис. осіб [2]. Цікаво, що найбільшу суспільну групу з числа репресованих склали саме робітники – 40,5% [3]. Незважаючи на значний вплив робітників з інших республік, питома вага українців, зайнятих у промисловості, збільшилась з 52% (1921 р.) до 66% (1940 р.) [4]. Розвиток у той час промисловості

Донбасу рятував селян від голоду і колгоспних трудовнів. Усього ж в Донецькій області у 30-50-х роках за політичними мотивами було репресовано понад 100 тис. осіб[5], що не могло не позначитись і на розвитку туризму в регіоні.

Одночасно з боротьбою проти інтелігенції компартія розпочала широку кампанію висування. Більш ніж 140 тис. робітників було висунуто на керівні посади. Так, колишній коногон Є.Т.Абакумов очолив Рутченківське шахтоуправління в Юзівці, де його помічником з політичної роботи з 1920 р. був М.С.Хрушов. Цікаво, що в березні 1923 р. одну з шахт в селищі Гришино назвали ім'ям Т.Г.Шевченка. За високі показники у праці колектив гірників було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора (1937 р.). У наш час це шахта 19/20 в/о «Красноармійськвугілля» (Донецька область) [6].

Політика репресій і висування призвела до соціальних змін у складі робітництва. Тепер воно мало меншу монолітність. Виникла напруженість між владою і субпролетаріатом, що прийшов на підприємства з доколгоспного села [7]. Масовій участі робітництва у розвитку туристського руху в Україні не сприяла і тяжка праця на новобудовах та голодомор 1932-1933 рр. Більше того, у другій половині 30-х рр. все більше у суспільстві розпалювалась класова ворожнеча та непримиримість щодо релігії. Українські туристичні заклади, що об'єднував УМПЕТ, у березні 1930 р. були звинувачені у неспроможності пропагувати соціалістичні ідеї і були підпорядковані Всесоюзному добровільному товариству пролетарського туризму та екскурсій (з філією УкрТУРЕ) та акціонерному товариству «Інтурист». Створене у квітні 1929 р. (керівник А. Сванідзе), за десять років своєї діяльності воно обслужило в СРСР 1 млн. іноземних туристів. Тільки у 1938 р. на його балансі знаходилося 27 готелів, 26 ресторанів, 334 автомобілі з загальним обігом коштів у 98 млн. карб. [8].

На початку 30-х рр. в процесі боротьби з українським буржуазним націоналізмом була репресована і значна кількість істориків-краєзнавців, що відчутно знизило якість туристичних послуг. Лише з другої половини 30-х років число бажаючих отримати туристичні послуги стало поступово збільшуватися.

У 1936 р. товариство УкрТУРЕ ліквідували, а його функції розподілили між Укрпрофрадою і Республіканським комітетом у справах фізичної культури та спорту.

Запроваджені керівництвом держави заходи щодо покращення профнавчання і мотивації праці робітників у 1921-1941 рр. загалом дали позитивні результати. Була також зміцнена і матеріальна база українського туризму. Саме в ці роки були створені основні структурні ланки сучасної туристичної системи: екскурсбюро, турбази, турстанції. Однак під час війни з фашизмом цій системі було завдано великих втрат. Лише після закінчення Великої Вітчизняної війни не тільки поступово відроджується, але й набирає сили туристична галузь України. Особливо пожвавився цей процес під час «хрущовської відлиги». Фактично з цього часу в Україні розпочинається становлення виїзного туризму. З 50-х років монополістами радянського туризму стали: ВАТ «Інтурист», Бюро міжнародного молодіжного туризму (БММТ) «Супутник» (почало діяти з 1958 р.) та Центральна рада з туризму та екскурсій (ЦРТЕ) ВЦРПС (розпочала свою діяльність з 1936 р.). Всесоюзне товариство «Інтурист» мало більше як 100 відділень та агенств у межах СРСР, у тому числі 7 – в Україні. У 80-ті рр. ВАТ «Інтурист» став однією з десяти великих турфірм світу. На той час щорічно туристичні послуги отримували 3 млн. іноземців та 2 млн. радянських громадян, 60% з них це були маршрути до країн соціалістичної співдружності. У системі відділень «Супутник» ЦКВЛКСМ тільки у 1976-1980 рр. традиційними обмінами делегацій були охоплені 8,5 млн. молодих людей з СРСР та іноземців, а на внутрішніх маршрутах – 10 млн. чоловік. «Супутник» співпрацював з 514 турфірмами 84 держав світу.

Також активно діяла Центральна рада з туризму та екскурсій ВЦРПС. Треба підкреслити, що туристичний рух до кінця 80-х рр. залишався заідеологізованим, як і все суспільно-політичне життя у СРСР. Місця у будинках відпочинку розподіляли в першу

чергу серед тих робітників, які мали найбільші трудові досягнення. Незважаючи на це, темпи розвитку галузі поступово зростали. Якщо у 1956 р. радянські туристи відвідали 61 країну, то у 1963 р. – вже 106 країн світу. У 1964 р. СРСР відвідав 1 млн. іноземців, а 900 тис. радянських громадян побували за кордоном. За весь час організованого туризму 50 млн. радянських громадян відвідали 142 держави світу.

У 1964-1965 рр. у Києві були збудовані туристичні установи, що залишаються кращими й до сьогодні: готель «Дніпро» (на сучасній Європейській площі) та мотель-кемпінг «Пролісок» (на Житомирській трасі), у 2001 р. першим в державі статут 5-ти зіркового отримав відреставрований готель «Україна» (збудований ще у 1908 р.).

З початку 70-х рр. при уряді УРСР було створено Управління з іноземного туризму, а з 1989 р. діє Асоціація «Укрінтур». З 1997 р. Україна – член Всесвітньої туристської організації. За останні роки ставлення до туризму з боку як центральних, так і місцевих органів влади змінюється на краще. Свідченням цього є діяльність Держкомтуризму України з виконання програми розвитку туризму в державі до 2010 року. Остання передбачає екскурсійне обслуговування 20 млн. людей з нахождением до бюджету від туристичних послуг 8 млрд. дол. Для порівняння: у 1998 р. надано туристичних послуг 13 млн. осіб на 3,8 млрд. дол. США [9].

Отже, туристичний бізнес, який в цілому світі вважається одним з найперспективніших напрямків підприємництва, у другій половині XX ст. все більше набирає динамічності і в Україні, яка також має значні туристичні ресурси, що можуть бути задіяні в інтересах всього суспільства в умовах ринкової економіки. Подолавши економічну кризу, можна реально збільшити прийом іноземних туристів і прибутки від їх обслуговування у декілька разів.

РЕЗЮМЕ

Анализируется становление и развитие туризма в Украине в XX в. Перечисляются наиболее важные туристские службы, сформировавшиеся в это время, называются виды услуг, которые предоставляются ими, раскрываются перспективы дальнейшего развития туризма. Обращено внимание на участие рабочих в туристическом движении в условиях социалистической системы хозяйствования.

SUMMARY

In present article the formation and development of tourism in Ukraine are analyzed the workers' participation in this process in the 20-th – 30-th of the XX c. is also considered. The Soviet Authorities tried to install in them the sense of proletarian internationalism and patriotism. Nevertheless, the repressions of the thirties influenced in a negative way. Only after the World War II tourism in Ukraine became a mass phenomenon. The article is also devoted to the perspective development of tourism. The author is discussing the problem of the worker's tourist movement in the conditions of the socialism economic system.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Правда через роки. – Донецьк: Лебідь, 1995. – С. 6.
2. Там же. – С. 3.
3. Там же. – С. 39.
4. Енциклопедія українознавства. – Т. 3. – К., 1995. – С. 1099; История советского рабочего класса. – М., 1984. – Т. 3. – С. 113.
5. Лаврів П. Історія Південно-Східної України. – Львів: Слово, 1992. – С. 122; Моя земля – земля моїх батьків – Донецьк, 1995. – С. 54.
6. Комсомолец Донбасса. – 1964. – 15 янв.

7. Верт Н. История советского государства, 1900-1991. – М., 1995. – С. 22.
8. Зевелев А. Истоки сталинизма. – М.: Высш. шк., 1990. – С. 17.
9. Програма «Україна-2010». – К., 1999, 92 с; Грачова Л., Попович С. Туризм в Україні на зламі тисячоліть. Матеріали 3 Междунар. научн.-практ. конф. – Славяногорск, 1999. – С. 61.

Надійшла до редакції 07.04.2005 р.

УДК 327(82). «XXI»

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НЕОПЕРОНІСТСЬКИХ УРЯДІВ НА ПОЧАТКУ XXI ст.

А.В.Бредіхин

Однією з найважливіших складових у характеристиці діяльності неопероністів початку XXI ст. виступає їхня зовнішня політика, дослідження якої дозволяє більш детально проаналізувати роль неоперонізму в історії Аргентини. Так само, як соціально-економічну, внутрішню політику, відносини з Міжнародним Валютним Фондом, зовнішню політику неопероністських урядів проблемно сприймати й оцінювати однозначно.

Цією обставиною й зумовлюється актуальність визначеної проблеми.

Зовнішня політика неопероністських урядів та її окремі аспекти досліджуються переважно у закордонній історіографії [1]. Вітчизняна історична наука цю проблему ґрунтовно не вивчала. Особливої уваги закордонні дослідники, зокрема російські латиноамериканісти, надають відносинам Аргентини з Іспанією, а також контактам між інтеграційними структурами Латинської Америки, на взірць співпраці МЕРКОСУР з Європейським Союзом. Прикладними у цьому розумінні є статті П.П.Яковлева, в яких автор аналізує кризу в Аргентині на початку XXI ст. та визначає характер взаємин з Міжнародним Валютним Фондом. На даному факті увагу акцентовано не випадково, адже контакти з Фондом належать до найбільш важливих напрямків зовнішньої політики неопероністських урядів.

Джерельну базу статті складають положення документів, пов'язаних з діяльністю Аргентини на міжнародній арені, а також матеріали аргентинських періодичних видань, інтерв'ю представників політичної еліти латиноамериканських держав, у тому числі й Аргентини.

Метою роботи є характеристика зовнішньої політики неопероністських урядів на початку XXI ст., зокрема зовнішньополітична діяльність неопероніста Н.Киршнера.

Методологічним підґрунтям статті виступають принципи історизму й об'єктивності.

У процесі аналізу зовнішньої політики неопероністів, на нашу думку, насамперед необхідно звернути увагу на ту обставину, що вони кардинально не змінювали векторів зовнішньополітичної активності Аргентини, визначених їхнім попередником К.С.Менемом. Разом з тим, варто підкреслити, що існують істотні відмінності між зовнішньою політикою, здійснюваною К.С.Менемом і неопероністськими урядами на початку XXI ст.

У даній роботі не випадково зіставляється зовнішня політика неопероніста К.С.Менема і неопероністів, що прийшли до влади на початку XXI ст., тому що саме діяльність К.С.Менема істотно вплинула на події розглянутого в статті періоду. Більш того, засади зовнішньої політики, впроваджуваної неопероністами на початку XXI ст., були закладені саме К.С.Менемом.

Їхні основні зусилля у зазначеній ділянці політики були спрямовані на реалізацію інтеграційних проектів. Важливого значення неопероністські уряди надавали й діяльності в межах Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР). У цьому зв'язку доречно пригадати, що фінансова криза 1998 року, зумовлена торговельним конфліктом між партнерами по МЕРКОСУР, призвела до утворення Групи макроекономічного моніторингу, яка, у свою чергу, розробила низку пропозицій щодо координації макроекономічних статистичних показників. Вони були схвалені країнами МЕРКОСУР на нараді у Флоріанополісі (Бразилія) у грудні 2000 року. У даній групі активно працювала й Аргентина.

Окрім вирішення проблем, пов'язаних з фінансовою кризою, неопероністські уряди спрямували свої зусилля на зміцнення митного союзу. Його існування було поставлено під загрозу через конфлікт між Аргентиною і Бразилією, спричинений змінами тарифів на імпорتنі операції. Цей конфлікт міг похитнути підвалини МЕРКОСУР. На наш погляд, його не варто розцінювати як протистояння двох латиноамериканських держав – Аргентини і Бразилії, скоріше це було зіткнення різних груп бізнес-еліти. Однак, акцентуючи увагу на цьому конфлікті, ми враховували фактор прихованого суперництва Аргентини і Бразилії, що триває не одне десятиріччя. У період правління неопероністських урядів це суперництво між двома регіональними «наддержавами» не переросло в зіткнення, значною мірою, завдяки ефективним діям неопероністів. З метою виходу з цієї складної ситуації вони почали більш динамічно розвивати регіональне співробітництво та взаємодію в межах МЕРКОСУР.

Підтвердженням наших висновків щодо подій, пов'язаних з аргентинсько-бразильським протистоянням, є наступний приклад. На самміті глав держав-членів МЕРКОСУР, що відбувся в грудні 2003 р. у Монтевідео, була створена постійна комісія МЕРКОСУР на чолі з президентом Аргентини Е.Дуальде. Крім цього започаткування, була налагоджена практика регулярних зустрічей і консультацій наступного президента Аргентини Н.Киршнера з президентами Бразилії, Болівії, Парагваю, Уругваю, Чилі.

На нашу думку, завдяки діям неопероністів, зокрема Е.Дуальде і Н.Киршнеру, вдалося не тільки уникнути зіткнення між Аргентиною і Бразилією, але і зміцнити континентальну солідарність. Виявом цього стала пропозиція, висловлена постійним секретарем Латиноамериканської економічної системи Отто Байє, щодо створення регіонального фонду підтримки Аргентини. Він зауважив, що держави регіону повинні виявити регіональну солідарність і допомогти братній країні у скрутну годину, оскільки подібне може статися з будь-ким [2].

Акцент на відносинах між Аргентиною і Бразилією в контексті функціонування МЕРКОСУР зроблений зовсім не випадково. Характер взаємодії двох латиноамериканських держав, у тому числі в економічній сфері, істотно впливав і продовжує впливати на стан МЕРКОСУР, а також у цілому на економічну ситуацію в Південній Америці. Задля доказовості наших суджень вважаємо доцільним звернутися до дослідження „До нової міжнародної стратегії. Виклик Нестора Киршнера», проведеного аргентинськими експертами, в якому підкреслюється вагомість активної взаємодії Аргентини і Бразилії у таких сферах, як розвиток інтеграційних процесів, реалізація спільних науково-технічних проектів прикладного характеру та боротьба із зубожінням [3].

Крім цього, на початку XXI ст. активно обговорювалася проблема запровадження єдиної грошової одиниці для заміни національних валют країн-членів МЕРКОСУР. У вищезгаданому документі, підготовленому експертами Аргентини, зазначається, що „настає час прийняття наднаціональних механізмів валютного співробітництва» [4].

Як вже відзначалося, хоча співробітництво Аргентини з Бразилією носило суперечливий характер, ця обставина не була визначальною в їхніх взаємовідносинах. На нашу думку, роль, що відігравали і продовжують відігравати Аргентина і Бразилія в історії Латинської Америки, досить відчутно впливає на рівень інтеграційних процесів у регіоні, буквально не залишаючи цим країнам інших варіантів відносин, окрім їхньо-

го взаєморозвитку. На підтвердження цього доцільно навести точку зору газети „Кларин» на взаємини вказаних держав латиноамериканського регіону: „Більше діалогу і здорового глузду – у цьому запорука успіху аргентино-бразильських відносин» [5].

Не позбавлена колізій і драматизму співпраця Аргентини з Бразилією, як вже відзначалося, сприяла зміцненню континентальної солідарності латиноамериканських держав. На самміті Америк, що відбувся в Монтерей у січні 2004 р., неопероністу Н.Киршнеру вдалося, скориставшись зазначеною тенденцією, звернути увагу лідерів країн-членів МЕРКОСУР на проблеми, що сподівалася вирішити Аргентина. Доказом успіху місії Н.Киршнера було те, що колеги погодилися з його думкою щодо відносин Аргентини з Міжнародним Валютним Фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Президент Аргентини у своєму виступі проаналізував проблеми, з якими стикнулася Аргентина, контактуючи з перерахованими вище структурами. У відгуку на промову Н.Киршнера президент Венесуели Уго Чавес заявив наступне: „До Монтерею варто було приїхати лише задля того, щоб це почути» [6]. Слід зазначити, що Н.Киршнер неоднозначно оцінював діяльність Міжнародного Валютного Фонду, піддаючи критиці його політику стосовно Аргентини.

Необхідно підкреслити, що, окрім президентів латиноамериканських держав, у тому числі Бразилії, на Самміті Групи 15, що відбувся у Каракасі в лютому 2004 р., Н.Киршнера у його складному діалозі з Міжнародним Валютним Фондом підтримали лідери держав Азійсько-Африканського регіону. З нашого погляду, це – одне з найвагоміших визнань ефективності започаткованих Н.Киршнером кроків на міжнародній арені. На нашу думку, неопероністи, що у період Н.Киршнера певною мірою повернулися до принципів, сформульованих Х.Д.Пероном, здобули підтримку від ряду країн Азії, Африки і Латинської Америки, оскільки держави саме цих регіонів у минулому позитивно сприйняли пероністський рух. Більш того, Аргентина в період правління Х.Д.Перона цілком могла стати лідером серед країн, що розвиваються. Безумовно, не варто сприймати цю підтримку лише як зовсім природню. Вважаємо недоцільним скидати з рахунків ту обставину, що політику Міжнародного Валютного Фонду досить неоднозначно оцінювали в ряді держав Азії, Африки, Латинської Америки.

Аналіз зовнішньої політики неопероністських урядів і, зокрема, Н.Киршнера, вказує на її економізацію. Саме в період президентства Н.Киршнера посилилася економічна складова її зовнішньої політики: держава і національний бізнес почали діяти як єдине ціле на міжнародній арені і, передусім, у Латинській Америці. Найважливішим складником цього альянсу була команда Н.Киршнера, що активно використовувала всі наявні можливості. Як наслідок, зросла кількість контактів між представниками латиноамериканських бізнес-структур. Однієї з таких зустрічей стали перемовини керівників 75 провідних фірм Аргентини з представниками бізнес-клі Венесуели, що відбулися на венесуельському острові Маргарита, завдяки чому були підписані багатомільйонні контракти на будівництво шляхів і постачання турбін для гідроелектростанції Макагуа, продаж до Венесуели сої, м'ясомолочних продуктів, вин, фруктів інших традиційних товарів аргентинського експорту [7]. Ще більш вагомим наслідком економізації зовнішньої політики Аргентини було значне посилення її позицій у фінансово-економічній сфері в межах Латинської Америки. Як відомо, подібна тенденція дозволила підняти на якісно новий рівень позиції країни взагалі. На нашу думку, це особливо важливо після періоду структурної кризи, що охопила Аргентину на початку ХХІ ст. і стала однією з найдраматичніших сторінок у новітній історії цієї латиноамериканської країни.

Неопероністські уряди в окреслений період історії Аргентини намагалися не лише економізувати зовнішню політику, але і віднайти нові можливості для політичної взаємодії. У цьому зв'язку, на нашу думку, варто наголосити на тому, що неопероністи спрямували свої зусилля на використання МЕРКОСУР як структури, що, як відзначалося, не тільки координує економічне співробітництво, але і політичну взаємодію. Ще в

1996 р. на нараді президентів країн-членів МЕРКОСУР було вироблено відповідний механізм політичних консультацій і координації. Ця нарада відбулася в Аргентині. Серед завдань подальшої діяльності визначалися розширення і систематизація політичного співробітництва, вивчення питань, що викликають спільний політичний інтерес, узгодження позицій щодо міжнародних проблем. Незважаючи на досягнуті успіхи, існує низка проблем, що перешкоджають розвитку політичних контактів. Одна з головних перешкод – дії у сфері зовнішньої політики, започатковані неопероністом К.С.Менемом у 90-і рр. XX ст. Вони вплинули на сприйняття Аргентини латиноамериканськими державами в наступні роки. На підтвердження наших суджень доцільно навести думку бразильського науковця, фахівця у сфері міжнародних відносин Е.Жагуарібе. Він стверджував, що країни МЕРКОСУР мають всі передумови для формування єдиної зовнішньої політики, реалізація якого ускладнюється спробами деяких країн використати зв'язки із США для посилення власного міжнародного престижу, надходження капіталів і технологій, стримування бразильського імперіалізму в Південній Америці [8]. Вочевидь, Е.Жагуарібе мав на увазі Аргентину і надання їй статусу партнера США за рамками НАТО.

Однак, незважаючи на зазначену вище перешкоду, це не могло зашкодити латиноамериканським державам, зокрема Аргентині, у пошукові шляхів виходу на якісно новий рівень політичного діалогу. Одна з можливостей цього – створення механізму політичного діалогу між Андським співтовариством і МЕРКОСУР. Таку пропозицію висловив президент Болівії У. Бансера. Він стверджував, що механізм політичного діалогу і координації південноамериканської інтеграції дасть новий імпульс для взаємодії у вище зазначених сферах. Ця пропозиція мала бути реалізована під час проведення Першого південноамериканського самміту 2000 року. Однак цього не сталося у зв'язку з розбіжностями між країнами Центральної Америки, які мали стати складовими цього механізму. Незважаючи на це, неопероністи не припинили спроб, спрямованих на розвиток політичного діалогу.

Неопероністські уряди на початку XXI ст. стали надавати особливого значення взаємодії з європейськими державами. У межах даного вектору зовнішньої політики Аргентини особливе значення надавалося співпраці з Іспанією. Таке зміщення акцентів у бік цієї європейської держави не випадкове. Як відомо, ще в 1991 р. відбулася Перша Іberoамериканська конференція, у роботі якої взяли участь представники Іспанії, Португалії, Аргентини, Бразилії, Болівії та цілої низки країн Латинської Америки. З огляду на спільне історичне і культурне минуле, у заключному документі Декларації Першої Іberoамериканської конференції її учасники зобов'язалися на засадах демократії, поваги прав людини та основних свобод налагодити співпрацю задля усунення проблем у трьох провідних галузях: міжнародного права, економічного і соціального розвитку, освіти і культури, висловивши підтримку процесам регіональної і субрегіональної інтеграції. Необхідно підкреслити, що документи, ухвалені протягом 90-х рр. під час проведення зустрічей глав іberoамериканських держав, засвідчують культурно-соціальну спрямованість взаємодії між країнами. Однак лише у кінці XX – на початку XXI ст. стала формуватися політична складова іberoамериканської взаємодії. У 1999 р. за підсумками наради в Ріо-де-Жанейро було схвалене спільне комюніке та додаток до нього під назвою „Пріоритети до дії» – країни Європи і Латинської Америки зобов'язалися сформувати міжконтинентальний політичний альянс на підставі спільних політичних, культурних та економічних цінностей [9].

Таким чином, можна підсумувати.

Однією з найважливіших складових у характеристиці неоперонізму як явища новітньої історії є аналіз зовнішньої політики неопероністських урядів початку XXI ст.

Як відомо, період, розглянутий у статті, був одним з найбільш драматичних в історії Аргентини, коли країна була охоплена структурною кризою. Тому не випадково

вагомим напрямом зовнішньополітичної діяльності неопероністських урядів було налагодження взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, насамперед з Міжнародним Валютним Фондом, тобто з тими структурами, що брали безпосередню участь у кризових процесах. Така взаємодія носила складний і суперечливий характер, що, зокрема, проявилось в прагненні Н.Кіршнера вивести країну з кризового стану без широкомасштабної фінансової підтримки Міжнародного Валютного Фонду.

За цих обставин перед неопероністськими урядами поставало головне завдання – зміцнити імідж держави, який похитнувся. Задля цього неопероністські уряди намагалися усталити позиції Аргентини в інтегральних організаціях, зокрема, у МЕРКОСУР. У зв'язку з цим у статті звернуто увагу на економічну і політичну складові участі Аргентини в інтеграційних процесах. Не менш важливою стала й співпраця з європейськими країнами, передусім, з Іспанією. З огляду на спільне культурне й історичне минуле, пріоритетність відносин з Іспанією є цілком виправданою.

Незважаючи на проблеми, з якими стикалися неопероністські уряди, загалом їм вдалося реалізувати поставлені зовнішньополітичні завдання й у такий спосіб зміцнити позиції Аргентини на міжнародній арені, принаймні, у Латинській Америці.

РЕЗЮМЕ

Характер зовнішньої політики Аргентини на початку ХХІ ст. формувався значною мірою під впливом неопероністських урядів. Пріоритетними векторами зовнішньої політики були: взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями, інтеграційними структурами, європейськими державами.

У статті аналізуються вказані напрямки, а також особливості діяльності неопероністів на міжнародній арені.

SUMMARY

The character of the foreign policy of Argentina in the XXI century was formed namely under the influence of neoperonistic governments. The chief vectors of the foreign policy were the interaction with the similar international organizations, European states.

The following orientations and also the peculiarities of neoperonist's activity on the international scene.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Tokatlian J.G. Hacia una nueva estrategia internacional. El desabio de Nestor Kirchner. – Buenos Aires, 2004. – 246 p.
2. El Universal. Caracas, 17.V.2002, p.2.
3. Tokatlian J.G. Hacia una nueva estrategia internacional. El desabio de Nestor Kirchner. – Buenos Aires, 2004. – P.184.
4. <http://www.Fortuna.uolsinectis.com.ar>
5. Clarin, 9.II.2004, p.3.
6. <http://www.relintitutoelcano.org>.
7. Clarin, 23.VII.2004, p.2.
8. Mexico igual / El Mundo. – 1994. – 23 de cgesto. P.9.
9. Степанов М.С. Пошуки шляхів зближення // Латинська Америка. – 1999. – №12. – С.31.

Надійшла до редакції 16.06.2005 р.

Ф І Л О С О Ф І Я

УДК 165.72

СКРЫТЫЙ ПОЗИТИВ НЕГАТИВНЫХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛОВ БЫТИЯ

Н.Н.Емельянова

Насущной проблемой нашего времени является проблема обретения человеком субстанциальной целостности. Феномен расколотого «я», бывший предметом исследования таких мыслителей, как Б.Паскаль, С.Кьеркегор, Ф.Ницше, З.Фрейд и многие другие, стал в XXI веке явлением не только трагической, но и иронической реальности. Однако это не означает исчезновения негативных экзистенциалов бытия – страха, тоски, отчаяния, тревоги. В связи с этим, весьма актуальным представляется исследование данных экзистенциалов, репрезентующих индивидуальное мироотношение рефлексизирующего индивида. Целью нашей работы является выяснение двойственного характера онтологических переживаний, позволяющего трактовать их не только в негативном, но и в позитивном аспекте. Задачей статьи является анализ сущности негативных экзистенциалов, пронизывающих философское творчество европейских мыслителей, восставших против диктата самодостаточного разума.

Исследуемый феномен рассматривался такими философами, как М.Унамуно, Л.Шестов, Н.Аббаньяно и др. Но, как правило, в философской литературе негативные экзистенциалы бытия ассоциируются с пессимистическим умонастроением и являются иллюстрацией мировоззренческого скепсиса. С нашей точки зрения, подобный подход грешит догматической односторонностью, так как не учитывает громадного энергетического потенциала, заложенного в так называемых «отрицательных» формах мировосприятия. Историко-философский анализ негативных экзистенциалов, а также прояснение их продуктивности как потребности личностной самоактуализации составляют научную новизну данной работы.

В философском творчестве европейских мыслителей, исповедующих экзистенциальный способ мироотношения, акцентируется внимание на негативных переживаниях субъекта: скуке, отчаянии, страхе, тревоге. В основе этого акцентирования лежит тоска по целостному существованию, определившая тематику трудов Кьеркегора, Ницше, Хайдеггера и их единомышленников. Тезис о всеобщности страдания, особенно популярный в восточной философии, обретает у западных мыслителей иную ментальную окраску. Экзистенциальное мировидение не только относит проблему страдания к сфере бытия всех вещей, но и делает ее проблемой человека как сущего в мире. При этом процесс самоуглубления предусматривает не умиротворение субъекта, а, напротив, пробуждение его творческой энергии.

Беспокойство и удивление, овладевающее человеком, погруженным в мир феноменов, порождает метафизическую тревогу. Люди охотно поддаются страданиям; в связи с этим Августин сокрушался, размышляя о гордости падения и беспокойной усталости, которая вырабатывает богатый посев бесплодных печалей. Паскаль, обосновавший онтологическую нищету человека, писал о скуке как атрибуте праздности и о тоске, толкающей индивида к бегству от самого себя. Непостоянство, скука, беспокойство воспринимались им как условия человеческого бытия. Причина этого состояния очевидна: вокруг

существует слишком много явлений для того, чтобы отрицать, и слишком мало – чтобы утверждать. Природа ничего не предлагает, кроме того, что вызывает сомнение и беспокойство; она указывает на исчезнувшего Бога, как в человеке, так и вне его. Однако Паскаль преодолевает это плачевное состояние обращением к Богу, которого чувствует своим сердцем. Поэтому он не может примириться с Декартом, отбросившим Абсолют после того, как признал его право на первотолчок. «Иметь сомнение – это несчастье, но искать в сомнении – нерушимый долг» [1, с.192]. Отчаяние становится для Паскаля trampлином к обретению веры, которая оказывается результатом исполнения его собственного девиза «Искать, стена». Известно, что этот девиз противостоит Спинозовскому «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать». Но, как оказалось, и в философии Спинозы можно усмотреть экзистенциал отчаяния. Именно так поступает М.Унамуну, убежденный в том, что в действительности у Спинозы – не философия смирения, но философия отчаяния. Испанский философ, отстаивающий иррационализм и считающий Спинозу и Ницше рационалистами, все же находит у них позитив: «...они, тем не менее, не были духовными евнухами; у них были и сердце, и чувство, а главное – голод, безумный голод по вечности, по бессмертию» [2, с.111].

Интерпретация Спинозы как рационалиста привычна, чего нельзя сказать о Ницше. Это еще раз говорит о сомнительности категоричного причисления известных мыслителей к противоположным философским направлениям. Показательно, что Гегель, отточивший рационалистическую философию до логической безупречности, также обращался к экзистенциалу отчаяния. Он связывал с ним одностороннюю субъективность, присущую современной ему философии. Отчаяние, приведшее к утверждению, что наше познание есть лишь субъективное познание и что никакое другое познание нам не доступно, он считал болезнью своего времени. Эта «болезнь» наиболее отчетливо проявилась в творчестве европейских романтиков. Так, ночные бдения Бонавентуры даже в античности не смогли отыскать достойных образцов. «Образ античности у него современный музей, где собраны мраморные калеки, битые, переломанные античные статуи» [3, с. 165]. Мысли романтиков, воплотившие представление о бытии субъекта как обители отчаяния, были популярны не только на Западе. Известно, что Белинский, далекий от романтических пристрастий, давал высокую оценку Шиллеру, видя в нем провозвестника высоких истин, а Байрона считал гордой личностью, возмущившейся против общего. Не замыкаясь на поисках бесконечных путей развития личности, романтики превращали свое творчество в орудие критики.

Философия романтиков, отразившая сомнения и тревогу мыслителей за участь человека в грозном мире, подготовила экзистенциальное обоснование отчаяния и страха как субстанциальных факторов человеческого бытия. Для Кьеркегора отчаяние стало моментом открытия неподлинности и конечности индивидуального существования. Единение субъекта и бытия, переживаемое через эстетическое наслаждение или через этическую ответственность, оказалось неистинным и с неизбежностью породило неудовлетворенность, а затем – отчаяние. Давая отчаянию оценочные характеристики, Кьеркегор обращает внимание на такую особенность человека, как стремление избавиться от отчаяния бегством в повседневность. Но чувство тревоги и неизбежной тоски не оставляет индивида, обостряя в нем ощущение трагической незащищенности. В абсурдном, дисгармоничном мире жизнь человека становится трагедией с ярко разрисованными ширмами. «Трагедия показывает королевство, которое может исчезнуть даже от движения мизинца» [4, с.15]. Эти слова Бабура можно вполне применить к существованию кьеркегоровского *единичного*. Испытываемое индивидом чувство вины, – даже в том случае, если конкретная виновность отсутствует, – сопровождает его на всем пути к Абсолюту. Это чувство так же парадоксально, как ощущение страха, и так же необходимо для самосотворения личности, заново открывающей себя.

Таким образом, смещение смыслов в сторону парадоксального откровения не означает ликвидации страха и вины, но придает им позитивность истинного бытия. В отличие от Шопенгауэра, Кьеркегор отрицает наличие слепой, дикой силы, лежащей в основе мироздания. По его мнению, господство пустоты, которую ничем нельзя насытить, сделало бы жизнь человека сплошным, беспросветным отчаянием. На самом деле отчаяние находится в воле самого человека, который способен выйти из него: «...Решившийся на отчаяние решается, следовательно, на выбор, то есть выбирает то, что дается отчаянием – познание самого себя как человека, иначе говоря, – сознание своего вечного значения» [5, с. 295]. Это вечное значение отвергается Шопенгауэром, который, во многом следуя Плотину, не принимает позитивного смысла слияния индивидуального с первоединым. Для немецкого пессимиста любое существование, как в обыденном, так и в метафизическом смысле является жалким и ничтожным. Но именно эту ничтожность существования, а вместе с ней – печаль и сомнение стремится преодолеть экзистенция, идущая от Кьеркегора и продолженная Ницше.

Разочарование человека в кажущейся цели становления является для Ницше причиной нигилизма как психологического состояния. Кажущаяся значительность мира, обусловленная поверхностным пониманием, исчезает при более глубоком всматривании в него; осознается неизбежность *ничто*, которое отождествляется с бессмысленным. Однако ужас обесцененного мира недоступен усредненному человеку: «На середине нет места для страха: здесь ни в чем не ощущается одиночества; здесь мало простора для недоразумения; здесь господствует равенство; здесь собственное бытие ощущается не как упрек, а как истинное бытие; здесь царствует довольство. Недоверие проявляют лишь к исключениям; то, что ты исключение, вменяется тебе в вину» [6, с.117-118].

Рассматривая обывательское существование как упрек истинному бытию, Ницше отвергает и мораль декаданса. Он противопоставляет ей иную мораль – стоическую и суровую, ибо дух должен быть дальше всего от усталости и слабости. Поэтому и Заратустра обречен на бесконечное преодоление тоски и отчаяния во имя вдохновенной любви к *дальнему*. Как видим, в отличие от Кьеркегора, Ницше не сосредотачивается на негативных экзистенциалах человеческого бытия. Его внимание приковано к силе духа, для которого отчаяние и страдания являются не ступеньками к Богу, а помехами на пути к сверхчеловеку. Из этого не следует, что для Ницше не существовало проблемы отчаяния и страха, столь значимой для Кьеркегора. Сама философия Ницше с его концепцией вечного возврата могла возникнуть только из глубинного экзистенциального отчаяния. Но, посвятив себя идее вечного самопреодоления, Ницше выбирает *amor fati* и в мучительном порыве к жизни благословляет волю к мощи.

Европейская философия XX века, актуализировавшего проблему «бездомности» индивида, вновь поворачивается к анализу негативных экзистенциалов существования. У Ясперса эта проблема разворачивается в аспекты коммуникации, сфера которой порождает иллюзии свободы и, следовательно, – неизбежность разочарований. Страдания пробуждают экзистенцию от дремоты; возникают страх, тревога, чувство вины. Несоответствие между способностью человека к коммуникации и его исторической зауженностью способствует появлению щемящего чувства по образцу субъективной вины. Пустота экзистенции возникает и в тех случаях, когда одна личность активно доминирует над другой, устанавливая отношения господства и подчинения. В подобных ситуациях возникает страх, прерывающий коммуникацию и замыкающий индивида в самом себе. Ясперс считает, что попытка нигилистического преодоления страха смерти не спасает человека, а лишь порождает чувство вины и все последующие состояния страха. Вместе с осознанием собственной конечности приходит и осознание неизбежности собственных провинностей; таким образом, личность, стремясь к упорядочению коммуникации, борется сама с собой. Люди ставят себе конечные цели, но при этом всегда получается нечто иное по сравнению с тем, чего они хотели достичь. Однако ко-

нечность человека перестает быть удручающим фактором, когда коммуникация связывает ее с бытием в целом; возникает онтологическая целостность, которую Ясперс трактует как объемлющее. «Мы живем и мыслим, всегда ограниченные некоторым горизонтом... Объемлющее – это еще не горизонт, в границах которого нам даны определенные виды действительности и истинного бытия, а то, в чем, как в чем-то объемлющем, заключен каждый отдельный горизонт» [7, с. 43]. Поскольку человек является частью объемлющего, он сохраняет сознание утраты связи с трансценденцией, что удерживает его от превращения в субъект произвола.

Утверждение Ясперсом трансцендентного бытия опыта и сверхчеловеческого смысла жизни исходит из непостижимости единства общего и частного. По мнению Камю, Ясперс занят поисками нити Ариадны, ведущей к божественным тайнам; но эти поиски осуществляются в опустошенном мире, где единственной реальностью кажется Ничто, а единственно возможной установкой сознания – безысходное отчаяние. Эта позиция объяснима, так как двадцатый век – это век страха. «Мы живем среди ужаса, потому что больше нет уверенности, потому что человек целиком был вверен истории и больше не может вернуться к историческому как части себя самого, чтобы обрести потерянное – красоту мира и лиц; потому что мы живем в мире абстракций, в мире трибун и машин, абстрактных идей и мессианизма без оттенков» [8, с.201]. Поэтому мыслителей, нередко обвиняемых в пессимизме, охватывает тревога – тревога эпохи, от которой они неотделимы. Желая мыслить и жить в своей истории, они полагают, что истина этого века может быть достигнута в едином порыве, вплоть до конца его собственной драмы. Сущность человеческой драмы выражается в ностальгии по Единому, познание которого оказывается тщетным. Единственной осмысленной историей мышления предстает история покаяний и признаний в бессилии субъекта. Любовь и смерть, совесть и вина перемешиваются в хаосе апокалипсиса, который становится ценностью. Тревожное осознание суммы абсурдного опыта отбирает у человека надежду, но дает ясность видения. Фундаментальный разлад между индивидом и его опытом возвращает почву для возврата к страстному пламени бунта.

Раздумывая о бунте отчужденного человека, включенного в молох Абсурда, Камю отдает должное гению Маркса: «Мы обязаны ему мыслью, заключающей в себе все отчаяние нашего времени – а отчаяние в данном случае лучше всякой надежды, – мыслью о том, что труд, превратившийся в унижение, уже не имеет ничего общего с жизнью, хотя длится столько же, сколько и сама жизнь» [9, с. 281]. Но насилие, коренящееся в марксовом проекте преобразования бытия, делает сомнительной позитивность идеи справедливости. Ненависть к существующему миру, равно как и безоглядная любовь к нему порождаются низвержением Бога. Нигилистом, по Камю, можно быть двояким образом, и каждый раз из-за непомерной жажды абсолюта. В этих условиях философы призваны преодолеть нигилизм как волю к отрицанию и отчаянию, овладевшую субъектом, отчужденным от самого себя.

Проблема отчуждения, вновь актуализированная экзистенциалистами XX века, имеет выраженный нравственный характер. Демонстрируя масштабы мировой абсурдности, они демонстрируют и масштабы вызванного этой абсурдностью отчаяния. У Сартра отчуждение предстает своеобразным трением между субъектом, отчаявшимся обнаружить смысл бытия, и парадоксальным, громоздким миром. Окончательное отчуждение, воплощенное в смерти, обостряет трагизм конечного индивидуального опыта. Человеческая реальность, существующая в виде недостаточности, овладевает своим существованием как неполным бытием. Свобода, неотличимая от этого бытия, представляет собой основание, лишенное всяких оснований. Поэтому она проявляет себя в тревоге и тоске, символизируя разрыв субъекта и его сущности. В известном рассуждении об ужасе перед пропастью Сартр видит индивида тем, чем он будет в модусе небытия. Подходя к пропасти, человек играет своими возможностями и идет к будущему посредством своего ужаса, что означает

тревогу перед будущим. Есть и другая тревога – перед прошлым, тревога игрока, решившего больше не играть: «Но то, что он постиг тогда в тревоге, и есть как раз полная недейственность прошлого решения» [10, с. 69]. *Бытие-для-себя* порождает конфликтность коммуникации: я устанавливаю границу свободы *Другого*, но и он является субъектом по ту сторону моей границы. Сознание отрыва от него – это сознание моей собственной спонтанности: этим самым отрывом я уже вывожу *Другого* из игры. Несчастное сознание неспособно превзойти это состояние несчастья, так как каждый человек одновременно и играет собственную драму, и порождает ее. Жизненный опыт людей протекает в практико-инертном поле, что сигнализирует об их реальном порабощении. Замкнутый круг существования в абсурдном мире, убивающем надежду, превращает даже любовь в бесконечный поединок с неизбежным поражением.

В то же время, отчуждение, превращающее *Другого* в объект пользования, порождает в *бытии-для-себя* чувство вины и греховности. Разумеется, эти экзистенциалы насыщены у Сартра совершенным иным содержанием, нежели у Кьеркегора. Они не направлены к божественному Абсолюту, а связаны с отрицательным содержанием отношений *Я* и *Другого*. Бог ассоциируется у Сартра с трансцендентностью, которая приобретает характер гипотезы, причем этот процесс совершается за рамками человеческой реальности. Идея Бога как абсолютного «третьего» отражает пустоту гуманистической идеи общества. Поскольку реальность всегда неполноценна, она влечется к обоснованному бытию, то есть к совершенству, но последнее заключено не в трансцендентном, а в ней самой. В конечном счете, человек, сам ангажированный организованной ситуацией, ангажирует своим выбором действительное бытие. Являясь творцом истории, он никогда не избавляется при этом от чувства собственного бессилия.

Беспомощность субъекта перед лицом Бытия и, одновременно, решимость к ее преодолению становится важным моментом исследований Хайдеггера. Аппелируя к человеческим переживаниям, он отказывается от объективированной интерпретации сущего. Страх, ужас, тоска, тревога, покинутость – далеко не полный перечень экзистенциалов, в которые Хайдеггер погружает индивидуальное существование. Именно переживательное восприятие мира делает возможным появление мировоззрения как отношения человека к сущему. Завоевание мира, начавшееся с Нового времени, создает основу для вопрошания бытия человеком, превратившимся в сфере сущего в субъект. Само существо человека отныне блуждает в бездомности и экзистирует в заброшенности. Бытие, пронизанное ужасом и тоской, приоткрывает сущее, которое тонет в оцепенелом покое безразличия. По мнению Хайдеггера, эпоха демонстрирует своеобразно равнодушную самопонятность в отношении к истине сущего в целом. Кризис метафизических оснований культуры свидетельствует о торжестве нигилизма: «Эпоха мировой ночи – это ущербная эпоха, ибо она становится все более ущербной. Она уже стала настолько ущербной, что больше не в состоянии заметить отсутствие Бога как отсутствие» [11, с.248]. Вследствие этого отсутствия основание мира перестает существовать как обосновывающее смысл бытия. Эта утрата смысла бытия означает утрату самой проблемы смысла, хотя человеку нелегко в этом признаться. Поскольку ключами к бытию в мире являются переживания и настроения людей, тоска и тревога окончательно узакониваются как симптомы его неблагополучия. Скука или печаль являются не только доминантами индивидуального существования, но и атрибутами мира в целом. *Здесь-бытие*, таким образом, символизирует «падение» субъекта, его растворение в мире вещей и потерю своего «я».

Заметим, что в понятие «я» мыслители-«негативисты» вкладывают экзистенциальное измерение, содержащее не только отношение к себе, но и отношение к другому человеку, а также – к трансценденции, к Богу. Кроме того, понятия личного бытия и экзистенциального существования не совпадают, так как последнее является целью и высшей ступенью первого. В сущности, само понятие «я» намного глубже, чем обозна-

чение реального человека. Например, у Паскаля «я» означает отвлеченную сущность человеческой души, в то время как конкретный индивид представляет собой совокупность эмпирических душевных свойств; у Фихте «единичное я» метафизически тождественно мировому «я» и т.д. Категории «я» можно придать и статус сущности, стоящей выше законов мышления и самой очевидности. Именно эту попытку осуществил немецкий «эгоист» Макс Штирнер. В отличие от Паскаля, у которого «я» утрачивает субстанциальность, а приверженность индивида своему «я» объясняется результатом влияния сил несовершенного мира, немецкий философ придал данному понятию смысл «ничто», означающего «все». Неудивительно, что на Штирнера обрушился град упреков в том, что для него нет ничего выше «я». Правда, категории «выше» и «ниже» весьма условны относительно индивидуального «я»; именно поэтому история философской мысли ставит под сомнение возможность обоснования «я» в качестве фундамента человеческой идентичности.

По сути, «я» не исчерпывается поступками, мыслями и словами индивида. Человек онтологически не тождествен своим деяниям, но именно эта нетождественность служит гарантом неисчерпаемости возможностей «я». Иное дело, если речь идет об экзистенциальной нетождественности индивида самому себе: здесь подразумевается кризис самоидентичности. В этом случае теряется чувство адекватности и стабильного владения собственным «я» независимо от ситуации, а, следовательно – и способность личности к полноценному решению возникающих перед нею задач. Кризис самоидентичности означает деструкцию и попытку искусственного синтезирования разорванного сознания. Брошенный в мир, индивид ощущает условность любого жизненного эксперимента в действительности, которая предшествует его деятельности. Искореняется основа всякого человеческого стремления; синхронически обостряется ощущение беспочвенности, грозящей апофеозом Ничто. Жизнь становится предельной точкой на границе с небытием, а перспективы развития индивида утрачиваются в условиях ставшего привычным тотального нарушения социальных и культурных норм.

Мир всегда выступает в роли ограничителя человеческого бытия, а в условиях всеобщего разлома это ограничение становится предметом нравственной спекуляции. В итоге индивид проваливается в пустотные формы разбалансированной, чуждой жизни. Эскалация всеобщей нетерпимости происходит и на личностном уровне, и в сфере общностей; однако это не препятствует растворению индивидуальности в общей массе. С одной стороны, смешиваясь в массе с себе подобными, индивид теряет качественную уникальность своего существования. Тем самым он ограничивает свою актуализацию, замыкаясь в обедненном внутреннем мире. С другой стороны, отсутствие кардинальных качественных различий способствует слиянию его с другими обезличенными индивидами и обеспечивает определенную монолитность массы. Подобное смешение в единообразии знаменует торжество количественного аспекта в человеке и утрату сущностного.

Бытие человека ориентировано не на замыкание в собственных пределах, а на постоянный переход от одного измерения к другому. Если этого не происходит, анонимность и одномерность утверждаются как стабильные состояния субъекта. Одномерность массового человека размывает его сознание и способствует утрате критической самооценки. Модель мира трансформируется и обретает черты фрагментарности, а ценностная дезориентация нивелирует любые представления о «лучшем» типе человека. Сознание массового маргинального человека структурируется массовой же культурой; интеллектуальная эрудиция подменяется набором количественных знаний из серии «что, где, когда». Соблазны и запреты Системы провоцируют искушение «покоем», тем «счастьем», которое стремился дать людям Великий Инквизитор Достоевского. Однако «счастье» индифферентности противоречит волевой природе человека и возможностям его духовных запросов. Кризис самоидентичности и утрата экзистенции не означают полной потери рефлексии. Несмотря на обилие оглушающей информации,

индивид не избавлен от тревоги и одиночества. Его самость поглощается анонимной массой, но единство внутреннего мира уподобляется треснувшему зеркалу.

Понятие расколотого «я», со времен Фрейда ставшее привычным истолкованием неблагополучия во внутреннем мире субъекта, характеризует онтологически неуверенную личность. Любопытное истолкование фрейдовской теории дал Р.Лэнг, считающий, что Фрейд героически сошел в «Преисподнюю» и встретился там с абсолютным ужасом, который он превратил в камень своей теорией, как головой медузы. Чувствуя себя несубстанциальным, индивид сталкивается с реальностью, но не может выразить ужаса, связанного с переживанием этой реальности. В любой момент мир может вторгнуться и уничтожить индивидуальность так же, как газ врывается и уничтожает вакуум. Индивидуум ощущает, что, как и вакуум, он совершенно пуст; но такая пустота есть именно он. В эту пустоту вписываются только переживания, отождествляемые с поведением другой личности. На основе этих переживаний строятся действия, по преимуществу разрушительные, ибо они соответствуют миру, где отчуждение становится нормальным условием бытия. Но пламя экзистенции переплавляет и изменяет любые теории. Не предлагая безопасного приюта для бездомных, экзистенциальное мышление «находит свое обоснование тогда, когда, несмотря на поток наших средств и стилей, наших ошибок, заблуждений и извращений, мы найдем в сообщении другого переживание взаимоотношения, которое установлено, потеряно, разрушено и вновь обретено» [12, с. 253].

Экзистенциально переосмысливая Фрейда, Лэнг призывает человека максимально использовать все силы каждого аспекта собственного «я». Значимость Фрейда он видит в его гениальном прозрении, в его показе того, что рядовой человек – это лишь высушенная, сморщенная частичка того, чем может быть личность. Таким образом, Лэнг продолжает разговор о самопреодолении человека как условия воссоединения расколотого «я» – разговор, начатый в XIX столетии Кьеркегором и Ницше, а в XX веке продолженный Сартром, Камю и Хайдеггером. Негативные экзистенциалы бытия в этом разговоре служат точкой отсчета на пути к обретению субъектом субстанциальной целостности. Страх и надежда сублимируются в решимость как вовлеченность человека в миротворение. Обозначение зон бездуховности громоздкого мира акцентирует нехватку духовности как экзистенциала бытия. Рассматривая негативное умонастроение как перманентное состояние отчужденного индивида, европейские бунтари превращают понятие бунта в экзистенциал, символизирующий отточенность творческого сознания. Сосредоточив внимание на смерти, страхе, тревоге, заботе и решимости как экзистенциальных пластах индивидуального существования, они онтологизируют и одновременно субъективируют реальность человеческих переживаний. Последние выступают феноменом, принадлежащим к позитивной конституции *здесь-бытия*, каждый элемент которого призван раскрыть его двойную направленность – на мир и на себя.

Таким образом, исследование негативных экзистенциалов бытия позволяет сделать следующие выводы.

Акцентируя внимание на негативных переживаниях субъекта, экзистенциально мыслящие философы от Кьеркегора до Хайдеггера пытаются осмыслить предназначение человека в условиях расторжения Бытия. Эксплицируя негативную силу человеческой инертности, они актуализируют проблему так называемой «бездомности» индивида и высвечивают пустоту экзистенции.

Не останавливаясь на констатации данной пустоты и отвергая пассивную жизненную позицию, мыслители обращаются к поискам внутренней целостности. Проклиная мир, утративший героизм жертвенного существования, они осуществляют апологию экзистенциального отрицания и тем самым проектируют позитивный прообраз грядущего. Тезис о разломанности человеческого «я» служит отправным пунктом к утверждению созидательной энергии воли как противовеса скепсису и декадансу.

Совершая обратное движение от отрицания к утверждению, негативные экзистенциалы предстают рефлексивной способностью говорить *Нет* обессиливанию духа. За бытийной пустотой обнаруживается новый виток возрождения, знаменующий не только удаленность от бытия, но и возврат к нему. Перерастание рамок неполноценного бытия представляет собой более высокий модус существования, характеризующийся не только просветленностью духа, но и экзистенциальным беспокойством, то есть ответственностью за бытие.

РЕЗЮМЕ

У статті Н.М.Ємельянової здійснюється історико-філософське дослідження негативних екзистенціалів буття – страху, розпачу, тривоги тощо. Сутність негативних екзистенціалів аналізується в контексті дослідження проблеми знаходження людиною субстанційної цілісності. Виявляється двоїстий характер онтологічних переживань, що дозволяє тлумачити їх не тільки в негативному, але й у позитивному аспекті. Доводиться, що філософи екзистенційного напрямку від К'єркегора до Гайдеггера, акцентуючи увагу на негативних переживаннях суб'єкта, намагаються осмислити призначення людини в умовах розірвання буття. Здійснюючи апологію екзистенційного заперечення, вони проектують позитивний прообраз майбутнього. У результаті творча енергія воли постає протипологом скепсису і декадансу.

SUMMARY

In the article written by N.M.Yemeljanova the historical and philosophical research of the negative existentials of existence, namely fear, despair, alarm, etc. is carried out. The essence of the negative existentials is analyzed in the context of the problem of acquiring of the substantial integrity by a person. The dualistic character of the ontological emotions is revealed, which allows to interpret them not only in the negative but also in the positive aspect. It is proved that existentialism philosophers from Kjerkegor to Hydegger attempt to interpret predestination of a person in the conditions of the disruption of the existence placing emphasis on the negative emotions of a subject. Carrying out the apology of the existentialistic rejection, they project the positive prototype of the future. As a result the creative energy of volition appears as a contraposition of skepticism and decadence.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Паскаль Б. Мысли // Паскаль Блез. Мысли. / Пер. с фр., вступ. статья, коммент. Ю.А.Гинзбург. – М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. – С. 77-372.
2. Унамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов; Агония христианства. / Пер. с исп., вступ. ст. и коммент. Е.В. Гарадж. – К.: Символ, 1996. – 416с.
3. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л.: «Художественная литература», 1973. – 566 с.
4. Barbour J.D. Tragedy and Ethical Reflection // J. of Religion. – Chicago, 1983. – Vol. 63. – №1. – S.7-23.
5. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. / Пер. с датского Петра Ганзена; Подгот. текста и коммент. И. Булкиной, А. Мокроусова. Издание третье. – К.: Air Land, 1994. – С.225-419.
6. Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех ценностей // Ницше Ф. Избр. произв. в 3 т. – Т. 1. – М.: REEL-book, 1994. – 352 с.
7. Jaspers K. Vernunft und Existenz: Fünf Vorlesungen. – München: Piper, 1960. – 156 s.
8. Камю А. Век страха. Actuelles. Хроника 1944-1948. // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. – Томск: Изд-во «Водолей», 1998. – С.200-202.

9. Камю А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство: Сборник: Пер. с фр. / Общ. ред., сост. и предисл. А.М. Руткевича. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990. – 415 с.
10. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. / Пер. с фр., предисл., примеч. В.И. Колядко. – М.: Республика, 2000. – 639с.
11. Heidegger M. Holzwege. – Fr.a.M.: Klostermann, 1957. – 345s.
12. Лэнг Р. Расколотове «я»: Пер. с англ. – СПб.: Белый Кролик, 1995. – 352с.

Надійшла до редакції 16.06.2005 р.

УДК 130.1

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ГЛОБАЛЬНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РОЛІ ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ

Б.В.Братаніч

Постановка проблеми. Однією з системних характеристик постсучасних соціальних практик є їх глобальна природа, що визначається специфікою постіндустріалізму. Глобалізація виступає одним з найважливіших чинників формування інформаційного суспільства та створення єдиної загальнолюдської спільноти. Маркетингові механізми переорієнтації постіндустріалізованого суспільства на потреби людини в межах глобальної економіки відіграють важливу роль у процесі інтеграції культурних цінностей як основи формування загально планетарної спільноти. Освіта ж виступає основним генератором культурної інтеграції, особливо через реалізацію маркетингових стратегій, спрямованих на само актуалізацію особистості через формування системних характеристик „суспільства освіти».

Стан розробленості проблеми. Соціально-філософські аспекти соціокультурної ролі маркетингових механізмів у становленні сучасного інформаційного суспільства досліджуються в роботах Дж.Хофстеда, Г.Тульчинського, С.Крейнера, Ф.Тромпенаарса, Е.Короткова, Л.-Г.Маттсона та ряду інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак увага дослідників в основному зосереджена на проблемах аналізу практичних механізмів функціонування маркетингу в соціокультурному середовищі глобальної економіки. Малодослідженими залишаються проблеми системного взаємозв'язку маркетингових механізмів детермінації соціокультурної інтеграції постіндустріального суспільства та основних чинників його розвитку.

Мета дослідження. Соціально-філософський аналіз глобальної соціокультурної ролі освітнього маркетингу в контексті формування постсучасних соціальних практик.

Всі сучасні концепції ринково орієнтованого (маркетингового) управління розробляються на основі синтезу культурних цінностей, який забезпечує освітню діяльність. Соціальний маркетинг інтерпретує культуру як образ життя народу у найбільш широкому розумінні цього слова: конвенціональні моделі мислення та поведінки, що включають норми, цінності, переконання, діяльність, організації тощо, що не успадковуються біологічно, а передаються від одного покоління до іншого через соціальні інститути. Культура – спосіб буття людини в якості соціальної істоти, система породження, зберігання і трансляції позагенетично успадкованого соціального досвіду. Сфера культури – конкретна сфера життєдіяльності суспільства, що включає збереження і використання культурно-історичного спадку тощо [1, с.5, 6].

І в світі, і всередині кожної країни існує дуже багато культур. Оскільки маркетинг орієнтується на споживачів як носіїв певної культури, то його природа та характерні

особливості визначаються культурним середовищем його формування та здійснення, а сам глобальний маркетинг є засобом здійснення процесів інтеграції культур. Відтак теорії маркетингу та менеджменту дуже тісно пов'язані з культурою [2]. Сучасні теорії менеджменту та маркетингу визначають вказані явища в якості системних соціокультурних процесів глобального характеру. «Сучасний менеджмент не тільки проявляє все більшу залежність від свого соціально-культурного контексту, від соціально-культурного середовища фірми, але й сам набуває риси технології соціально-культурного нововведення. Більше того, кожна фірма все більш виразно постає носієм певної культури», – вказують Г.Тульчинський та Є.Щекова. [1, с.7]. Те ж стосується і маркетингу як інтегративної форми реалізації менеджменту в сучасних умовах: «До маркетингу має відношення і культура, і сфера культури. Культура – тим, що саме з її аналізу розпочинається маркетинг і її формуванням завершується. Більше того, в своєму сучасному розумінні і змісті маркетинг все більше нагадує технологію соціально-культурного нововведення, важливу рису культури сучасного суспільства» [1, с.271].

Найбільш відомим представником соціокультурного аспекту філософії та теорії маркетингу є американський професор Ф.Тромпенаарс, який вважає основою управління глобального суспільства універсальний світ культурного різноманіття. «Кожна країна і кожна організація зіштовхується з рядом дилем у відносинах між людьми, дилем у відношенні часу і дилем у відношеннях між людьми і навколишнім середовищем. Культура – це спосіб, при допомозі якого люди вирішують дилеми, що виникають на основі універсальних проблем» [3, с.318].

На основі узагальнення величезного фактичного матеріалу (900 семінарів у 18 країнах, 34 тисячі проанкетованих менеджерів вищої і середньої ланок) Тромпенаарс розробив концепцію примирення культур в процесі глобалізації шляхом маркетинг-менеджменту. Соціокультурна роль маркетингу в організації системи глобальної взаємодії полягає в тому, що він допомагає вийти за межі розуміння культурних відмінностей і створює механізми не лише збереження цих відмінностей в межах глобальної цілісності цивілізації, а й використання переваг культурно-ціннісного різноманіття при вирішенні міжкультурних дилем [4].

Дослідження показали прямий зв'язок між соціокультурними цінностями суспільства, які реалізуються в маркетинговій діяльності, та результативністю соціально-економічних процесів. Соціокультурна взаємодія та інтеграція ціннісних систем є основою соціального розвитку та економічного процвітання. Зокрема, успіх «тигрів економіки» Східної Азії майже повністю лежить у сфері культурних інтеграцій. В той час як західний менталітет, що реалізується у відповідних маркетингових стратегіях, орієнтований на боротьбу за виграв в конкретних кінцевих ситуаціях, азіати грають у нескінченну гру з правилами, які адаптуються до тих виключень, з якими вони зустрічаються, і до того контексту, в якому вони діють, в результаті чого всі гравці вчаться співробітничати один з одним. Ключ до успіху – примирення культурних цінностей та їх носіїв, взаємовигідне співробітництво. Механізмом інтеграції культур є маркетинг як вираз зацікавленості і суспільства, і глобальних компаній у примиренні та інтеграції культур. Джерелом інтеграційних соціокультурних цінностей є система освіти, яка формує ціннісну основу діяльності суб'єктів глобальної взаємодії [5].

Таким чином, глобальна соціокультурна роль освітнього маркетингу визначається тими цінностями, які засобами маркетингового регулювання покладаються в якості системи цілепокладання в основу становлення глобальної філософії освіти як засобу інтеграції людства в єдину спільноту, формування ціннісних засад соціокультурної інтеграції, реалізації гуманоцентричних принципів соціальної діяльності інформаційного суспільства. В умовах глобального суспільства функціонування маркетингових механізмів в освітній сфері прямо пов'язано з глобальними функціями маркетингу, що детермінують орієнтацію виробництва та всього соціального життя на задоволення всього

комплексу потреб людини в контексті «розуміння» її життєвих пріоритетів, системи цінностей, прагнень до самоактуалізації. Маркетингова переорієнтація системи освіти на реалізацію нової соціальної мети – задоволення системної потреби саморозвитку людини та відтворення в ній всієї культури суспільства – реалізується як механізм функціонування маркетингу в якості глобальної соціокультурної детермінанти розвитку сучасного суспільства. Соціокультурні результати функціонування освітнього маркетингу проявляються через маркетингову діяльність з адаптації цілого ряду соціальних та економічних процесів до культурних потреб особистості та суспільства.

Передусім мова йде про соціокультурну та гуманітарну орієнтацію вирішення глобальних проблем людства в межах маркетингової парадигми управління глобальним суспільством. Поставлені в контекст соціокультурного та особистісного розвитку, глобальні проблеми вирішуються не на технократичних засадах, а на засадах трансформації ціннісних пріоритетів соціальної діяльності. Глобальний маркетинг програмує залежність глобальних соціальних процесів від ноосферно-культурної системи цінностей інформаційного суспільства, ставить виробництво на шлях задоволення потреб людей у якості життя в контексті збереження та розвитку природного і культурного середовища проживання. «Важливість використання маркетингу у розвитку економіки пов'язана також з дефіцитом природних ресурсів, погіршенням екологічних умов, наростанням світових і регіональних кризових явищ. Слід відмітити, що зростання фактору інтелекту і людських ресурсів в економічних і управлінських процесах посилює роль соціальних і екологічних критеріїв оцінки наслідків господарської діяльності. В свою чергу, пріоритетність соціальних критеріїв збільшує значущість засобів маркетингу у процесі інтеграції інтересів споживачів, колективів організацій, регіонів та суспільства в цілому» [6, с.164]. Відтак соціокультурно-ціннісна роль маркетингу сприяє реалізації його глобально-інтегруючих функцій.

Важливою є соціокультурна роль маркетингу як механізму трансляції соціального досвіду в різні культурні середовища. Маркетинг трансформує виробництво, виходячи зі змін у потребах споживачів, а тому є надзвичайно чутливим до культурних детермінант попиту. Щоб бути успішним в іншій культурі, маркетинг має сприймати цінності цієї культури і організовувати виробництво для потреб цієї культури. Тому перед суб'єктами глобальної економіки постає складне завдання перенесення маркетингового успіху з однієї культури в іншу при тому, що вільне переміщення товарів, послуг, видів діяльності з однієї культури в іншу з однаковим успіхом не є простим. Воно вимагає всебічної адаптації наявного соціального, економічного чи управлінського досвіду успішної діяльності до умов іншої культури, і це завдання виконує глобальний маркетинг. Завдяки ньому будь-який локальний досвід успішної діяльності у певній соціальній сфері може бути використаний і різноманітних соціокультурних середовищах єдиної глобальної системи соціальних взаємозв'язків. Єдиною передумовою успіху подібної трансляції соціального досвіду в інші культури є наявність об'єднуючої системи цінностей глобального характеру, формування якої забезпечується передусім філософією глобальної освіти.

Важливою є роль глобального маркетингу як основи формування етичних засад міжкультурної конвергенції у сфері стандартів якості життя. Процеси глобалізації викликають неоднозначну реакцію в суспільстві, оскільки є небезпідставні побоювання щодо її наслідків для майбутнього розвитку багатьох культур, етносів та держав, що виступають об'єктами економічної та культурної експансії більш розвинених членів міжнародної спільноти. Особливо негативну реакцію в ряді традиційних суспільств викликає глобальний маркетинг як засіб формування в них певних стандартів життя та споживання, характерних для найбільш розвинених представників інформаційної цивілізації. Противники глобалізації представляють «маркетинг у вигляді загарбника культури, що намагається захистити себе» [7, с.181].

Однак насправді саме маркетинг створює механізми етично-ціннісного обмеження економічної та культурної експансії в глобальному суспільстві. Справа маркетингу – полегшувати обмін та формувати такі взаємовідносини між сторонами, при яких виграють всі. А це можливо лише при врахуванні культурних відмінностей усіх суб'єктів маркетингу. Відтворення засобами маркетингу соціокультурного досвіду в інших культурних середовищах здійснюється в межах етики соціального маркетингу, яка дає критерії оцінки наявності соціокультурних передумов трансляції культурних зразків. Маркетинг, будучи орієнтованим на потреби споживача в їх культурному контексті, сам продукує етичні обмеження для маркетингової експансії, що не відповідає потребам того чи іншого культурного середовища. Ця діяльність орієнтується передусім на наявність суверенітету споживача у соціокультурному вимірі. При відсутності відповідної культурних засад для сприйняття тих чи інших товарів, послуг, споживацьких стандартів глобальний маркетинг орієнтує виробників на припинення економічної чи споживацько-культурної експансії. Глобальні компанії відповідальні за обмеження маркетингового впливу для суспільного блага, коли суверенітет споживача відсутній. Проте етика глобального маркетингу обґрунтовує необхідність застосування маркетингових зусиль для подолання соціально деструктивного культурного опору в тих випадках, коли рівень культурного розвитку суспільства забезпечує реальне функціонування суверенітету споживача [7, с.180-181]. Таким чином, соціокультурна роль глобального маркетингу проявляється і в подоланні деструктивних культурних традицій відсталих соціальних спільнот.

Найбільш помітним соціокультурним результатом глобального маркетингу в сучасному інформаційному суспільстві є впровадження глобальної мережної форми соціокультурної взаємодії соціальних суб'єктів. Процеси глобалізації приводить до системних змін у соціокультурній комунікаційній структурі, супроводжуючи становлення системи відносин у вигляді всеохоплюючих мереж виходом на перший план управління стратегічного маркетингу і зверненням пріоритетної уваги на створення та підтримку соціальних цінностей [8]. В основі цих системних змін знаходиться формування нового типу соціокультурної комунікації. Це явище має настільки глобальний соціальний характер, що стало основним предметом розгляду цілого напрямку соціальної думки – неоінституційні теорії соціальних систем. Саме в її межах були розроблені теоретичні передумови розгляду мережних обмінних взаємовідносин глобального характеру в сучасному маркетингу [9], теорії соціального обміну [10], теорії динаміки поля П.Штомпки [11]. Соціокультурним аспектам глобальної мережної взаємодії присвячені дослідження, проведені видатними теоретиками сучасного маркетингу – Б.Акселсоном, Г.Істоном, Х.Хаканссоном, І.Снехотою, Д.Якобуччі, Д.Фордом та рядом інших вчених.

Глобальний мережний маркетинг формується на засадах між культурної взаємодії та між культурного синтезу різного рівня. Він представляє собою конкретизацію, переважно на субкультурних рівнях, ідею партнерського підходу до маркетингової діяльності, розширена версія якого розглядає ринки як мережі глобального характеру, де різноманітні діючі особи пов'язані одна з одною прямо чи опосередковано. Будь який ринок глобального чи локального характеру може бути проаналізований та представлений як одна чи кілька мереж як складова глобальної системи мережного характеру. Глобальний ринок в таких умовах розглядається як соціокультурний феномен, що координує функціонування та розвиток різноманітних економічних систем. «Взаємодія складається з соціального, ділового та інформаційного обміну і адаптації продуктів, процесів та установленого порядку роботи з тим, щоб краще добиватися економічних цілей сторін, що беруть у ній участь» [12, с.218].

Мережі у маркетингу визначаються як набори взаємозв'язаних взаємовідносин обміну між діючими особами. При цьому обміни в одній ситуації взаємообумовлені обмінами в іншій ситуації. Соціокультурне оточення (середовище) одного обміну є складовою інших взаємовідношень, і всі вони так чи інакше поєднані один з одним. В цьому

відношенні вся система ринкових трансакцій представляє собою єдину глобальну мережу взаємопов'язаних взаємовідносин ринкових суб'єктів. будь-які стосунки цих суб'єктів «вкраплені» у структуру мережі і можуть розглядатися в контексті її соціокультурних характеристик та її змін [13]. Взаємодії обміну координують діяльність, що здійснюється окремими акторами у системі розподілу та обміну. Таким чином мережа – це своєрідна структура управління соціальними відносинами, яку можна співставити з координацією через ієрархічне управління чи через управління стихійною дією ринку.

Оскільки мережа маркетингової взаємодії носить глобальний характер і в принципі є нескінченною як за кількістю систем трансакцій, так і за своїм соціокультурним різноманіттям, з методологічної точки зору виділення меж мереж та систем взаємовідносин, які мають аналізуватися, визначається виключно в межах ціле покладання маркетингової стратегії; самі по собі мережі можна продовжувати до неосяжності. Мережі, крім того, є соціально і культурно неоднорідними, а кількість різноманітних комбінацій взаємодії, можливих в мережі, взагалі нескінченна. Окремою проблемою глобального маркетингу є методологічне обґрунтування кількісних та якісних параметрів взаємодій для правильної координації їх змін, оскільки будь-яка зміна в мережі тягне за собою необхідність змінювати інші її компоненти в загальному соціокультурному контексті. При надмірній кількості керованих взаємодій процес маркетингового управління стане просто неможливим.

Мережі, особливо їх соціокультурна неоднорідність, відкривають широкі можливості для кращого використання соціальних ресурсів, що ведуть до нововведень на основі між культурної взаємодії. Взаємна залежність ресурсів та видів діяльності учасників мережі розвиває схильність та здатність до новаторства, оскільки взаємні ресурси стають доступними і їх взаємозаміщення – набагато легшим. Тому інноваційні процеси в мережах відбуваються значно інтенсивніше. Крім того, мережі знижують невизначеність за рахунок координації дій учасників. „Соціальна взаємодія в мережах також може зменшувати невизначеність, відкриваючи учасникам доступ до інформації про більш широкую мережу, можливо, у супроводі взаємних зобов'язань та довіри, що охоплює кілька взаємозалежних випадків...Таким чином, невизначеність в окремій ситуації взаємовідносин зростає, але в контексті інших взаємовідносин управлінські дії в мережній структурі можуть слугувати зниженню невизначеності» [12, с.225]. Глобальна мережа соціокультурних обмінів за допомогою механізмів маркетингу допомагає поєднувати максимальну свободу та варіативність поведінки учасників з максимальною управлінською визначеністю процесів обміну на рівні мережі загалом.

В сучасних умовах на основі синтезу ідей глобалізму та мережної взаємодії обґрунтовується глобальна соціокультурна роль маркетингу як соціального механізму, через який реалізується процес трансформації сучасного суспільства у мережу взаємовідносин, що ґрунтується на використанні технологій інформаційних мереж. Сам глобальний маркетинг розглядається як маркетинг взаємовідносин у глобальній системі соціокультурного мережного обміну [14]. Тим самим глобальний маркетинг виконує ще одну важливу соціокультурну функцію – функцію становлення інформаційного типу мережних соціальних відносин як основи інформаційного суспільства. Оскільки цей процес також спирається на формування нових ціннісних засад соціальних суб'єктів – учасників мережних соціальних взаємодій, його важливою складовою є ціннісна переорієнтація маркетингової діяльності у сфері освіти як основного генератора ціннісних трансформацій інформаційного суспільства.

Висновки. Таким чином, одним з аспектів соціально-філософської предметності маркетингу є його характеристика як глобального соціокультурного феномена постіндустріального суспільства. В основі методології дослідження освітнього маркетингу як аспекту теорії постіндустріалізму лежить обґрунтування його ролі як суттєвого фактору культурної інтеграції людства на засадах гуманоцентричної переорієнтації всіх сфер соціальної життєдіяльності. Маркетингові механізми сприяють як зближенню культур,

так і трансформації цінностей, що лежать у їх основі, в контексті постсучасних соціальних практик. Особливо значна роль у формуванні нового соціокультурного базису сучасної цивілізації належить освітньому маркетингу, завдяки якому здійснюється орієнтація «суспільства освіти» на глобальні потреби особистості у саморозвитку та суспільства – у формуванні освітнього соціокультурного середовища соціальних процесів. Дослідження напрямів впливу маркетингових механізмів на становлення інформаційного суспільства, особливо у освітній сфері, є важливим завданням соціальної теорії.

РЕЗЮМЕ

Осуществлен анализ проблемы системной взаимосвязи маркетинговых механизмов детерминации социокультурной интеграции постиндустриального общества и основных детерминант его развития. Определена глобальная социокультурная роль образовательного маркетинга в контексте формирования постсовременных социальных практик.

SUMMARY

Analysis of problems of system interconnection of marketing mechanism of determination postindustrial society social – cultural integration and the main determinants of its development is realized. The global social – cultural role of educational marketing in the context of postmodern social practices formation is defined.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Тульчинский Г.Л., Щекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. – СПб: Лань, 2003. – 528 с.
2. Hofstede G. Cultural Consequences, International Differences in Work – Related Values. – Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1984. – 376 p.
3. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2002. – ХУІІІ, 347 с.
4. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. The Seven Cultures of Capitalism. – L.: Piatkus, 1994. – 436 p.
5. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. Mastering the Infinite Game. – Oxford: Capstone, 1997. – 475 p.
6. Антикризисное управление / Под ред. Э.М.Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 432 с.
7. Ли К.-Х. Культурные аспекты маркетинга / Теория маркетинга / Под ред. М.Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. – С.174-190.
8. Kenichi O. Strategy in a world without border / Leader to leader. – 1998. – Winter. – P.67-75.
9. The Handbook of Economic Sociology /Smelser N.J., Swedberg R. (eds.). – Princeton: Princeton University Press, 1994. – 684 p.
10. Blau P.M. Exchange and Power in Social Life. – L.: John Wiley and Sons, 1964. – 382 p.
11. Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с английского; под ред. В.А.Ядова. – М.: Аспект-пресс, 1996. – 181 с.
12. Маттсон Л.-Г. Взаимоотношения и сети / Теория маркетинга / Под ред. М.Бейкера. – СПб.: Питер, 2002. –С.216 – 231.
13. Cook K.S., Emerson R.M. Power, equity and commitment in exchange networks / American Sociological Review. – 1978. – №43. – P.712-739.
14. Mattsson L-G. Relationship marketing and the markets as networks approach – a comparative analysis of two evolving streams of research / / Journal of Marketing Management. –1997. – №13. – P.447-461.

Надійшла до редакції 25.02.2005 р.

УДК 141.33

НІМЕЦЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА МІСТИКА ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА УКРАЇНО-НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДІАЛОГІЧНОСТІ

Ю.О.Шабанова

Актуальність представленого дослідження полягає в сучасній запитаності пошуків концептуальних зв'язків в українсько-європейському філософському просторі. Це питання обумовлено сучасними євроінтеграційними процесами в Україні, які потребують світоглядно-ідейного підґрунтя. У цьому контексті українсько-німецька філософська діалогічність, що спирається на екзистенційно-софійну релігійність, притаманну філософській традиції національних шкіл Німеччини та України XIV століття, відкриває продуктивні ідеї для знаходження спільних рис світовідношення Західної та Східної Європи.

Питанню дослідження специфічних рис української ментальності і типу філософування щодо виявлення близькості із західноєвропейською філософською традицією присвячені роботи українських істориків філософії, таких як Бичко А.К., Бичко І.В. [1,2], Бичко Б.І. [3], Горський В.С. [4], Нічик В.М., Романець А.В. [5], Табачковський В.Г. [6], Хамітов Н.В. [7] та інші.

Але ці праці, присвячені виявленню специфіки української філософії, лише опосередковано торкаються зв'язків з європейською свідомістю, не досліджуючи українсько-німецьку діалогічність як спільний східно-західний світоглядний концепт. Ця проблема частково представлена в роботі Бичко Б.І., де українсько-європейська філософська спадщина розглядається через антропологічний аспект католицької філософії [3]. Особливої уваги проблема українсько-німецької філософської спільності набуває в дослідженнях Д.Чижевського, але ж розглядається лише на прикладі творчості Г.Сковороди [10]. У зв'язку з тим, що ідейна близькість українського та німецького типу філософування потребує виявлення первинних основ філософії представлених національних шкіл, **мета даної розвідки полягає в експлікації концептуального підґрунтя україно-німецької філософської діалогічності в ідейній основі філософії XIV століття** – періоду закладення теоретичного мислення в українському світоглядному просторі. Для досягнення представленої мети необхідно **вирішення таких завдань: виявлення специфічних рис української ментальності, що стали підґрунтям вітчизняного філософування; експлікація синтезу язичницької міфології та християнської теології в українській філософській думці XIV століття; здійснення компаративістського аналізу проблемного поля української філософської думки та німецької містики XIV століття.**

Німецька середньовічна містика та українська філософська думка XIV століття, відбивають релігійні світоуявлення, в яких домінувальним є ірраціональне. В.С.Горський, вивчаючи предмет та метод української філософії, прагне «переглянути розуміння сутності власне філософії як об'єкта історико-філософського дослідження», стверджуючи, що «спосіб існування як наукової теорії не є єдино можливим для філософії, яка являє специфічну сферу духовної діяльності людини зовсім не тотожну науці» [4, 13]. Так німецька середньовічна містика та українська філософська думка XIV століття в історико-філософському погляді представляються самоцінними явищами для подальшого розвитку національних шкіл, що виразилися у Німеччині в німецькому ідеалізмі, а в Україні – в філософії кордоцентризму Г.Сковороди та П. Юркевича.

Спільною рисою цих явищ єврослав'янської близькості є домінування ірраціонально-інтуїтивних модусів світорозуміння на підставі візантійського апофатизму та ісихастського подвижництва, які ініціювали духовно-культурне піднесення, відоме під назвою Відродження, що вплинуло на розвиток християнського світогляду як Сходу так і Заходу.

У цілісному просторі історико-філософської європейської континуальності, що віддзеркалює багатогранність національних шкіл та напрямків, українська філософська думка представлена найменш виразно, що іноді пояснюють історичними умовами, завдяки яким українська філософія позбавлена сконцентованого та послідовного процесу становлення. Д. Чижевський, добре відомий на Заході історик філософії та дослідник історії в Україні вважає, що українській філософії «треба ще чекати на свого «великого філософа» [10, 17], що, на думку В.С.Горського, обмежує розуміння самостійності «української філософії у власному розумінні цього слова» [4, 10]. Через це виникає небезпека виключити українську філософську думку «із сфери позитивного історико-філософського дослідження, оскільки через неї ще не пройшла магістральна лінія світової філософії» [4, 10]. Попередити такий погляд на українську філософію допоможе виявлення ідейної близькості українського та німецького релігійно-філософського контексту XIV століття, що доводить причетність української філософської традиції до європейського масиву філософування, у якому поруч з раціонально-системним мисленням протягом декількох тисячоліть існування розвивається ірраціонально-інтуїтивне світосприйняття.

Інтерсуб'єктивність історико-філософського діалогу виявляє уявлення про монологічність європейського типу філософування, до якого повноцінно залучається і інтуїтивно-ірраціональне світоуявлення в релігійному прояві якого домінує містичне відчуття єдності людини з Абсолютом.

Так «Українська філософія, – читаємо у збірнику курсу лекцій з філософії під редакцією В.Г.Табачковського, – починається, на відміну від античної, не з натурфілософії, а з антропології» [6, 62]. Тобто на відміну від західного шляху становлення філософії, що починається зі спроби пояснити устрій світу раціональними методами, українська філософія виходить з прагненням пояснити, що є людина в її ірраціональній сутності. Антропологічність української філософської думки походить з давньо-руської міфології, для якої притаманне укорінене відчуття цінності життя, та «емоційно-шанобливе ставлення до землі, рідної природи», – риса української свідомості, яку А.К.Бичко визначає як антеїзм [1, 317]. Самі ці риси світоглядної ментальності автохтонного населення й стали підґрунтям антропологічності української філософської думки, процес становлення якої відбувається значно пізніше, ніж у Західній Європі, а саме в XIV столітті. Своєрідність української філософії пояснюється відсутністю більш, ніж тисячорічного періоду, характерного для західної ментальності, становлення раціонально-теоретичного мислення. Так християнство, що прийшло на Русь в X столітті, лягло не на підґрунтя спекулятивно-абстрактного філософування, а почало розвиватися на тлі слов'янської ментальності, якій притаманна життєстверджувальна інтенція до життя в духовному вимірі людини та граничних підставах її існування.

Як підкреслює В.С.Горський: «Якщо у західно-європейській культурі здебільшого реалізується «платонівсько-аристотелівська» лінія філософії, яка відповідно до канонів наукового мислення прагне до істини, незалежної від людини і людства, то в нашій культурі переважає «александрійсько-біблійна», яка зорієнтовується не так на здобуття безсторонньої істини, як правди, що будується як драма людського життя» [4, 30].

Залучення до європейської інтелектуальної традиції української філософської думки відбувається завдяки візантійським християнським мислителям, що переосмислили давньогрецькі філософські вчення. Споглядальний характер візантійського богослов'я найкраще підійшов до гнучкого слов'янського менталітету, що відрізняється чуттєвою загостреністю та ірраціонально-етичною акцентуацією в світосприйнятті. Ці риси давньоруського світоуявлення, сконцентовані на проблемі людини та продуктивно поєднані зі східним православ'ям, виразилися в головному питанні філософських міркувань Київської Русі у вигляді «людина-Бог». При цьому, задана ще слов'янським язичництвом екзистенціальна загостреність відлунує ці питання не в абстрактно-теоретичному розділі світу на ідеальний та дійсний (метафізичний та фізичний, що є принципом кла-

сичної європейської метафізики), а в домінувальній присутності Божественного в людському бутті, долаючи можливість абстрактного обмеження. При цьому, саме для України, якщо відокремити її від інших проявів слов'янської ментальності (наприклад, російської), найбільш прийнятним є релігійна компонента світорозуміння в контексті пошуків спільних ідей із західноєвропейським типом філософування. Це відбувається за рахунок того, що «Україна є трагічне і драматичне злиття західного і східного християнства, Росія – не менш драматична і не менш трагічна єдність європейського і азійського начал» – як слушно відмічає Н.В.Хамітов [7, 193].

Імпліцитно притаманні українській ментальності риси світосприйняття, що фундаментуються на релігійній домініанті християнського світогляду та життєстверджувального начала слов'янської міфології, виразилися в специфічності української філософії. Ця специфічність, як вже підкреслювалось вище, пов'язана перш за все з антропологічністю ще на початку становлення філософської думки в Україні, а саме в XIV столітті, у час коли в Західній Європі на тлі тисячолітнього розвитку схоластики виникає феномен німецької містики, яку так само, як і українську філософію відрізняє антропологічність у межах середньовічної теології, формуючи нове ставлення до людини, як значущої, визначальної та самоцінної компоненти творчого процесу творіння Божественного світу. І в києво-руській філософській думці XIV-XV століття, і в німецькій містиці XIV століття споглядається антропологічна домініанта з екзистенціальною зорієнтованістю на внутрішній світ людини. Але ж шлях до цієї екзистенційно-антропологічної акцентуації, що визначається в єдиній часовій фіксації німецької та української філософської традиції, відрізняється своєю ідейною зорієнтованістю.

Так XIV століття для України – це тільки початок розвитку процесу формування спекулятивного мислення, що редукує екзистенціально-антропологічну домініанту не в системно-теоретичному типі світопояснення, а в слов'янській міфологічній традиції – цінувати життя та всі його прояви. Тому філософія в Україні починається з проблеми людини. Напротиагу цьому явищу, німецька містика приходить до екзистенціально-антропної домініанти, долаючи кризу раціонально-спекулятивного теоретизування в схоластиці. Підходячи з різних боків історичного розвитку (німецька містика – з боку кризи рацію в теології, українська філософська думка – з боку поступового розвитку споглядальної методології, якій стало бракувати системного викладення), ці дві лінії філософсько-світоглядного процесу національно-європейських шкіл зустрічаються в XIV столітті, як у точці можливого перехрещення концептуальних модусів розвитку філософії. Ця зустріч скоріше не є відбитком взаємовпливального процесу, а представляється паралельним рухом двох філософських традицій, в яких об'єднувальним началом стає візантійсько-богословське підґрунтя релігійно-філософських вчень Німеччини та України.

Звертання Майстра Екхарта, засновника філософського напрямку «німецька містика», та його послідовників до візантійського апофатизму та православного ісихазму сприяє відтворенню спільних ідейних концептів, що дозволять зблизитися Україні з Європою через німецьку школу філософії. Через визначення спільних рис німецької містики XIV століття та української філософської думки того ж часу виникає можливість формування єдиного філософсько-концептуального діалогу між Україною та Німеччиною.

У формуванні діалектичного концепту метафізики Майстра Екхарта особливе значення мало вчення Діонісія-Ареопагіта та його школи на формування релігійно-філософських поглядів німецького містика, що виразилось як в онтологічному розділенні Бога і Божественності, набуваючи розвитку в діалектиці німецького ідеалізму, так і в антропологічному визначенні екзистенціальної позиції в Богопізнанні. І.В. Бичко з цього приводу відмічає: «Апофатизм, або апофатичне богопізнання впливає з визнання принципової неможливості «позитивного» осягнення божественного буття, оскільки останнє існує в принципово іншому, ніж сфера існування пізнаних речей, «вимірі» буття. Проголошувана апофатизмом непізнаваність Бога не є ні агностицизмом, ані відмо-

вою пізнати Бога. Апофатизм є специфічно екзистенційною (спрямованою ні на річ, ні на ідею, а на особистісний тип існування) позицією, метою якої є не знання, а єднання. Адже Бог, божественне буття не є чимось безособовим (річчю, абстрактною ідеєю тощо), Бог є особистістю і тому досягається не дискретно-речово, не раціонально, а в безпосередньому (особистісному) контакті» [1, 123]. Визнанням цінності екзистенціального буття як повноправного діалогу Людина-Бог, німецькі містики виправдовують практичну сторону містично орієнтованого світосприйняття, що визначає екхартовське відчуження не відмовою від світу, а домінантою внутрішнього звернення до глибинного, трансцендентного Я (жаринка душі) як форми життєствердження за законами духу. Саме ця інтенція релігійно-екзистенціальної реалізації вищих цінностей Божественного, трансформована німецькими містиками від онтологічної апофатики до антропософської спрямованості, присутня і в українській філософській думці XIV століття, а саме в агіографічній літературі, що стверджує образ святості через пріоритет духовного в життєвому світі. «Життя святих» та Патерики того часу через приклад життєвої, а не теоретичної реалізації духовних цінностей. Так і в антропософії німецьких містиків і в агіографічній українській літературі екзистенціальність знаходить прояв у спільних рисах німецької і української антропології, у вигляді ствердження через життєву практику вищих трансцендентних орієнтирів у цінностях людського буття. За думкою А.К.Бичко: «В агіографічній літературі знаходить свій вияв одна з провідних рис української світоглядної ментальності — *екзистенційна* зорієнтованість на внутрішнє, духовне життя людини. Ця ж риса виразно проявляється й у надзвичайно поширених в Україні XIV—XVI ст. ідеях неоплатонізму, представлених вченнями *ісихазму* (від грец. «ісихія» — спокій, німотність) та *ареопагітизму*» [1, 327].

Якщо корпус Ареопагітики в перекладі Еріугени стає відомий в Західній Європі в IX столітті, то на територію Київської Русі він приходить у XIV столітті в перекладі на старослов'янську мову афонським ченцем Ісайєю, про що свідчить А.К.Бичко [1, 324]. У цей час отримують поширення і твори та коментарі Іоанна Дамаскіна, Максима Сповідника, Михайла Псела, Георгія Пахімера. Г.Прохоров вважає «найяскравішими та незвичними для книжності цієї епохи» твори Псевдо-Діонісія Ареопагіта та Пилипа Пустинника [11, 491-493]. На відміну від уже засвоєних у християнській Русі творів, що ґрунтувалися на розмежуванні ідеальної та матеріальної сфер буття, вони відкрили дещо новий пласт релігійно-філософських інтересів, що збігалися з ідейно-світоглядними запитами двовірного середовища.

Корпус Діонісія Ареопагіта та «Діоптра» Пилипа Пустинника, як слов'янські переклади грецьких текстів, почали активне розповсюдження у Київській Русі наприкінці XIV століття. Існує також припущення, що перший список творів Ареопагіта потрапив на Русь через наставника ісихастів митрополита Кіпріана [12, 49-51]. Знайомство з цими творами сприяло філософському вирішенню релігійних проблем того часу, які виразилися у пошуках шляхів співіснування християнського та язичницького світосприйняття. Б.В.Бичко відмічає вплив Псевдо-Діонісія Ареопагіта на формування поглядів Йоана Скота ще в IX столітті, у вченні якого «головне — це помітний потяг до універсалізму, що межує з пантеїстичними концепціями» [3, 100]. Подібний вплив мало вчення Діонісія Ареопагіта і на філософську думку Київської Русі, готову сприйняти універсально-богословський синкретизм християнського неоплатонізму.

Треба відзначити, що на православно-християнській ґрунт онтологічно розділеного світу на матеріальні та ідеальні сфери буття вчення християнських неоплатоників привносить близьке до язичництва світорозуміння. Філософсько-релігійна різноплановість «Ареопагітики» задовольняла підчас полярні ідейно-релігійні напрямки цього періоду. Апофатична теофанія була близька ортодоксальній церковності, а універсально-індивідуалістичні тенденції антропософії Діонісія цікавили представників пантеїстичної єресі стригольників. Згідно з «Ареопагітиками», початково-кінечний світ є єдиним. Він об'єднаний творчою

енергією Бога та існує тільки тому, що причетний до Божественного, яке, як деяка вища і всеоб'єднувальна сила, присутнє у бутті. Тому Діонісій робить висновок про те, що Божественне і природне начала при всій їхній протилежності беруть спільну участь у бутті не тільки відштовхуючись, а й пронизуючи одне одного [12, 11-19].

Буде доцільним згадати, що вчення Майстра Екхарта та його послідовників мало так само різне тлумачення – від визнання в ньому класичного вираження схоластики з притаманною для неї опорою на теологічну ортодоксію до звинувачення його в пантеїзмі та впливі на розвиток релігійно-народного руху бегінок і бегардів. Так само як вчення німецького містика, так і українська філософська думка Київської Русі шукали та знайшли у ареопагічному вченні ідейне оновлення закостенілого богослов'я.

Спираючись на античних неоплатоників, оновлене християнством вчення Діонісія, виходить з особистісного аспекту богопізнання та індивідуального споглядання містичної єдності. Апофатизм традиції ареопагітики знаходить втілення в антропологічній інтровертності трансцендентної духовної сутності людського буття в німецькій містиці, що формує поняття відчуженості як форми внутрішньої самодосконалості людини. Саме таке сприйняття сенсу людського існування через втілення духовних цінностей в життєвих проявах, притаманне українському світогляду, знаходить втілення в становленні на Україні в XIV столітті теоретичної думки, що об'єднала православно-візантійське богослов'є та міфологічні основи давньослов'янського язичництва. Так апофатизм Діонісія-Ареопагіта, що виразився в онтологічній підставі антропологічного ствердження духовної цінності людського буття у німецьких містиків в українських світоглядно-філософських поглядах, сприяє розвитку як християнського розуміння людини через особистісне втілення персоналізму, так і корінних рис слов'янської ментальності у вигляді ціннісного значення життєстверджувального оптимізму буттєвості духу. Таким чином, XIV століття виявляє ідейну паралель у розвитку німецької та української філософської думки у вигляді формування поняття людини, як самоцінного втілення Божественності в буттєвих вимірах індивідуальної самозаглибленості.

Оновлення ортодоксії відбувається паралельно в Німеччині та Україні не тільки на тлі апофатичного ствердження трансцендентної Божественності та її досягнення в інтровертному потязі до глибинної духовної сутності людини, але ж і на близькому до християнського неоплатонізму – ісихазмі, який цілісної теоретичної форми набуває в середині XIV століття у релігійно-філософському вченні грецьких богословів Григорія Синаїта та Григорія Палами «про індивідуальне спасіння шляхом усамітнення, усвідомлення власних гріхів, молитви й єднання з Богом» [9, 77]. Останній за своїм значенням для розвитку української філософії може бути порівняний з Майстром Екхартом для німецької в контексті питання виникнення ірраціонально-інтуїтивних інтенцій метафізичного контексту філософування. Ісихазм із характерною для нього практикою самоспоглядання, органічно сприйнятий українською ментальністю, став одним з визначальних джерел формування специфічної риси української філософії, а саме, життєвої практики духовного самовдосконалення, що виразилась у понятті любовмудрості, тобто не теоретизування, а проживання Божественної істини за законами духу.

Подібно українській тенденції до практики втілення вищих духовних цінностей в життєвому бутті людини, німецькі містики формують основи практичної теософії, що вказує на марність зовнішніх прагматичних прагнень людства та визначають духовність як прагнення до трансцендентно-інтровертної сутності людини, що через діяльність духу, вдосконалює матеріально-духовне середовище, стверджуючи практично – діяльнісний характер духовного подвижництва. Так, німецький середньовічний містицизм, (практична теософія М.Екхарта та І.Таулера, образ Премудрості Г.Сузо) та українська релігійно-філософська думка XIV століття (Нестор, Феодосій Печерський), втілюючи ідеали ісихазму, створюють образ святості через індивідуалістичний персоналізм та універсалізм єдиного життя, що поділяється, подібно класичній онтології, на світ природи та світ метафізичний.

Святість через сердечний центр, що зосереджує в собі цілісну людину (тобто єдність розуму, волі, почуттів тощо) вказує на практичну реалізацію духовного потенціалу людини, яка Божественні цінності здійснює на землі, в життєвому бутті повсякдення. Цю ідею декларує І.Дамаскін, який закликає «ділами своїми» наближатися до Бога [4, 31], тобто досягнути мудрості через життя в істині, що А.К.Бичко визначає як «Екзистенційно-софійне спрямування киеворуського «любомудрія» [1, 320].

З представленої паралелі українсько-німецького контексту XIV століття, що фундується на візантійській апофатиці та ісихазмі, есплікується ще одна спільна риса цих світоглядно-філософських аспектів національної специфіки світорозуміння. А саме, морально-етична пріоритетність у формуванні філософських поглядів, яка була присутня ще в дофілософських уявленнях про добро і зло у давньослов'ян, а в західній ментальності (в даному випадку німецькій) сформована на підставі платоніво-августинівської етики.

Сформована на тлі універсалізму етика німецьких містиків відштовхується від концепції вищої цінності в ієрархічно створеному світі – Божественному Ніщо, що існує поза межами добра і зла. Так, інтровертний пошук трансцендентного Ніщо в людині і є етичним визначенням цінності невтручання, поваги іншого, відмова від диференціації на добре та погане. Так, моральний пріоритет у вченні німецьких містиків є наближенням до духовної цілісності Ніщо в життєвій реалії у вигляді відмови від кінцевих дроблень світу через подолання егоцентричної самості. Головною категорією етики німецьких містиків виступає любов, як вищий модус містичного отримання Божественної повноти в глибині душі людини, що знайшло вираження в діалектичній єдності Божественного та людського.

Представлені морально-етичні ідеали німецької середньовічної містики співзвучні українській філософській думці XIV-XV століть, в якій святість виступає ідеалом поведінки на землі і також як і у німецьких богословів тримається не на імперативі розуму, а на принципі любові до Бога і всього Богоствореного, виходячи з універсалістської моралі. Толерантність як генетична риса української ментальності стає основою етики любові, як вираження вищого акту самовіддачі та сприйняття єдності всього світу, створеного за Божими законами. У цій етиці, подібно вченню німецьких містиків, «людині відводиться роль центральної ланки, що забезпечує комунікацію між Богом та створеним ним світом» [4, 36]. Апофатизм, як моральна відмова від всього, що є в людині не від Бога і приводить як українських любомудрів, так і німецьких богословів до вищої етичної цінності – духовної сутності людини, що через любов вимірює моральність буттєвого існування.

Екзистенційно-антропологічна проблематика як визначальна риса української філософії через візантійський ісихазм отримує онтологічне підґрунтя, що ідейно співзвучно Божественній картині світу німецьких богословів XIV століття.

Ключовим концептом, що приводить до екзистенційної акцентуації, є вчення Г.Палами про нетварність Божественної енергії. Це вчення викликало багаторічну богословську дискусію між палаїстами та варлаамістами. Предметом полеміки Григорія Палами та Варлаамом Калабрийським стало визнання Св. Григорієм нествореності Фаворського світла, що є символом енергій Бога. На думку Варлаама, нествореність енергій веде до двобожія, бо нествореним може бути тільки Бог. Твір Григорія Палами «Тріади щодо захисту свяченомовчачих» є послідовним доведенням богословом свого твердження, яке породжує концепцію еквівокації. Ця концепція ідейно перегукується з двовекторною єдністю трансцендентного у німецьких містиків, які використовують візантійський апофатизм для обґрунтування непізнаваності ірраціональної сутності. При цьому Палама під доведеністю розуміє не логічні висновки, а достовірність досвіду, що наближає його до католицького *Filioque*, згідно з яким Бог являє себе і через Сина, тобто через духовну реалізацію. Це і є в розумінні паламістів погодженням між особистісним одкровенням та духовним буттям світу. Схильність до католицизму Г.Палами підтверджує і його листування з католиками-генуезцями, у якому він шукав

підтвердження своєму вченню, згідно з яким кожен має можливість залучитися до Бога через вічно сяючі енергії. Ця богословська теза візантійських ісихастів, які не обмежувалися мовчанням та молитвами, а прагнули індивідуального осяяння кожного через Божественні енергії, тісно перегукується з любомудрими мотивами української філософії ще Києворуської доби. Згідно із цими філософськими поглядами «софія» «тлумачиться не як абстрактно-монологічне, а як особистісно-плюралістичне, із збереженням внутрішньої автономії особистісно-неповторних моментів знання» [1, 319]. Перенесення на український ґрунт цієї основи розуміння цінності індивідуального було здійснено на підставі онто-концепта нествореності енергій.

Згідно з Паламою визнання нествореності Фаворського світла не веде до двобою, а відбиває ідею розрізнення сутності та енергії в єдиному Богові, подібно понадонтологічному розділенню у вченні Екхарта на Божественність та Бога, що є внутрішнім та зовнішнім спрямуванням єдиного трансцендентного Абсолюту. У вченні Палами подібно німецьким містикам у Богова є «нерозрізнене розходження сутності і сутнісних енергій, як існуюче само по собі і не існуюче само по собі, як причина та причинно-обумовлене, як те, що не допускає причетності до себе, і те, що допускає причетність до себе, як і те, що не має ім'я, і те, що має ім'я» [9, 45]. Ця цілісно-єдина двовекторність, що нествореною природою наділяє і сутність, і енергії Бога є догматичним впровадженням аскетичної духовності, яка через прагнення до Фаворського світла веде до ідеї живого та діяльного Бога. Аскетична зосередженість візантійських ісихастів на внутрішньому світі людини на підґрунті онтологічної еквівокації Божественного, що паралельно з'являється у вченні німецьких містиків веде не до відмови від світу, а до духовної концентрації (у німецьких містиків – це самоапофатика), на якій утримується цілісність світу. Саме ці ідеї є основою екзистенціально-антропологічної та моральної домінанти української філософської думки XIV століття, що отримали розвиток її ідей у вченнях полемістів та представників братерств.

Цікаво, що в Новгородській землі, єдиному регіоні Київської Русі, що не зазнав іноземного панування в XIV столітті на підґрунті православного християнства, з притаманним ісихазму аскетизмом, лягає західноєвропейський вплив апофатичного самовизначення індивідуальної релігійності, що сприяло оформленню головного предмета філософування – людського Я, визначеного через ісихастську традицію інтровертного досягнення Божественного світла. Вже в XV столітті, як свідчить Г.Фроловський, книги Г.Сузо були відомі в Новгороді та Пскові (Див. Стор. 188-189), тобто його концепція Премудрості, до якої лежить шлях інтровертно-апофатичного відтворення цілісної Мудрості в глибинах людської душі з'єдналася з екзистенційно-софійним «любомудрієм» українських філософів.

Ірраціоналістична домінанта, притаманна українській ментальності та філософській думці на підставі синтезу богословської апофатики та візантійського ісихазму наповнюється містичним та моральним змістом. Неможливість абсолютного розуміння сутності Бога у вчені Палами є вираження неможливості вичерпати Його раціонально-умоглядними визначеннями. Звертаючись до екзегетики Святого Письма та досвіду Апостолів, Святий Григорій обґрунтовує свою думку щодо обмеженості умоглядного доведення сутності Бога, підкреслюючи домінувальне значення на цьому шляху любові. Біблейське висловлення «Знання розділяє, а любов творить» (1 Кор. 8,1) він тлумачить як можливість через подолання зовнішньої вченості через любов осягнути «премудрість Бога». «Ось! – пише Палама, – Буває, виходить знання, що зовсім не очищає, а що обчищає душу без любові, — любові, вершини, кореня і середини всієї чесноти. Якщо не творить ніякого блага знання, — тому що творить любов, — як, говорю, таке знання перетворить людину на образ Благого?» [9, 18].

Подібне поділення в онтологічному вченні німецьких богословів на Божественність та Бога дає можливість виправдати об'єднання універсалізму з індивідуалізмом,

що виступає єдиним простором досконалого Абсолюту та різноманіття його проявів, зв'язаних Божественною любов'ю. При цьому людина як конкретна індивідуальність виступає носієм Божественної сутності трансцендентного, яку можливо цілісно сприйняти тільки мовчазним переживанням Бога в глибині особистісної індивідуальності. В українській літературі культ мовчання як засіб відтворення цілісної глибини людської душі, що не відтворюється в слові, знаходить відображення в агіографічній спадщині Нестора, творчості Феодосія Печерського. Через посилення антропологічної лінії в українському неоплатонізмі XIV століття мовчазне вираження цілісного єднання абсолютного та конкретно індивідуального виразилося в досягненні трансцендентної глибини людини подібно до образів «пустелі» чи «нерозчиненої темряви» внутрішньої сутності індивіда у німецьких містиків.

Таким чином, німецька та українська філософсько-богословська думка паралельно розвивають спільні риси світорозуміння, що формуються на візантійському апофатизмі та паламістському ісихазмі. Для ірраціонально налаштованої української ментальності це визнання, що не редукується, онтологічної різниці між творчою природою Бога та створеною природою людини є знаковим зверненням до персоналістично-індивідуалізованого пошуку Божественного в людині через життєве становлення її моральності. Саме ці ідеї самоцінності внутрішньо-духовного в людині і зближують українське любовмудріє з німецькими містиками XIV століття.

РЕЗЮМЕ

Стаття посвящена експлікації концептуальної основи німецько-української філософської діалогічності на основі ідейної близькості німецької мистики і візантійської апофатики XIV століття. Компаративистський аналіз специфічних черт проблемного поля української філософії, котора фундується на синтезі язическої славянської міфології і християнської теології (апофатизм, ісихазм) і філософсько-теологіческої основи німецької мистики позднесредневекового періода, позволяє автору сделать вывод об ідейно-мировоззренческом потенціалі сучасних євроінтеграційних процесів в Україні на основі історически сложившейся ментальної близькості україно-німецької філософської континуальності.

SUMMARY

Article is devoted to an explication of a conceptual basis ukrainian-german philosophical dialogical on the basis of ideological affinity of German mysticism and Byzantine apophatic XIV centuries. The comparativical analysis of specific features of a problem field of the Ukrainian philosophy which is funded on synthesis of pagan slavic mythology and Christian theology (apophatism, isikhaizm) and a philosophical-theological basis of German mysticism the medieval period allows the author to draw a conclusion on ideological – world outlook potential of modern euro-integration processes in Ukraine on a basis of historically developed mental affinity ukrainian-german philosophy.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.
2. Бычко Ад. К. У истоков христианского иррационализма. – Киев: Политиздат Украины, 1984. – 140 с.
3. Бичко Б. Генеза антропологічних концепцій католицької філософії. – К.: Інтеркрот, 1999. – 238 с.
4. Горський В.С. Історія української філософії. – К.: Наукова думка, 1996. – 282 с.

5. Нічик В.М., Романець А.В. Філософія Григорія Сковороди. / Історія філософії України. – К.: Либідь, 1994. – С.167-194.
6. Філософія. Світ людини. Курс лекцій. – К.:Либідь, 2003 – 430 с.
7. Хамітов Н., Крилова С., Гармаш Л. Історія філософії. Проблема людини. – К.: Наукова думка, 2000. – 272 с.
8. Бичко І.В. Німецька класична філософія // Історія філософії – К.:Либідь, 2001. – С.122-169.
9. Григорій Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – СПб.: Наука, 2004. – 384 с.
10. Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.
11. Прохоров Г. Корпус сочинений Дионисия Ареопагита // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. II (Вторая половина XIV-XV вв.). Ч.1. Л., 1988.
12. Прохоров Г. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV веков. Л., 1987.

Надійшла до редакції 27.05.2005 р.

УДК 101.1

ЗАХІДНА ЕТНОЛОГІЯ І ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

В.Ю.Попов

Наприкінці 2004 року як і в 1991-му Україна стала великою несподіванкою для пересічного західного обивателя – «несподіваною нацією», за виразом британського дослідника Е.Вілсона. Нарешті світ дізнався про існування великої європейської держави, головним чином через страсті на Майдані, де українство вперше починає розуміти себе як єдине ціле. Цей факт по новому ставить проблему генези української національної ідентичності.

В сучасній етнології щодо генези націй точиться боротьба між двома течіями: традиціоналістами та модерністами. В українському інтелектуальному просторі не зважаючи на загальне панування першої з них (у вигляді примордіалістських і переніалістських версій) все міцніші позиції захоплюють модерністські напрямки (конструктивізм та інструменталізм).

Примордіалісти (від англійського *primordial* – первісний, інтуїтивний), якщо не зважати на розбіжності конкретних дослідників, вважають етнічні особливості за стійкі і практично незалежні від мінливих суспільних факторів феномени (К.Гірц, П.Ван ден Берге та інші). Один з перших примордіалістів – американський антрополог Кліффорд Гірц висловлює свою позицію у такий спосіб: «У кожному суспільстві за всіх часів деякі прихильності виникають більше з почуття природної, деякої, сказати б, духовної близькості, ніж з соціальної взаємодії» [1,16]. Переніалісти (від англійського *perennial* – вічний, незмінно існуючий) вважають етноси довічно існуючими і майже культурно незмінними. Крайньою формою цієї теорії є як би «біологізація» етносу, розгляд його скоріше як окремого біологічного виду, ніж спільноти у межах виду *homo sapiens*.

Етнологічний модернізм спирається насамперед на спадщину І.Кедурі, Б.Андерсона та Е.Геллнера. Маніфестом цього напрямку стала легендарна книга вождя конструктивізму датчанина Бенедикта Андерсена «Уявлені спільноти». У цій книзі він стверджує: «Воно [національне співтовариство] уявлюване, тому що члени навіть найменших націй ніколи не впізнають своїх одноплемінників при зустрічі і навіть не почувють про них, однак у свідомості кожного живе уявлення про співтовариство» [2,22].

Ще більш чітко цю позицію висловив Е.Геллнер: «Націоналізм – це не пробудження націй до самосвідомості, – він вигадує нації там, де вони не існують» [3, 29].

Більш поміркованою версією конструктивізму є концепція англійського соціолога Ентоні Сміта. Під етнічною (національною) ідентичністю він розумів насамперед ототожнення самих індивідів з етнічною спільнотою, коли люди розглядають себе крізь призму певної етичності, належності до певного етносу, проєцируючи на себе його особливості, відносяться до його характерним рис як до своїх власних. Відокремлюючи шість атрибутів етнічної спільноти (групова власна назва, міф про спільних предків, спільна історична пам'ять, один або більше диференційних елементів спільної культури, зв'язок із конкретним «рідним краєм» та чуття солідарності у значної більшості населення), Е. Сміт вказує на наявність в них сильного суб'єктивного компоненту [4, 30-31]. Саме цей момент надає можливості соціального конструювання різних націй. Саме ідентичність створює етнос, а не навпаки. Етнічна ідентифікація, яка тісно пов'язана з творчою діяльністю політиків і інтелектуалів та суспільно-історичною ситуацією існування людських спільнот, створює саме ті символи, стереотипи і міфи, що здатні викликати у людей почуття спільності, прихильності до «великої родини», споріднення та солідарності.

Крайньою версією етнологічного модернізму є інструменталізм або ситуаціонізм. Інструментальний підхід розглядає етнічність як виключно соціальне явище. Це означає, що національні особливості виникають, розвиваються та змінюються під безпосереднім впливом суспільних умов. Етнічна ідентичність створюється людьми і виконує роль знаряддя, засобу для досягнення різних цілей, вирішення різноманітних завдань. Так один з радикальних представників інструменталізму А. Коен взагалі вважає етнічність різновидом політичної та соціальної організації. Деякі західні вчені (наприклад К.Мітчел) пишуть про «ідентичність по домовленості», яка є наслідком своєрідної згоди, коли індивіди «домовляються» будувати свої співвідносини «як» представники тих чи інших етнічних категорій. Таким чином етнічна ідентичність, згідно цим поглядам, визначається не якимось загадковими почуттями «спорідненості», «приналежності», «духовної єдності», «загальної долі», «загального духу» і таке інше, хоч вони і вважаються складовими етнічної ідентичності, але це лише «декорація» на будівлі, побудованій на зовсім конкретних суспільних інститутах. Британський дослідник Том Нейрі у певному інтелектуальному розпачі пише: «Націоналізм» є патологією сучасної еволюційної історії, так само неunikною, як індивідуальний «невроз», з тією ж властивою йому двозначністю, з подібною схильністю до нападів божевілля, закорінених у дилемах безпорадності, перед якими стоїть більшість світу (щось на зразок інфантильності суспільств), і здебільшого невиліковних» [Цит. за: 2,22].

З точки зору цих західних інтелектуалів доби 60-70-х років, націоналізм є секулярною версією втраченої релігійної ідентичності. Нація при цьому виконує функції релігійної спільноти, що забезпечує індивіду задовільнення його прагнення до безсмертя, принаймні у вигляді колективного безсмертя нації. Один з засновників етнологічного модернізму Ілі Кедурі писав: «Націоналізм – це доктрина, винайдена в Європі на початку дев'ятого століття» [Цит. за: 3,207]. Та якщо погляди модерністів мають слухність, то нації не могли виникнути до доби Просвітництва та індустріалізму.

В той же час, всупереч цим поглядам, більш обґрунтовано вдається позиція Е.Сміта та Е.Вілсона про існування передмодерних націй, що не реалізували своїх прагнень під час реформаційних рухів у Європі. До такого типу націй безперечно належить «русько-козацька» або українська нація, що сформувалася у XVI-XVII сторіччях.

Е.Сміт вказував на два шляхи формування передмодерних етнічних спільнот: латеральний та демотичний. Латеральний шлях характеризується тим, що аристократична етнічна спільнота зберігає спроможність власного увічнення тією мірою якою здатна інкорпувати інші верстви населення в межах своєї культурної орбіти. Дуже часто вони майже не намагаються поширити власну культуру вниз по суспільній драбині... Кілька

аристократичних етносів спромоглися зберегти власну ідентичність упродовж багатьох сторіч, навіть тисячоріч, завдяки почасти невідступній прихильності до специфічних форм релігії, а почасти допуску у свої політичні кордони інших етнічних груп і обмеженому поширенню власної релігійної культури вниз по суспільній драбині...

Латеральний варіант формування національної ідентичності в Україні був пов'язаний з намаганнями русинських магнатів (особливо князів Острожських) зайняти рівні права з польською елітою в Речі Посполитій. Претензії на місце третього рівного в Rzeczpospolita Obojga Narodow (польського і литовського) базувалися на топісі договірного входження киево – руських князівств до Корони Польської та Великого князівства Литовського. Ідея «контракту» продовжувала існувати аж до невдалої Гадяцької унії 1658 року. До такого ж гатунку проектів можна віднести прийняття вищим православним духовенством церковної Брестської унії. Однак і цей проект був розчавленим демотичною хвилею, що живила етнічну ідентичність з православних коренів.

На відміну від шляху бюрократичної інкорпорації аристократичною етнічною спільнотою, процес формування націй на основі демотичного етносу зазнає лише непрямого впливу бюрократичної держави. У вертикальних спільнотах за головні механізми збереження буття етносу правлять організована релігія та її святе писмо, літургії, ритуали та духовніцтво. Тут релігія визначає весь спосіб життя; саме соціальні аспекти спасенних релігій сформували характер демотичних спільнот. В усіх цих етнічних спільнотах міфи про обраність, священні тексти та писмена, авторитет духовніцтва допомогли забезпечити виживання традицій і спадщини спільноти.

Становлення української православної релігійної ідентичності припадає на XVI століття, століття величезних зворушень в духовному житті Європи. Реформація, що розбурхала Німеччину, просякає в Литву та Польщу. Православні братства, що зіграли величезну роль в становленні української національної ідентичності, за своєю інституційною структурою воно надто нагадують реформаторські течії. Перехід контролю за церковним життям в руки самих громад, намагання до пуританізації моралі, певна раціоналізація життя – всі ці риси також можуть бути вподоблені протестантським.

Ключовою для розуміння специфіки передмодерної української ідентичності є роль православних інтелектуалів, особливо київського гуртка 1620-х – 1630-х років. Саме в цьому колі, що зазвичай ототожнюється з П.Могилою та його оточенням, набуває завершеності своєрідна модель русько-православного міфу, що став підставою для української ідентичності.

Складовими цієї моделі є :

- міф про релігійну обраність, що базується на вірності істинній вірі – православній
- легенда про освячення рідної землі, в якій з часів апостола Андрія сяє світ православ'я
- міф про спільне походження (у вигляді легенд про Руса або сарматів)
- реанімований образ Київської Русі, як ознаки безперервності національної традиції
- топіс Богохранимості міста Києва – «другого Єрусалима»
- антиунійні стереотипи при наявності католицьких впливів.

Цей проект передмодерної української ідентичності, в найбільшій мірі відбилася в поглядах і діях найбільш значних українських богословів XVII-XVIII століть: Петра Могили, Стефана Яворського і Феофана Прокоповича. Насамперед, це має відношення до першого церковного діяча, історичний вплив якого Г.Флоровський вважав вирішальним для «... Західно-руської церкви і культури» [5, 44]. М.Грушевський також зауважував, що «ім'я Могили стало провідним гаслом для організованої ним церкви на два століття». «Аж до останньої русифікації переведеної при кінці XVIII століття, – продовжував український історик, – київська академія, а з нею й східно-українське громадян-

ство, в ній виховане, жили спадщиною Могили його духом. Відти величезне значення його в історії української культури, і незвичайний пієтизм для його пам'яті й імені, що затримується навіть в XIX столітті» [6, 100].

Особистість Петра Могили можна вважати найбільш адекватним відбиттям духу українського Бароко. Дух компромісу раціоналізму та містицизму, елітарної релігійної толерантності, дуалістичного антропологізму, що знайшов своє втілення в працях вчених Києво-Могилянської школи веде свій родовід з релігійної реформи П.Могили. В наслідок останньої українська церква залишається вірною в догматах і образах православ'ю, проте по складу своєї ідеології і культури, якщо погодитися з М.Грушевським, «становила галузь сучасної католицької реакції, що панувала в полуднево-західній Європі...» [6, 94].

Оцінюючи, з точки зору російської православної ортодоксії, діяльність Могили, Г.Флоровський писав: «При ньому Західно-руська церква виходить з тієї розгубленості та дезорганізації, від яких страждала з часів Брестського собору. І разом з тим все проникне чужим, латинським духом... Це була гостра романізація Православ'я, латинська псевдоморфоза Православ'я. На спустошеному місті будується латинська і латинствуюча школа, а латинізації піддається не тільки обряд і мова, але й богослов'я, й світогляд, й сама релігійна психологія. Латинізується сама душа народу» [5, 49].

«Православне Ісповеданіє», написане під керівництвом Могили носило на собі відбиток православно-католицького екуменізму. Ця пам'ятка епохи Бароко на довгі роки визначила духовні підвалини українського православ'я та української передмодерної ідентичності.

Своє втілення ця модель набуває під час визвольних змагань українського народу під проводом козацької спільноти в середині XVII сторіччя. Правда, час вносить в неї деякі корективи. Міжконфесійна рівновага у Речі Посполитій, зі зміцненням Католицької Контрреформації поступово погіршувалася, аж врешті була остаточно розхитана військовими бурями середини XVII сторіччя. Моделюючись за допомогою властивих часові метафор, «війна народів» починає сприйматися як „війна вір». Саме з цього починає свою хроніку козацький «самовидець»: «Початок і причина війни Хмельницького єст єдино от ляхов на православіє гоненіє и козакам отягощеніє» [Цит. за: 7, 62]. Козацтво виступає як провідна верства суспільства, яка відстоює «шляхетські вольності». Ідейними шатами цієї боротьби виступає захист православ'я. Повстання Б.Хмельницького можна розглядати у загальноєвропейському контексті як продовження Тридцятирічної війни, яка, як відомо, проходила під релігійними гаслами. Саме в цей період відбувається формування європейських націй. «Руський проект» був нереалізованою моделлю саме такого типу.

У західній етнології стало майже аксіоматичним зараховувати українців до категорії нових націй і трактувати національне будівництво переважно як трансформацію етнічно-лінгвістичної маси у свідому українську політичну і культурну спільноту. Погоджуючись з Зеноном Когутом, що «будь-яке дослідження сучасного українського національного будівництва мусить брати до уваги роль українського політичного утворення XVIII ст., яке сучасники називали Малоросією» [8, 83], можна стверджувати існування української передмодерної ідентичності ще у XVI-XVII сторіччях.

Доба релігійного відродження та Козацької революції створила підґрунтя для сучасної української ідентичності. Модерна ідентичність, створена міфом Т.Шевченка та ідеологами національного руху ґрунтувалася на символах Святої православної віри та Козацької волі. «Біблія» українського відродження Костомаровська „Книга буття українського народу» містить поєднання саме цих символів, щоправда в дещо іншій ідеологічній площині: «істий Українець...повинен не любити ні царя, ні пана, а повинен любити і пом'ятовати одного Бога Ісуса Христа, царя і пана над небом і землею» [9, 57]. Але дослідження цієї ідеології стане предметом наших подальших розвідок.

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена проблеме возникновения украинской национальной идентичности. Автор утверждает, что ее основой является предмодерная идентичность, появившаяся в XVI-XVII столетиях. Эта идентичность базировалась на национальном варианте православия и символах казацкой свободы.

SUMMARY

The article is devoted to the problem of origin of the Ukrainian national identity. An author asserts that a pre-modern identity appearing in the XVI-XVII centuries is its basis. This identity was based on the national variant of orthodoxy and symbols of cossacks freedom.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе. – К.: Дух і літера, 2001.
2. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. – К.: Критика, 2001.
3. Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм. – К.: Таксон, 2003.
4. Сміт Е. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994.
5. Флоровський Г. Пути русского богословия. YMCA – PRESS, 1983. – К.: «Путь к истине», 1991.
6. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: «Освіта», 1992.
7. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. – К.: Критика, 2002.
8. Когут З. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К.: Критика, 2004.
9. Костомаров М. Книга битія українського народу// Вивід прав України-Львів: МП «Слово», 1991. – С.50-58.

Надійшла до редакції 19.05.2005 р.

УДК 130.1

ПОНЯТИЕ «ИДЕНТИЧНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ

Е.В.Попова

В последние годы в пространство отечественного социально-гуманитарного дискурса широким потоком вливаются модели и концепты социальных теорий, сформировавшихся в течение XX в. на Западе. При этом обнаружилось, что простое использование концептуальных структур, возникших на иной социально-культурной почве, для объяснения процессов, переживаемых посткоммунистическим миром, зачастую не дает приемлемых результатов, не позволяет приобретать адекватное знание. С другой стороны, отсутствует и приемлемая теория посткоммунистической трансформации, более того, не ясно, возможна ли подобная теория как таковая.

В подобной ситуации, вероятно, необходимо не столько прямое использование тех или иных теоретических моделей, сколько обращение к их *значимым идеям*, которые, естественно, требуют конкретной интерпретации.

Идентичность – слово сегодня очень распространенное, оно заметно потеснило такие привычные термины, как, скажем, *самосознание* или *самоопределение*. В 1996 г. С.Холл заметил, что «в последние годы наблюдается настоящий взрыв интереса к кон-

цепции «идентичности»" [1,1]. С тех пор внимание к проблеме еще более возросло. И это, как подчеркивает З. Бауман, не просто развитие еще одного поля исследования: происходит нечто большее, а именно – идентичность «становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни», а потому столь впечатляющее возрастание интереса к «обсуждению идентичности» «может сказать больше о нынешнем состоянии человеческого общества, чем известные концептуальные и аналитические результаты его осмысления» [2, 176-177].

Проблема идентичности нашла свое отражение во многих современных отечественных исследованиях. Ей посвящены работы Е.Даниловой [3], С.Климовой [4], С.Макеева [5], В.Малахова [6], Б.Сивиринова [7], В.Сухачева [8], Е.Трубиной [9] и других. Однако в них отсутствует, как правило, концептуальный анализ происхождения самого термина «идентичность». Заполнение этого пробела и является основной целью данной статьи.

Слово *идентичность* прежде передавалось в русском языке как *тождество*. Обращая на это внимание, российский ученый В.Малахов делает весьма тонкое замечание, что в отличие от романо-германского культурного ареала, где классическое *тождество* и нынешняя *идентичность* — это один и тот же термин (будь то «философия тождества» Шеллинга или критика «мышления тождества» у Т.Адорно или Ж.Делеза в пользу *различия*), в русском языке с переходом к термину *идентичность* мы получаем некоторое добавочное значение, что часто ведет к некорректному употреблению термина [См: 6]. Довольно часто идентичность интерпретируется исключительно в психологическом плане, а именно – как личностная, или индивидуальная, идентичность. Однако ныне данное понятие приобрело более широкое значение, и мы слышим о социальной, культурной, религиозной и т.д. идентичности, иными словами, об идентичности и индивидуальной, и коллективной.

Считается, что концептуально, но не терминологически концепт *идентичность* первым стал применять З. Фрейд, поскольку психоанализ, как известно, был направлен на выявление *скрывающейся*, в том числе от самой личности, идентичности. Основу же современного понимания идентичности заложили исследования отношения «Я – Другой», прежде всего в рамках символического интеракционизма и социальной феноменологии [См: 10]. В данном случае основополагающее значение имеют работы Дж. Г.Мида по исследованию «самости» (Self), что, собственно, и есть идентичность, хотя самого этого термина у Мида нет. Правда, сейчас термин Self переводится на другие языки именно как *идентичность*. Идентичность рассматривалась Мидом как изначально социальное образование: индивид благодаря духу формирует (видит) себя таким, каким видят его другие. Перенимая роль другого, индивид смотрит на себя глазами другого человека, что выявляет коммуникативный характер идентичности: идентичность и интеракция постоянно переходят друг в друга. Развитие этих идей привело к выводу о том, что у индивида не одна, а несколько идентичностей (теория ролей), и соответственно к постановке вопроса о том, каким образом задается их единство.

В полном же смысле слова идентичность как особый социально-культурный феномен начал исследовать американский психолог Эрик Эриксон [11] на основе использования как психоаналитического, так и философского и социологического подходов, что, в конечном счете, и определило в 70-80-е гг. XX в. статус концепта идентичности как категории междисциплинарного знания. Именно Эриксон, исследуя прежде всего *индивидуальную* идентичность, ввел в научный оборот термины «эго-идентичность» и «кризис идентичности» и выделил, по крайней мере, три основных направления или аспекта рассмотрения концепта идентичности: а) чувство идентичности, б) процесс формирования идентичности и в) идентичность как конфигурация, результат этого процесса. При этом, согласно Эриксону, речь должна идти как о личностной, так и о коллективной идентичности (но тоже индивидуальной – *социальном Я*), а также о позитивной и негативной идентичности. Понятие негативной идентичности особенно важно для нас, поскольку посткоммунистическая идентичность чаще всего формируется именно как нега-

тивная. Возможно, в переходной ситуации иначе и невозможно, ибо новое качество, очевидно, может быть осмыслено людьми только через культурное и национальное противопоставление себя как прошлому, так и другим индивидам.

В нашей статье речь идет, прежде всего, о социокультурном уровне идентичности и о путях ее формирования. И здесь мы сталкиваемся с весьма сложной проблемой соотношения индивидуальной и коллективной идентичностей, поскольку очень часто они не различаются. Чтобы найти адекватное решение данной проблемы, стоит, вновь сошлемся на В.Малахова, сместить вопрос из размерности «Что такое идентичность?» в размерность «Как возможна идентичность? На основе чего, каких ресурсов она выстраивается? Каким образом в идентичности объединяются и синтезирующий и дифференцирующий дискурсы?». При этом, соглашаясь с Малаховым в его критике гипостазирования и реификации категории идентичности, весьма широко распространенных при анализе коллективной идентичности, все же заметим, что ситуация, как кажется, сложнее. Конечно, мы говорим о «сознании» или «воле» общества, скорее, в метафорическом плане, разумеется, качеством субъектности обладает только личность. Но как быть с теми явно духовными и в то же время «коллективными» качествами, которые возникают в пространстве «между» личностями и которые явным образом формируют групповую идентичность? Я уже не говорю о религиозном, верующем человеке, для которого Дух – реальность, по крайней мере, не меньшая, чем индивидуальная душа. Тот факт, что полуграмотные националисты подменяют Дух мифической «национальной душой», никак не отменяет саму проблему.

В самом широком плане вопрос об идентичности – это вопрос о соответствии определенного субъекта (личности, группы) источнику норм и поведенческих реакций, где источник имеет более универсальную природу, чем сами эти нормы. Конечно, в основе установления подобного соответствия лежат духовно-психологические моменты, поскольку в любом случае идентичность есть осознание именно личностью своей принадлежности к некоторому целому, дискурс собственной легитимации в пространстве определенного социально-культурного поля, или символического универсума культуры. Пользуясь языком Бергера и Лукмана, можно сказать, что идентичность есть продукт типизаций, как внешних, так и внутренних. Внешняя типизация относит индивидов к представителям определенных групп, внутренняя типизация есть интернализация и субъективное переживание того типа, к которому относит индивидов окружение, причем субъективно переживаемая идентичность далеко не всегда может совпадать с приписываемой извне. Социальная (коллективная) идентичность оказывается частью Я-концепции, вытекающей из знания индивидом о своей принадлежности к группе и эмоционального переживания присущих группе ценностей.

Механизмы социальной самоидентификации обычно основаны, таким образом, на выделении «своей группы», «своей культуры», т.е. некоего существенно значимого референта в социальном пространстве. При этом человек, как правило, руководствуется следующими характеристиками социальных ситуаций: наибольшей эмоциональной и ценностной значимостью группы (тех, кого можно назвать «мы»); распознаванием общих с группой черт и качеств; возможностью обеспечения групповой поддержки, защиты и условий для самореализации [3; 4]. Идентификация может происходить по разным основаниям. Мы обращаемся в данном случае к ценностной идентификации, которая, как представляется, находится в центре всех других ее моделей.

Обретение идентичности может рассматриваться, в духе Вебера, как некоторая рационализация ситуации, достижение определенной ясности в ее осмыслении и осознании собственного положения в системе социальных отношений, т.е. обретение доверия и чувства онтологической безопасности. Иными словами, это прежде всего конструктивистская акция.

Таким образом, обращаясь к анализу коллективной идентичности, мы обращаемся к сериям символических культурных практик, воплощающих структуры, воображенные различными субъектами, практик, которые могут символически устранять одних субъ-

ектов и различать других. Однако в концептуальном плане пользоваться всем этим нужно очень осторожно, поскольку увлечение всякого рода воображенными структурами может вести к теоретическим химерам и деструктивным практикам. По крайней мере, важно достаточно четко проводить различие между исследуемыми объектами и интерпретационными стратегиями исследователя, хотя в такой области, как проблематика идентичности, это предельно сложно и, вероятно, в полном смысле слова невозможно. Чаще всего отсутствием такого различения характеризуются всякого рода исследования национального характера (на современном языке – «этничности»), когда символика последнего превращается в некое трансцендентальное означающее, само по себе определяющее судьбу той или иной этнической идентичности. Иными словами, имеет место операция реификации, т. е. восприятие существующего в совокупности социальных отношений как существующего самостоятельно, или «восприятие феноменов, создаваемых человеком, в «не-человеческих» терминах – в качестве вещей» [12].

Анализируя проблему идентичности, мы фактически обращаемся к проблеме социального конструирования реальности. Хотя в процессе идентификации субъект прежде всего конструирует самого себя, тем самым он на основе некоторых знаний конструирует и образ общества, свою социальную реальность, некоторое социальное пространство. Согласно социально-феноменологическому подходу, социальная реальность конструируется субъектом на основе смыслов и значений, заданных обществом или средой, в которой сформировался и действует индивид. Разрушение этой среды и означает распад социальной реальности и соответственно идентичности. Если в достаточно стабильной ситуации устанавливается взаимность социальных перспектив (люди быстро понимают друг друга), то в ситуации трансформации такая релевантность оказывается проблематичной. Необходимо углубление в те основания социальной жизни, которые объединяют, а не разъединяют перспективы. В любом случае социальная упорядоченность есть продукт истории культуры или некоторой трансцендентальной (и трансцендентной) социальности.

Идентичность, таким образом, представляет собой конкретно обусловленную интерпретацию и реализацию социального запаса знаний. Причастность к социальному запасу знаний способствует «размещению» индивидов в социальном пространстве и соответствующему обращению с ними [12]. Социальный запас знаний включает знание моей ситуации и ее пределов, предоставляя «в мое распоряжение схемы типизации, необходимые для большинства обыденных дел повседневной жизни – не только типизации других людей... но и типизации любого рода событий и опыта, как социальных, так и природных» [12,74]. До тех пор пока эти знания успешно способствуют решению проблем, какие-либо сомнения в них не возникают. Однако когда разрушаются принципы конституирования подобного запаса, общество становится хаотическим, типизации и исходящие из них перспективы вступают в конфликт. Именно это характерно для социальной трансформации – различные субъекты исходят из различных знаний.

Драматизм всякой социальной ситуации и, соответственно, определения идентичности состоит в том, что люди обречены существовать в двух измерениях – феноменологической квазиреальности и онтологической реальности, но действовать, ориентируясь в первую очередь на социальные квазиреальности. В кризисных условиях это отношение становится особенно напряженным и даже трагичным, ибо идентичность разрывается между существованием и действием (скажем, демократическое действие при отсутствии онтологически укорененной демократии), И все же в той или иной форме люди приспособляются к онтологическим (трансцендентным) основаниям, достигая определенной адекватности действий. Очевидно, что существует некая гомоморфность социальной среды и человека, или, на языке Франка, общественности и соборности. Глубинное единство «Мы», религиозное, трансцендентное основание общества, обеспечивает релевантность действий человека в ситуации социальных изменений, сохраняет некоторую его идентичность. Иными словами, учет феномена социальной (и трансцендентной) перспективы позволяет конструировать из фраг-

ментов социальной реальности многомерную систему, «сетевое» пространство интерсубъективных связей как форму существования постмодерной идентичности и тем самым формировать приемлемое «будущее» [8].

При этом мы всегда должны помнить, что идентичность – это не свойство, а отношение, продукт принципиально открытого процесса идентификаций, в который субъекты вовлечены в ходе социальной адаптации и результат которого никогда не бывает «окончательным». Коль скоро идентичность есть рефлексивная категория, «обладать» ею могут только индивиды; группам же идентичность может быть «приписана». Идентичность есть продукт социального взаимодействия, возникая как следствие проекции индивидами на себя ожиданий и норм других. Членами, скажем, этнической группы – и тем самым носителями определенной этнической идентичности – индивидов делает не происхождение (биологическое или культурно-историческое), а та роль, которую они играют в социальном взаимодействии. Именно синтез лежит в основе идентичности, которая основывается на последовательном ряде событий или, иначе, на выстраивании событий в последовательность, создавая линии трансмиссии «одного и того же». Идентичность – это всегда необходимость удерживать синтез многообразного [8]. Идентичность, в конечном счете, является сохранением формы того или иного субъекта во времени.

Признание никогда непосредственно не вытекает из социально санкционированной идентичности. Однако характерное для современного общества разнообразие и сложность признаваемых идентичностей делает признание проблематичным и требующим специфических подходов в различных институциональных и интеракционных ситуациях. Проблема признания со стороны других порождает «политику идентичности» со всеми присущими политической деятельности чертами и особенностями. Возможно, как раз в ситуации реального или вымышленного непризнания и начинают особенно активно функционировать «метафизические» аспекты идентичности.

В западной литературе концепт политики идентичности обычно используется по отношению к различным несистемным группам, стремящимся найти свое место в равноправном социальном диалоге. Можно предположить, что в условиях посткоммунистической трансформации о политике идентичности можно говорить применительно не только к отдельным социальным группам (хотя это и чрезвычайно важно, особенно, скажем, с точки зрения «нестандартных» для общества групп), но и к обществу в целом, которое действительно должно заново конструировать свою идентичность в условиях радикального изменения направления эволюции и порядков осмысления традиции. Правда, здесь мы сталкиваемся с вопросом: политика идентичности или политика различия? Сегодня во многом различие приобретает функции идентичности. Выбор между деконструируемыми и утверждаемыми идентичностями требует стратегического рассмотрения, а не диктата со стороны теоретических или нормативных первых принципов; говорить об идентичности вовсе не значит только подавлять. Политика идентичности, в конечном счете, означает сегодня легитимацию множественности идентичностей.

Иными словами, неприемлема некая «безусловная идентичность», являющаяся выражением эссенциалистского подхода к проблеме, когда идентичность рассматривается как навязываемая извне. В этом случае имеет место абстрагирование от конкретного взаимодействия и конкретных социальных отношений. Безусловная идентичность тем самым принимает репрессивный характер. Утверждается некий стандартный взгляд на идентичность, экспертами которого оказываются авторитарные источники. На самом же деле идентичность – всегда проект, хотя при этом, как правило, имеют место некоторые предписанные ее характеристики. Но эти предписания, скорее, в будущем, их нужно достигать, причем достигать индивидуально. Нет образцовых носителей идентичности, на которых все должны равняться. Быть русским, украинцем и т.д. – значит постоянно проектировать себя таковым. Идентичность может измениться и до определенной степени всегда меняется. При этом имеет место сложное взаимодействие политики индивиду-

альной и коллективной идентичностей, между которыми отнюдь не предполагается гармония, если, конечно, не мыслить их в жестком эссенциалистском ключе.

Итак, проблема идентичности является ключевой для посткоммунистической трансформации. Индивиды и группы вынуждены решать ее, поскольку идентичность есть основа их онтологической безопасности и социальных практик. В центре при этом оказывается проблема соотношения разума и идентичности. Многие западные исследователи пытаются в духе классического либерализма противопоставить их друг другу, обвиняя стремление к идентичности во многих бедах современного мира. Однако такое противопоставление является ошибочным. Необходим их синтез, т.е. попытка увидеть их динамическое соотношение, то, как они поддерживают и укрепляют друг друга, существуя в сложной взаимозависимости.

РЕЗЮМЕ

В статті наводиться концептуальний аналіз поняття «ідентичність». Спираючись на надбання світової гуманітаристики (психоаналізу, символічного інтеракціонізму, соціального конструктивізму) стверджується, що ідентичність є конкретно обумовленою інтерпретацією і реалізацією соціального запасу знань.

SUMMARY

In this article we can read about of conception «identity». Base on the humanitarian world (psychoanalyse, symbol interactionism, social constructionism) we can assert that identity is a substance of interpretation and realization social reserve of knowledge.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hall S. Who Needs «Identity»? // S. Hall and P. du Gay (eds.). Questions of Cultural Identity. – London: Sage, 1996.
2. Bauman Z. Modernity and Ambivalence // M. Featherstone (ed.). Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. – London: Sage, 1990.
3. Данилова Е.Н. Изменения в социальных идентификациях россиян // Социологический журнал. 2000. №3-4.
4. Климова С. Ломка социальных идентичностей, или «мы» и «они» вчера и сегодня: Представления «человека с улицы» о социальной структуре // Отечественные записки. – №3. – 2002.
5. Макеев С.А. Социальные идентификации и идентичности. Киев: Ин-т социологии НАН Украины, 1996.
6. Малахов В. Скромное обаяние расизма и другие статьи. – М.: Модест Колеров и «Дом интеллектуальной книги», 2001.
7. Сивиринов Б.С. О феноменологической интерпретации социальной реальности // Социологические исследования. – №10. – 2001.
8. Сухачёв В.Ю. Особенности конституирования национальной и этнической идентичности в современной России // Национальная идентичность – теория и реальность. СПб.: Гражданская инициатива, 1999
9. Трубина Е.Г. Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1995.
10. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя, 1999.
11. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Речь, 2000.
12. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995

Надійшла до редакції 27.05.2005 р.

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

УДК 15.370

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИХ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Л.С.Яковицкая

Высшая школа – это то место, где должна осуществляться наиболее масштабная подготовка развивающихся, творческих личностей. Очевидно, что вуз изначально не может сформировать контингент студентов только из одних одаренных личностей. Поэтому на первый план выходят вопросы организации среды, стимулирующей формирование творческих личностей. Наиболее перспективной тенденцией реформирования современной образовательной системы мы считаем разработку новых подходов к организации и психологическому сопровождению развития творческой, продуктивной деятельности.

Современные исследования в области психологии мотивации дают основания полагать, что мотивационно-потребностная сфера личности выступает тем связующим звеном в актуальной деятельности, которое обуславливает целенаправленный, сознательный характер действий. Ярошевский М.Г.: «...имеет смысл ввести новое модельное представление о строении творческой личности, а именно – вычленив в регуляции ее поведения особую форму творческой интеллектуально – мотивационной активности, которую условно назовем словом «надсознательное» [8, 76]. Мотивация определяет потенциальные возможности личности, потребность в определенном виде деятельности, возможности совершенствования личности с целью реализации потребностей. Б.Г.Ананьев считает, что вся совокупность различных характеристик личности составляет существенные моменты ее внутреннего мира и общественного поведения, направленного на освоение, переживание и воспроизводство ценностей жизни. Согласно выводам Б.Г.Ананьева, общим центром для социальных, социально-психологических и психологических исследований личности являются ценностные ориентации личности, жизненная направленность или мотивация поведения людей, поэтому психологическое исследование творческой деятельности и мотивации личности невозможно без социально-психологического изучения ценностей (Ананьев Б.Г., 2001).

Ю.А.Миславский выделяет ценности в качестве личных детерминант регуляции поведения и состояний. Он рассматривает ценности как такие структурные компоненты личности, которые, по его мнению, являются отправными исходными психическими образованиями для постановки целей активности личности, образа Я, идеалов, уровня притязаний, самооценки и самоконтроля.

Л.И.Божович, говоря о нравственном и психическом формировании личности, системообразующим признаком структуры личности называет ее направленность, которая трактуется как эмоциональный феномен, при этом особо выделяется ценностная основа мотивационного выбора.

Традиционно, понятие «ценность» выводят из взаимодействия человека с окружающими его объектами. Человек оценивает способность того или иного объекта удовлетворить его потребности, интересы, цели. В учении Э.Гуссерля ценности рассматриваются как объективные «материальные» качества, существующие в самом уни-

версуме. Однако, эти ценности не принадлежат ни к миру действительности, ни к области субъективного, они относятся к сфере «значения» и «сущностей». Н.Гартман считает, что ценности имеют в себе тенденцию к реальности, сами по себе они не обладают способностью воплощаться в действительность, но они приобретают в себе эту способность через посредство познающего и деятельностного субъекта – человека. В.Эрбан исходит из того, что природа ценностей не может быть адекватно понята без обращения к психологическим процессам оценки. Природа ценности сводится к определенному психологическому отношению между оценивающим субъектом и оцениваемым объектом. Ценности – это не атрибуты объекта независимо от субъекта, а определенное значение объекта для субъекта, которое возникает благодаря эмоционально-волевому отношению человека к предмету или явлению. Ж.-П. Сартр в своих работах подтверждает эту мысль: ценность не возникает вне отношения субъекта к объекту.

В.Франкл выделяет три группы ценностей: ценности отношения, ценности переживания и ценности творчества. Приоритет принадлежит ценностям творчества, основным путем реализации которых является труд. Смысл труда человека заключается прежде всего в том, что человек делает сверх своих предписанных служебных обязанностей, что он приносит как личность в свою работу. Таким образом, ценности творчества являются для человека наиболее естественными и важными. А.Г.Здравомыслов считает, что благодаря ценностям человеческое существование выходит за рамки потребностей и интересов, за рамки того, что выгодно, удобно, необходимо в данный момент времени.

Возможности развертывания творческих сил человека в отдельном конкретном виде деятельности объективно ограничены и, как правило, не затрагивают всей личности. Значительная часть человеческих потребностей удовлетворяется за пределами той деятельности, которую мы называем ведущей. Правомерно предполагать и для другого многообразия наших индивидуальных деятельных начал творческую потенцию. Личностные ценности, как и социальные ценности, существуют в виде моделей должного. Но, в отличие от социальных, именно личностные ценности задают индивиду конечные ориентиры его деятельности, побуждают его к активности. Таким образом, ценности рождаются в деятельности в деятельность и возвращаются, но уже в виде заданных конкретных смыслов и отношений, поэтому сохраняясь они закрепляют мотивы, которые переходят на уровень ценностных отношений. По средствам ценностей человек получает возможность выработать свое отношение к собственной деятельности, оценивать и осознанно программировать ее характер. Ценностные ориентации опосредствуют отношение человека к предмету и процессу деятельности.

Выше изложенное позволяет сказать, что ценности – это деятельностное начало, что ведет к достижению поставленных целей, а высшая ценность – это то, что способствует развитию человека. В нашем исследовании ценности можно рассматривать как фактор, обеспечивающий большую вероятность определенного типа деятельности (творческой деятельности) в условиях разнообразных средовых воздействий.

Цель исследования – выявить иерархию ценностных ориентаций студенческой молодежи и ее влияние на творческий потенциал испытуемых.

Для решения поставленных задач были использованные следующие методики: мотивационный профиль Ш.Ричи и П.Мартина, методика «Ценностные ориентации», цепочечный ассоциативный эксперимент.

Испытуемыми были студенты дневной формы обучения Донецкого национального технического университета, так как юношеский возраст является периодом интенсивного формирования системы ценностей, оказывающей непосредственное влияние на выбор и характер деятельности, на становление личности в целом. Это связано с появлением в этом возрастном периоде необходимых для формирования ценностей психологических предпосылок: занятие нового социального положения, овладение абстрактно-логическим мышле-

нием, накопление социального опыта. Исследование проводилось в 2004-2005, 2005-2006 учебных годах. Всего в исследовании приняли участие 63 студента.

Тест «Мотивационный профиль» использовался в проведенном исследовании потому, что наши мотивационные потребности определяются значимыми, а потому и ценными для нас объектами. В основе нашего исследования лежало предположение о том, что анализ мотивационного профиля разрешит выделить студентов с высокой потребностью в креативности, думающих, открытых для новых идей. В ходе работы нами были выделены те потребности, которые наиболее часто называли испытуемые с выраженной потребностью быть креативным.

Наиболее значимой, ее называли все испытуемые с выраженной потребностью быть креативными, является потребность в ощущении востребованности, в интересной общественно полезной работе. Эта потребность содержит большое количество социальных компонентов: заинтересованность в работе независимо от финансовых последствий для работника, признание организацией влияет на интерес к работе, одновременно, не исключает и личностные ценности: развитие интереса к работе увеличивает способность влиять на ситуацию, оказывает содействие креативному восприятию.

Второй по значимости мотивационный фактор, его выделил 71% испытуемых, – потребность в завоевании признания со стороны других людей. Этот показатель указывает на симпатии к другому и красивые социальные взаимоотношения, это потребность личности во внимании со стороны других людей, желание чувствовать собственную значимость, чтобы окружающие ценили ваши заслуги, достижение и успехи. Этот фактор имеет также выраженную социальную направленность (признание заслуг улучшает выполнение обязанностей, потребность в признании порождает неспособность начать непопулярные действия, оказывает содействие самосовершенствованию индивида), хотя и не всегда может выражаться в просоциальных действиях (потребность в признании подрывает способность признавать заслуги других людей, мешает сосредоточить усилия на работе, требует чрезмерного внимания со стороны окружающих).

Третий по значимости фактор – потребность в совершенствовании, развитии как личности (57% испытуемых). Показатель желания самостоятельности, независимости. Обобщая полученные данные можно сказать, что творческий потенциал человека может развиваться одновременно в нескольких направлениях: углубляя процессы социализации и, одновременно, реализуя ценностные установки личности.

Вопрос изучения мотивационно-потребностной сферы личности значительно усложняется наличием большого количества факторов, которые опосредствуют ценностные ориентации и мотивационные преимущества личности, поэтому нами была дополнительно использована методика «Ценностные ориентации», разработанная М.Рокичем, позволяющая исследовать систему терминальных и инструментальных ценностей личности. В ходе работы с полученными результатами испытуемые были поделены на две группы: к первой группе были отнесены испытуемые, которые творческую деятельность отнесли к первой десятке терминальных ценностей (22 чел.); вторая группа – студенты, которые низко оценили возможность творческой деятельности (41 чел.). Нашей задачей на этом этапе было проанализировать отличия в ценностных ориентациях этих двух групп студентов. В первой группе студентов доминирующими в списке терминальных ценностей были жизненная мудрость, любовь, здоровье, активная деятельная жизнь. Вторая группа студентов отдала приоритет следующим ценностям – здоровье, материальное обеспечение жизни, уверенность в себе, любовь (все ценности расположены по мере предпочтения). Весьма органичным мы видим совпадение выборов для ценностей здоровье и любовь, так как именно они образуют основу нашей мотивационно-потребностной сферы. Дальнейшее расхождение ценностей: жизненная мудрость, активная деятельная жизнь для первой группы; материальное обеспечение жизни и уверенность в себе для второй. Подтверждает актуальность нашего ис-

следования, так как ставит нас перед необходимостью ответить на вопрос, что заставляет одних идти вперед по лестнице потребностей (первая группа) и не дает другим открыть для себя новые возможности. Изучая предпочтения в списке инструментальных ценностей, мы пытались оценить по средствам чего наши испытуемые надеются достичь свои цели. Первая группа студентов приоритетными для себя назвала – жизнерадостность, честность, независимость, образованность, волю. Вторая группа – воспитанность, ответственность, честность, смелость в отстаивании своего мнения, волю.

Таким образом, первая группа студентов отдает предпочтение личностным ценностям, вторая группа в большей степени просоциально сориентирована.

Первую группу студентов мы дополнительно поделили на две подгруппы по половому признаку. Дальнейшее сравнение результатов проводилось нами с учетом гендерной проблематики. В списке терминальных ценностей юноши выделили любовь, жизненную мудрость, здоровье и наличие верных друзей; девушки – активную деятельную жизнь, здоровье, уверенность в себе, независимость суждений и любовь. Гендерные отличия выразились в шкалах: жизненная мудрость и наличие верных друзей у девушек и независимость суждений и активная деятельная жизнь для юношей, что может свидетельствовать о большей и социальной зрелости и автономности испытуемых-девушек.

Сравнивая результаты работы с первой и второй методикой мы не находим их противоречивыми, хотя нет полного совпадения с точки зрения предпочтений ценностей личностного и социального планов, так как аксиологический аспект самореализации человека часто носит сложный и неоднозначный характер. Ценности обычно задают направленность деятельности человека, стимулируют ее определенные формы, вместе с тем они могут ограничить другие направления в деятельности, потому что система ценностей не является статичной, она динамична и противоречива, отражает как приоритетные взаимосвязи личности с миром, так и отношения актуальные сегодня.

Список инструментальных ценностей у юношей и девушек совпал по двум позициям – жизнерадостность и образованность. В выборе последующих ценностей юноши сделали упор на, так называемые, сильные черты личности – честность, независимость, твердая воля. Девушки предпочли процессуальные аспекты деятельности – самоконтроль, смелость в отстаивании своего мнения, терпимость к мнениям других.

Для того чтобы уточнить качественные представления наших испытуемых о творчестве, нами был проведен ассоциативный цепочечный эксперимент. Стимулом для нашего ассоциативного ряда было слово «творчество». Проанализировав полученные ряды испытуемых первой и второй групп, мы увидели, что они значительно отличаются по количеству приведенных ассоциаций (у первой группы длина ряда составляла 28 слов, у второй – 12). Испытуемые второй группы ограничились перечислением видов искусства, их атрибутов и результатов деятельности. Первая группа назвала ассоциации, которые показывают, что творчество этими студентами понимается как основа развития каждого из нас (деятельность, эмоции, работа, человек, идея, жизнь, изобретение). Таким образом, мы косвенно подтвердили деятельностьную концепцию развития личности традиционную для отечественной психологии.

Полученные результаты исследования разрешают сделать следующие выводы:

- мотивационно-потребностная сфера человека имеет сложную структуру, поэтому однозначно выделить группу определенных потребностей, которые оказывают содействие творческому росту довольно сложно;
- важным функциональным звеном психологической системы творчества является осознание личностью значимости творческой деятельности;
- посредством ценностей человек получит возможность выработать свое отношение к собственной творческой деятельности, оценить и осознанно программировать ее характер;

– являясь людьми прагматичными, мы чаще всего рассматриваем особенности творческого отношения к миру как совокупность наших деятельностных алгоритмов, а аксиологический аспект (эмоции, смыслы) оставляем за рамками наших устремлений.

В перспективе нашего исследования мы видим изучение возможностей формирования ценности творческого отношения к миру в учебной деятельности высшей школы.

РЕЗЮМЕ

У статті розглядаються психологічні механізми творчої діяльності, обґрунтовується необхідність виділення особистісних цінностей, що сприяють творчому розвитку людини, досліджується можливий взаємозв'язок ціннісних орієнтацій з ростом творчого потенціалу студентської молоді.

SUMMARY

The article deals with psychological mechanisms of the creative activity, basing the necessity of pointing out personal values to promote persons creative development.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
3. Диалектика и теория творчества / Под ред. С.С.Гольдентрихта и А.М.Коршунова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 200 с.
4. Здравомыслов А.Г. Отношение к труду и ценностная ориентация личности / А.Г.Здравомыслов, В.А.Ядов // Социология в СССР. – М.: Мысль, 1966. – Т.2. – 511 с.
5. Миславский Ю.А. Саморегуляция и творческая активность личности. Вопросы психологии. 1988. – № 5. – С.71-78.
6. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – 367 с.
8. Ярошевский М.Г. Категориальная регуляция научной деятельности. Вопросы философии. 1973. №11. – С.74-86.

Надійшла до редакції 18.06.2005 р.

УДК 159.93

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНОГО СЕНСОРНОГО ОПЫТА КАК ЧАСТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ЛИЧНОСТИ

О.А.Погородник

Начиная с 50-х годов XX века, важное место в психологии познания занимают когнитивные стили. На данный момент выделяют уже более двадцати различных стилей, им посвящены тысячи исследований, написана масса литературы. Термин «когнитивный стиль» был предложен Р.Гарднером в 1953 г. и обозначал особого рода индивидуальные особенности интеллектуальной деятельности, которые принципиально отграничивались от индивидуальных различий в успешности интеллектуальной деятельности. Когнитивные стили рассматривались как характерные для данной личности устойчивые познавательные предпочтения, проявляющиеся в преимущественном использовании определенных способов переработки информации.

В последние двадцать лет появилась тенденция к гиперобобщению этого понятия. Возникла идея о том, что познавательные стили являются частью более сложного синдрома индивидуальных свойств, включающего когнитивные, эмоциональные, мотивационные, личностные переменные и даже сферу межличностных отношений. Понятие стиля *начинает применяться* ко всем сферам психической активности (в согласии с определением Ж.Бюффона: «Стиль – это человек»). Так например, А.В.Либин вводит новый термин для обозначения изучаемого интегрального феномена – «стиль человека», который рассматривается как метаизмерение по отношению ко всем свойствам индивидуальности на всех уровнях ее организации, начиная с темперамента и заканчивая смысловой сферой [1].

Но до какого уровня обобщений не доходили бы исследования когнитивных стилей, рассмотрение их особенностей всегда начинается как минимум с уровня восприятия. При этом из такого (часто всеохватывающего) рассмотрения выпадает ощущение – базовый процесс, являющийся как основным источником познания, так и основным условием психического развития личности [2]. И в настоящее время широко распространено представление о том, что сенсорные процессы относятся к низшим психическим функциям и, составляя как бы периферию субъекта, не входят в его основную структуру и индифферентны к личности [3], хотя еще основатель теории ассоциаций ощущений И.М.Сеченов, писал: «При анализе ассоциативных ощущений человек впервые встречается сам с собой. Отделением в деле ощущений всего субъективного кладется начало самоощущения, самосознания» [4].

Известны факты, говорящие о том, что человек, лишенный постоянного притока информации, впадает в сонное состояние. Многочисленные наблюдения показали, что нарушение притока информации в раннем детстве, связанное с глухотой и слепотой, вызывает резкие задержки психического развития. Если детей, рожденных слепоглухими или лишенных слуха и зрения в раннем возрасте, не обучать специальным приемам, компенсирующим эти дефекты за счет осязания, их нормальное психическое развитие станет невозможным.

Ощущения позволяют человеку воспринимать сигналы и отражать свойства и признаки вещей внешнего мира и состояний организма. Они связывают человека с внешним миром и лежат в основе всех более сложных психических явлений. Об этом говорят и описания ряда авторов некоторых последствий экспериментальной сенсорной депривации, таких как расстройства в направлении мышления и при сосредоточении; мышление захватывается фантазией, возникают бредовые идеи; расстроена ориентация во времени [5, 6].

Целью данной работы явился анализ проявления устойчивых стилевых характеристик познавательной сферы личности на уровне элементарных сенсорных процессов. Для этого было проведено исследование, где в качестве испытуемых приняли участие 40 человек, обоих полов, в возрасте от 18 до 25 лет, учащиеся и студенты. Были получены эмпирические данные по четырем когнитивным стилям с использованием стандартных методик для их определения. Это были методики «Включенных фигур» Г.Уиткина для определения степени полезависимости-полenezависимости, «Свободной сортировки объектов» Р.Гарднера в модификации В. Колги для диагностики узости-широты диапазона эквивалентности, «Словесно-цветовой интерференции» Дж. Струпа для диагностики ригидности-гибкости познавательного контроля и методика «Сравнения похожих рисунков» Дж. Кагана для определения импульсивности-рефлексивности.

Также были получены данные об особенностях организации субъективного сенсорного опыта по трем методикам. Первой предлагалась методика А.Петри для определения тенденции к завышению или занижению как особенности организации тактильного сенсорного опыта. Она проводится в условиях выключенного зрения. Испытуемому в руки дается брусок размером $0,1 \times 0,05 \times 0,025 \text{ м}^3$, который тот изучает в течение 30 секунд. После этого экспериментатор забирает стимульный материал из рук испытуемого, просит его при

помощи большого и указательного пальцев ведущей руки показать длину бруска (максимальный размер), затем – ширину, и последней – толщину (минимальный размер). Опыт проводится в такой же последовательности и для неведущей руки. Затем то же повторялось в обратной последовательности: начиная с минимального размера и оканчивая максимальным. Такая схема проведения эксперимента была призвана нейтрализовать влияние установки на постоянное увеличение либо уменьшение воспроизводимого размера. Во всех пробах экспериментатор при помощи линейки измерял расстояние, которое показывал испытуемый в ответ на предложение воспроизвести тот или иной размер бруска, и фиксировал эти измерения в бланке. Приращение при воспроизведении максимального и минимального размеров, усредненное для всех проб, является результатом определения особенностей организации субъективного тактильного опыта.

Затем использовалась методика «Палочки» для определения степени межмодального конфликта. К испытуемому снова обращаются с просьбой не открывать глаза без сигнала экспериментатора, дают ему тот же брусок на 15 секунд. После этого экспериментатор забирает брусок, кладет так, чтобы он не попадал в поле зрения, и просит испытуемого открыть глаза. Испытуемый подходит к столу, где на черном фоне разложены в порядке возрастания 54 белые деревянные палочки, длиной от 0,01 м до 0,14 м с шагом 0,0025 м. Он выбирает три палочки, которые на его взгляд соответствуют размерам бруска, и отдает их экспериментатору. Экспериментатор при помощи линейки измеряет их длину и заносит эти показатели в бланк. Результатом этой методики является разница между размерами палочек и реальными размерами соответствующей стороны бруска.

Третьей испытуемым предлагалась методика «Квадраты», предназначенная для определения тенденции к завышению-занижению как особенности организации визуального сенсорного опыта. Экспериментатор в течение 30 секунд экспонирует испытуемому черный лист бумаги, на котором в ряд изображены три квадрата контрастного белого цвета, с длиной стороны 0,1 м, 0,05 м и 0,025 м соответственно. Расстояние от листа до глаз испытуемого составляет примерно 0,8 м. После изучения образца, испытуемого просили подойти к столу, где на черном фоне были разложены квадраты белой бумаги, с размером стороны от 0,01 м до 0,13 м и шагом 0,0025 м, и выбрать среди них три квадрата, которые, по его мнению, идентичны образцам. Результатом определения особенностей организации субъективного визуального опыта является разница между размерами квадратов, выбранных испытуемым, и реальными размерами соответствующих квадратов.

Поскольку возможность распознавания визуального стимула зависит не только от контрастности цвета фигуры фону, но и от величины стимула и расстояния, на котором он расположен от наблюдателя, для методик «Палочки» и «Квадраты» нами был предварительно рассчитан приемлемый угол зрения (величина проекции стимула на сетчатку). Рассчитывается он по формуле $\operatorname{tg}(\beta/2) = S / 2D$ [7], где β – угол зрения, S – величина стимула, D – расстояние от глаз субъекта до стимула. В нашем случае угол зрения при расстоянии $D \approx 0,8$ м составляет:

- для квадрата со стороной 0,1 м $\beta_1 \approx 7,16^\circ$;
- для квадрата со стороной 0,05 м $\beta_2 \approx 3,6^\circ$;
- для квадрата со стороной 0,025 м $\beta_3 \approx 1,8^\circ$.

И хотя диаметр центральной ямки равен всего 1° , внутренний край слепого пятна расположен в 12° от нее, следовательно, на таком расстоянии стимульный материал таких размеров должен быть хорошо виден весь целиком, и ничто не препятствует его изучению. При предъявлении ряда квадратов и палочек для выбора тех, которые аналогичны образцам, высота стола равнялась 0,7 м, а угол зрения зависел от роста испытуемого. То есть, расстояние от глаз субъекта до поверхности расположенных на столе стимульных материалов колебалось от 0,83-1,22 м до 0,90-1,27 м, причем квадраты и палочки

больших размеров были расположены в дальнем ряду, так чтобы расстояние стало максимальным, а угол зрения, в свою очередь, уменьшился:

- β_1 (для квадрата со стороной 0,1м) составлял от $5,74^\circ$ до $4,5^\circ$;
- β_2 (для квадрата со стороной 0,05м) составлял от $3,35^\circ$ до $2,30^\circ$;
- β_3 (для квадрата со стороной 0,025м) составлял от $1,74^\circ$ до $1,174^\circ$.

Кроме того, исследованы репрезентативные предпочтения испытуемых по методике Эйдемиллера-Юстицкиса «Сенсорные предпочтения» [8] с целью определения предпочитаемой репрезентативной системы. Среди 40 испытуемых было выявлено 9 человек, использующих в большей степени визуальную систему, 11 – аудиальную, 8 – кинестетическую и 12 – дигитальную. А также проводилась серия проб, направленных на определение латеральной асимметрии. Серия включала в себя теппинг-тест для выявления ведущей руки и пробы зрительной и слуховой асимметрии, предлагаемые Е.Д.Хомской [9]. Оценка степени латеральной асимметрии определялась по сумме результатов, полученных в моторной, слуховой и зрительной сферах. Результаты варьировались от -3 – выраженная правополушарность, до +3 – выраженная левополушарность, и 0 – билатеральность.

Статистический анализ полученных данных показал, что на результаты сенсорных проб не оказывает влияния предпочтение какой-либо одной репрезентативной системы. Не обнаружено значимой взаимосвязи (коэффициент ранговой корреляции ниже критического для достоверной связи значения $r_{s0,05} = 0,31$ для выборки из 40 человек) между ответом испытуемого на сенсорный стимул определенной модальности и тем, является ли эта модальность для него наиболее часто используемой.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждают, что аналитики при воспроизведении размеров сенсорных стимулов обнаруживают склонность подчеркивать разницу между их максимальным и минимальным размерами, что выразилось в

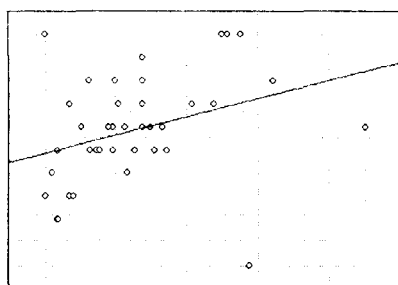


Рис. 1. Аналитичность и средний разброс в тактильной пробе $r_{s \text{ эмп}} = 0,431424$ ($p < 0,01$)

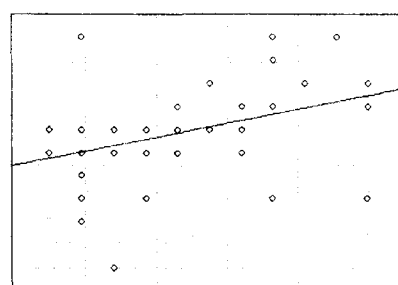


Рис. 2. Аналитичность и средний разброс в визуальной пробе $r_{s \text{ эмп}} = 0,394676$ ($p < 0,05$)

увеличении максимального и уменьшении минимального размеров при воспроизведении, а при обработке результатов отразилось в разности приращений этих размеров, усредненной для всех проб (переменные «средний разброс»). Корреляционный анализ показал, что чем больше индивид выделяет групп в методике Р. Гарднера «Свободная сортировка объектов», то есть чем выше степень его аналитичности, тем большим оказывается значение показателей «средний разброс» в методиках определения особенностей организации субъективного сенсорного опыта (рисунки 1 и 2).

В значимой взаимосвязи с аналитичностью находятся также латеральная асимметрия и результаты теппинг-теста. Чем сильнее преобладает левое полушарие и, соответственно, праворукость, тем выше склонность к анализу, а не синтезу:

- аналитичность и показатель латеральной асимметрии $r_{s \text{ эмп}} = 0,676040$ ($p < 0,01$);
- аналитичность и показатель моторной асимметрии $r_{s \text{ эмп}} = 0,849949$ ($p < 0,01$).

Подтвердилось и предположение, что склонность к гибкости или ригидности когнитивного контроля найдет отражение и в сфере ощущений. Результаты межмодальной пробы, призванной выявить насколько легко субъект переключается в ситуации, где ему был предъявлен сенсорный стимул одной модальности, а ответ должен быть дан в рамках другой сенсорной модальности, находятся в значимой корреляционной связи с показателями гибкости-ригидности когнитивного контроля (рис. 3, 4). То есть, испытуемый, медленно переключающийся со словесного на цветовой стимулы, при ответе в межмодальной пробе сильнее искажает реальные размеры тактильного стимульного материала при визуальном ответе.

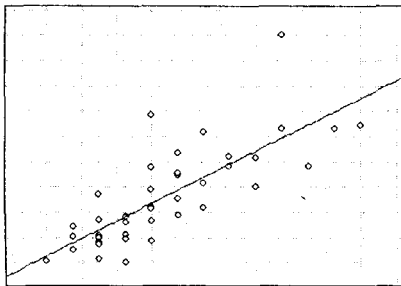


Рис. 3. Степень ригидности и приращение максимального размера стимульного материала в интермодальной пробе $r_{s, \text{эмп}} = 0,827062$ ($p < 0,01$)

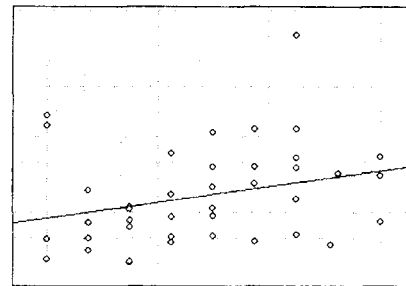


Рис. 4. Степень ригидности и приращение среднего размера стимульного материала в интермодальной пробе $r_{s, \text{эмп}} = 0,321952$ ($p < 0,05$)

В ходе факторного анализа переменных были выделены три фактора:

- фактор 1, обозначенный нами как «Дифференцирование», со значимыми нагрузками переменных «аналитичность» – 0,739731, «моторная асимметрия» – 0,756575, «латеральная асимметрия» – 0,707316, приращение максимального размера стимульного материала в тактильной пробе – 0,760356 и «средний разброс» в тактильной пробе – 0,868027. Наличие данного фактора указывает на то что, чем сильнее преобладает левое полушарие и, соответственно, праворукость, тем выше склонность к анализу, а не синтезу, и тем больше индивид подчеркивает разницу между максимальным и минимальным размерами стимульного материала в тактильной пробе.
- фактор 2, названный «Когнитивная ригидность», значимые нагрузки на который оказывают переменные «степень ригидности» – 0,826228, приращение максимального размера стимульного материала в интермодальной пробе – 0,845057 и приращение среднего размера стимульного материала в интермодальной пробе – 0,702518. Выделение такого общего фактора, при условии, что остальные переменные когнитивных стилей и сенсорных проб не оказывают на него значимой нагрузки, говорит о том, что перед нами когнитивные явления одного порядка, объясняющие одну и ту же склонность субъекта к гибкому либо ригидному контролю.
- фактор 3: значимые нагрузки у двух переменных из пробы на преобладающие репрезентативные системы, а именно «аудиалы» – 0,773127 и «кинестетики» – 0,834781.

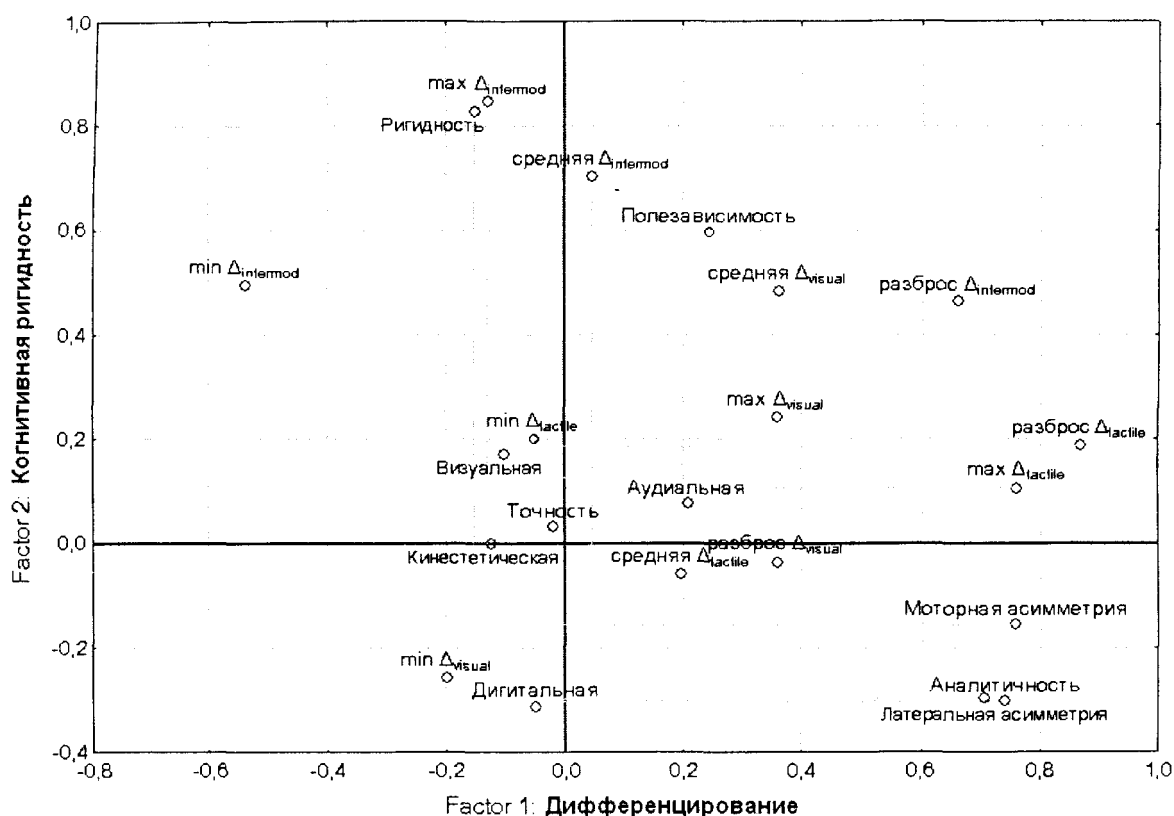


Рис. 4. Расположение переменных относительно факторов «Дифференцирование» и «Когнитивная ригидность».

Наше исследование, построенное на предположении, что когнитивные стили, являясь сквозным механизмом, проявляющимся на всех уровнях познавательных процессов, влияют также на особенности организации и переработки элементарной сенсорной информации, показало, что стилевые особенности познавательной сферы обнаруживаются уже на уровне сенсорных процессов, а именно на уровне тактильно-кинестетического осязания как исходного в системе чувственного отражения действительности [10] и визуального ощущения как важнейшего источника информации о внешнем мире в деятельности человека.

По результатам корреляционного и факторного анализов была выявлена склонность аналитиков – индивидов, обладающих узким диапазоном эквивалентности, – подчеркивать различие между большими и малыми размерами сенсорного стимула, а именно, увеличивать максимальный размер и уменьшать минимальный при воспроизведении. Образованный этими переменными фактор «Дифференцирование» говорит о том, что на сенсорном уровне аналитиками проявляется та же тенденция выделять различия в получаемой информации, что и на более высоких уровнях познавательных процессов. И наоборот, синтетики (широкий диапазон эквивалентности) скорее стремились сблизить значения максимального и минимального размеров стимульного материала, воспроизводя их по памяти, что также находится в соответствии с их обычной склонностью видеть в получаемой информации больше сходства, чем различий.

Статистический анализ эмпирических данных показал также, что склонность к гибкости или ригидности когнитивного контроля находит свое отражение и в сфере ощущений. Субъект, проявляющий когнитивную ригидность (медленно переключающийся со словесной на цветовую стимуляцию в методике Дж. Струпа), испытывает больше трудностей и при визуальном воспроизведении размеров тактильного стимула, предъявленного ему в условиях выключенного зрения, что проявляется в более сильном искажении реальных размеров стимула. И наоборот, индивид с более гибким когнитивным контролем в условиях межмодального эксперимента давал более точные ответы.

Открытым остается вопрос, что же в данном случае является первичным – особенностями организации сенсорного опыта, оказавшие формирующее влияние на когнитивный стиль, или общие стилевые особенности познавательной сферы, повлиявшие на особенности организации и переработки сенсорной информации. На данном же этапе мы только стремимся показать, что стилевая специфика организации познавательных процессов индивида прослеживается и в особенностях организации сенсорного опыта.

РЕЗЮМЕ

Дослідження присвячене перевірці гіпотези про те, що когнітивні стилі, які проявляються на всіх рівнях познавальних процесів, починаючи зі сприйняття та вище, впливають також на особливості організації та переробки елементарної сенсорної інформації.

Емпіричні данні показали, що чим вище схильність індивіда до аналізу, тим більше він підкреслює різницю між максимальним та мінімальним розмірами стимульного матеріалу у сенсорній пробі. Суб'єкт, який проявляє когнітивну ригідність в методіці словесно-кольорової інтерференції, зазнає більші труднощі при візуальному відтворенні розмірів тактильного стимулу, який пред'явлений йому за умовами вимкненого зору, ніж людина, яка має когнітивну гнучкість.

Отримані результати вказують на розповсюдження стильових характеристик познавальної сфери особи на особливості протікання елементарних сенсорних процесів.

SUMMARY

Research is devoted to check of the assumption concerning that the cognitive styles shown at all levels of cognitive processes, since perception and higher, influence also features of the organization and processing of elementary sensory information.

The empirical data have shown the above propensity of the individual to the analysis the more strongly he emphasizes a difference between maximal and minimal sizes of the incentive material in sensory test. The subject, showing cognitive rigidity in a procedure of a verbal-colour interference, experiences more difficulties at visual reproduction of the sizes of the tactile stimulus, presenting to him at conditions of the switching off vision, than the person has cognitive flexibility.

The received results to display distribution of style characteristics of cognitive sphere of the person on feature of passing of elementary sensory processes.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций. – М. 1999. – С. 173, 87
2. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб. 2004. – С. 96
3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб. 2001. – С. 41
4. Сеченов И.М. Избранные труды. – М. 1947. – С. 131
5. Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага. 1984. – С.53
6. Perona-Garcelan S., Cuevas-Yust C. Behavioural treatment of auditory hallucinations in schizophrenic patient: a case study. – Sevilla: Psychology in Spain, Vol . 2, 1998 № 1. – P. 3-10
7. Шиффман Х. Ощущение и восприятие. – СПб. 2003. – С. 166
8. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2002. – С.130-158, 561-563.
9. Хомская Е.Д., Ефимова И.В., Будыка Е.В., Ениколопова Е.В. Нейропсихология индивидуальных различий. – М. 1997. – С. 27
10. Веккер Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – М., 1998.
11. J. Ridley Stroop. Studies of interference in serial verbal reactions. – Journal of Experimental Psychology. 1935, №18. – P.643-662.
12. Холодная М.А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. – М., 2002.

Надійшла до редакції 16.06.2005 р.